

РОМЕН  
РОЛАН

6





**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**



# РОМЕН РОЛЛАН

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ*

---

*Государственное издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
*Москва 1956*



# РОМЕН РОЛЛАН

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*ТОМ ШЕСТОЙ*

**ЖАН-КРИСТОФ**

*Книги девятая  
и десятая*

---

*Государственное издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
*Москва 1956*

*Собрание сочинений*  
*осуществляется под общей редакцией*  
*И. АНИСИМОВА*

*Переводы с французского*  
*под редакцией*  
*М. ВАХТЕРОВОЙ*



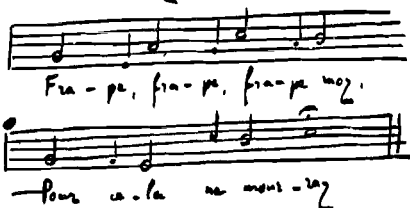
**Книга девятая**  
**НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА**

---

*Перевод*  
**С. ПАРНОК**



Le diaman, dur je suis,  
 qui ne se romp du marteau,  
 Ni du si-gean re-tan-te.  
 Fra-pe, fra-pe, fra-pe-moz,  
 Pour ce-la ne mous-taz.



Come la Fenix je suis,  
 qui de sa mort reprenant vie,  
 Qui de sa cendre naistra.  
 Tue, tue, tue-moz,  
 Pour ce-la ne mous-taz.

Baïf | Chan-sonnettes mesmées,  
 mises en mus. que par  
 Jacques, pendant

Тверд я и крепок: я — алмаз;  
Молотом не разбить меня,  
Острым не расколоть резцом.  
Стучи, стучи, стучи по мне —  
Все равно не убьешь.

Фениксу-птице подобен я,  
Той, что и в смерти находит жизнь,  
Той, что из пепла рождается вновь.  
Так бей же, бей же, бей же по мне —  
Все равно не убьешь.<sup>1</sup>

*Б а й е р.* Ритмическая песенка, по-  
ложенная на музыку Жаком Мандрюром.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Апта.



## Часть первая

Сердце утихло. Примолкли ветры. Недвижим воздух...

Кристоф успокоился; мир водворился в нем. Он испытывал некоторую гордость от такого достижения. И втайне был опечален им. Он дивился этой тишине. Страсти его уснули; он искренно верил, что они уже не проснутся.

Большая его сила, немного грубая, не находя себе применения, бесцельно дремала. В глубине — тайная пустота, скрытое «к чему?», быть может ощущение счастья, которым он не сумел завладеть. Ему уже не надо было бороться ни с самим собой, ни с другими. Даже работа не представляла теперь для него особых трудностей. Он пришел к концу некоего этапа и пожинал плоды прежних своих усилий. Он со слишком большой легкостью истощал открытую им музыкальную жилу; и в то время как публика, всегда запаздывающая, начинала понимать его прежние произведения и восхищалась ими, сам он уже охладевал к ним, еще не зная, куда пойдет дальше. В творчестве он наслаждался теперь ровным, однообразным счастьем. Искусство в эту пору его жизни было для него лишь прекрасным инструментом, которым он владел с мастерством виртуоза. К стыду своему он чувствовал, что становится дилетантом.

«Для того, чтобы двигаться вперед в искусстве, — говорит Ибсен, — нужно нечто иное и нечто большее, чем природное дарование: страсти, страдания, которые наполняют жизнь и дают ей смысл. Иначе не творишь, а пишешь книги».

Кристоф писал книги. Это было ему непривычно. Книги эти были прекрасны. Он предпочел бы, чтобы они были менее прекрасны, но более живы. Этот атлет на отдыхе, не знающий, что делать со своими мускулами, зевая, как скучающий зверь, смотрел на предстоящие ему долгие годы спокойной работы. И с бродившей в нем старой закваской германского оптимизма охотно убеждал себя, что все к лучшему, думая, что таков, без сомнения, положенный ему предел; он обольщал себя мыслью, что покончил с бурями, что поборол их. Это не бог весть что. Но в конце концов управляешь только тем, что тебе дано, становишься только тем, чем суждено быть. Ему казалось, что он причалил к пристани.

Друзья не жили вместе. Когда Жаклина ушла, Кристоф подумал было, что Оливье опять переедет к нему. Но Оливье не в силах был сделать это. Несмотря на потребность близости с Кристофом, он чувствовал невозможность вернуться к прежнему существованию. После прожитых с Жаклиной лет ему казалось невыносимым, даже кошунственным ввести в интимную свою жизнь кого-нибудь другого, хотя бы этот другой любил его и был им любим больше, чем Жаклина. Рассудком этого не понять.

Кристоф с трудом понял это. Он настаивал, удивлялся, огорчался, негодовал... Наконец, чутье, более тонкое в нем, чем ум, подсказало ему разгадку. Он внезапно умолк и нашел, что Оливье прав.

Но виделись они каждый день и никогда еще не были так близки; правда, в своих беседах они не обменивались самыми сокровенными мыслями. Да им и не нужно было этого. Они понимали друг друга без слов, благодатью, дарованной любящим сердцам.

Оба они говорили мало: один поглощенный искусством, другой — своими воспоминаниями. Страдание Оливье притуплялось, но он ничего не делал для этого, он почти упивался им; в течение долгого времени это было единственным смыслом его существования. Он любил своего ребенка, но ребенок — крикливый младенец — не мог занимать большого места в его жизни. Иные мужчины больше любовники, чем отцы. Бесполезно возму-



щаться этим. Природа не однообразна, и нелепо было бы предписывать всем одни и те же законы сердца. Никто не вправе жертвовать долгом во имя сердца. Но зато, исполняя свой долг, человек имеет право не быть счастливым. В своем ребенке Оливье больше всего любил женщину, плотью и кровью которой был этот ребенок.

До последнего времени он мало уделял внимания страданиям других. Он был мыслителем, слишком замкнутым в самом себе человеком. Это был не эгоизм, а какая-то болезненная привычка жить в мечтах. Жаклина лишь увеличила окружавшую его пустоту; ее любовь провела между Оливье и другими людьми некий магический круг, который остался и после того, как любовь уже прошла. Да к тому же, по темпераменту своему, Оливье был аристократом. Несмотря на чувствительное сердце, он с самого детства, в силу телесной и душевной своей хрупкости, инстинктивно сторонился толпы. Ее запах, ее мысли всегда отталкивали его.

Но все изменилось благодаря одному обыкновенному происшествию, свидетелем которого ему пришлось быть.

Он снял скромную квартирку в верхней части Мон-руж, неподалеку от Кристофа и Сесили. Квартал был демократический, и дом населен мелкими рантье, чиновниками и несколькими рабочими семьями. В другое время Оливье страдал бы от этой среды, столь ему чуждой; но теперь ему было все равно, где жить, здесь ли, там ли: везде он был чужим. Он не знал, кто были его соседи, да и не хотел этого знать. Возвращаясь с работы (он устроился на службу в каком-то издательстве), он запирался у себя со своими воспоминаниями и выходил из дому только для того, чтобы повидать своего ребенка и Кристофа. Квартира не была для него домашним очагом: это была темная комната, наполненная образами прошлого; и чем темнее и оголеннее были стены, тем отчетливее выступали эти образы. Он едва замечал лица, с которыми встречался на лестнице. Помимо его воли, однако, некоторые из них запечатлевались в его памяти. Есть люди, которые хорошо видят лишь то, что прошло. Но тогда ничто уже не ускользает от них, и мельчайшие

подробности точно резцом врезаются в их сознание. Таков был Оливье, населенный тенями живых. Они всплывали в нем при каждом потрясении; и Оливье, никогда не знавший их дотоле, вдруг узнавал их, протягивал к ним руки, силился их схватить... Увы, слишком поздно.

Однажды, выходя из дому, он увидел у подъезда толпу, собравшуюся вокруг привратницы, которая громко о чем-то разглагольствовала. Он был так мало любопытен, что продолжал бы свой путь, не осведомившись, в чем дело, но привратница, жаждавшая завербовать лишнего слушателя, остановила его, спросив, знает ли он, что приключилось с беднягами Руссель. Оливье, который понятия не имел, кто такие «бедняги Руссель», стал слушать ее с учтивым безразличием. Когда он узнал, что семья рабочих — отец, мать и пятеро детей — только что в этом доме покончили самоубийством от нищеты, он, как и все другие, впился глазами в стены, продолжая слушать рассказчицу, которая без усталости, вновь и вновь повторяла свое повествование. По мере того как она говорила, к Оливье возвращались воспоминания; он припоминал, что видел этих людей; он задал несколько вопросов. Да, он вспоминал их. Отец (он слышал его свистящее дыхание на лестнице) — рабочий-пекарь, с испитым лицом, из которого вся кровь точно высосана была жаром печи, со впалыми небритыми щеками; в начале зимы у него было воспаление легких, он вышел на работу, еще не оправившись от болезни; она вспыхнула вновь, и последние три недели он был без работы и без сил. Мать, постоянно беременная, разбитая ревматизмом, надрывалась, работая в нескольких домах поденщицей, целыми днями бегала по городу, помогаясь у попечительств скудного пособия, которое все никак не выдавали. А тем временем непрерывной чередой появлялись на свет дети: одиннадцати лет, семи, трех лет, — не говоря уже о двух, умерших в младенчестве; и в довершение всего — близнецы, которые выбрали для своего появления весьма удачный момент: они родились в прошлом месяце.

— В день их рождения, — рассказывала соседка, — старшая из пятерки, одиннадцатилетняя Жюстина — бедная девочка! — расплакалась и все спрашивала, как же она будет таскать двоих сразу.



Глазам Оливье тотчас же представилась эта девочка — большой лоб, бесцветные, гладко зачесанные назад волосы, мутносерые навывкате глаза. Он всегда встречал ее то с провизией, то с младшей сестренкой на руках; а иногда она вела за руку семилетнего брата, худенького, хилого мальчика с миловидным личиком. Когда они сталкивались на лестнице, Оливье со свойственной ему рассеянной вежливостью произносил:

— Виноват, мадемуазель.

Она ничего не отвечала; она проходила мимо — торопливо, почти не сторонясь, но его учтивость втайне доставляла ей удовольствие. Накануне, под вечер, часов в шесть, спускаясь по лестнице, он встретил ее в последний раз: она тащила наверх ведро, наполненное древесным углем. Ноша казалась очень тяжелой. Но ведь дети из простого народа привычны к этому. Оливье поклонился, по обыкновению не взглянув на нее. Спустившись на несколько ступенек и машинально подняв голову, он увидел склоненное над перилами маленькое искаженное страдальческой гримасой личико и глаза, следившие за тем, как он спускался. Она тотчас же пошла дальше наверх. Знала ли она, что ее ждет там? Оливье не сомневался в этом, и его преследовала мысль о ребенке, тащившем в своем слишком тяжелом ведре смерть — избавление... Несчастливые дети, для которых не быть означало не страдать! Он не мог продолжать прогулку. Он вернулся к себе. Но знать, что там, рядом, эти мертвецы... Всего лишь несколько стенок отделяло его от них... И подумать только, что он жил бок о бок с такими страданиями!

Он отправился к Кристофу. Сердце у него сжималось; он думал, что чудовищно с его стороны предаваться пустым любовным сожалениям, в то время как столько людей терзаются муками в тысячу раз более жестокими, — ведь можно было бы их спасти. Он был глубоко потрясен; волнение его сразу передалось Кристофу. Тот в свою очередь разволновался. Выслушав рассказ Оливье, он разорвал только что написанную им страницу, обозвав себя эгоистом, забавляющимся детскими игрушками. Но потом он собрал оставшиеся клочья. Он слишком был захвачен музыкой; и чутье подсказывало ему, что оттого, что одним произведением искусства

станет меньше, в мире не станет одним счастливецом больше. Для него эта трагедия нищеты не представляла ничего нового: с детства он привык ходить по краю таких бездн и не срываться вниз. Он сурово относился к самоубийству в эту пору своей жизни, чувствуя себя в расцвете сил и не постигая, как это, из-за каких бы то ни было страданий, можно отказаться от борьбы. Страдание и борьба — что может быть законнее? Это — стержень, позвоночник вселенной.

Через подобные же испытания прошел и Оливье, но никогда не мог примириться с ними — ни для себя, ни для других. Его ужасала нищета, в которой зачахла милая его Антуанетта. Женившись на Жаклине и поддавшись разнеживающему влиянию богатства и любви, он легко отстранил от себя воспоминание о тех грустных годах, когда сестра его и он сам выбивались из сил, отвоевывая день за днем право на существование и не зная, удастся ли им это. Теперь, когда ему уже не надо было оберегать свой эгоистический любовный мирок, образы эти вновь всплывали перед ним. Вместо того чтобы бежать от страдания, он пустился в погоню за ним. Чтобы найти его, далеко ходить не понадобилось. В том душевном состоянии, в котором находился Оливье, он видел страдание всюду. Оно наполняло весь мир. Мир — эту огромную больницу. О, терзания агонии! Питки раненой, трепещущей, заживо гниющей плоти! Безмолвные муки сердец, снедаемых горем! Дети, лишенные ласки, девушки, лишенные надежды, женщины, соблазненные и обманутые, мужчины, разуверившиеся в дружбе, в любви и в вере — скорбное шествие несчастных, пришибленных жизнью людей!.. Но самое ужасное — не нищета, не болезнь, а жестокость людей друг к другу. Не успел Оливье приподнять люк, закрывающий человеческий ад, как до него донесся ропот всех угнетенных — эксплуатируемых пролетариев, преследуемых народов, залитой кровью Армении, задушенной Финляндии, четвертованной Польши, замученной России, Африки, отданной на растерзание волкам-европейцам, — вопли обездоленных всего рода человеческого. Оливье задыхался от этих стонов; он слышал их всюду, он не понимал, как могут люди думать о чем-нибудь

другом. Он беспрерывно говорил об этом Кристофу. Кристоф, взволнованный, обрывал его:

— Замолчи. Дай мне работать.

И так как ему было трудно прийти в равновесие, он раздражался, бранился:

— К черту! Весь день потерял! Вот чего ты добился! Оливье извинялся.

— Не надо все время заглядывать в бездну, мой милый, — говорил Кристоф. — Так невозможно жить.

— Нужно протянуть руку тем, кто там, в бездне.

— Конечно. Но как? Не бросаться же туда самому? Ведь именно этого ты хочешь. Ты склонен теперь не видеть в жизни ничего, кроме горя. Господь с тобой! Пessimизм этот, несомненно, полон милосердия, но он ослабляет. Хочешь создавать счастье? Сначала сам будь счастливым.

— Счастливым? Разве это возможно, когда столько страданий вокруг? Счастье можно найти, лишь стараясь их облегчить.

— Пусть так. Но лезть в драку очертя голову не значит помогать несчастным. Одним плохим солдатом больше — что в этом толку! А искусством моим я могу утешать, разливать вокруг себя силу и радость. Знаешь ли ты, скольких несчастных поддерживала в их страданиях красота какой-нибудь крылатой песни! Каждому свое ремесло! Вот вы, французы, великодушные ветрогоны, вы всегда первыми выступаете против всех несправедливостей, будь они в Испании или в России, сами толком не зная, в чем дело. За это я вас и люблю. Но неужели вы думаете, что хоть сколько-нибудь влияете на события? Вы безрассудно бросаетесь в бой и не достигаете ничего, а то и вред приносите... И заметь, никогда еще ваше искусство не было более пошлым, чем в наши дни, когда ваши художники воображают, что принимают участие в мировой борьбе. Смешно, что столько дилетантов и распутных фатов провозглашает себя апостолами! Куда лучше было бы, если б они угощали народ менее подкрашенным вином. Мой долг прежде всего — хорошо делать то, что я делаю, писать для вас здоровую музыку, которая должна обогатить вашу кровь и насытить вас солнцем!



Чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе. Оливье его не доставало. Как лучшие люди наших дней, он не был достаточно силен, чтобы излучать силу в одиночку. Он мог бы это делать, лишь объединившись с другими. Но с кем объединиться? Человек свободной мысли и верующий в душе, он был отвергнут всеми политическими и религиозными партиями. Все они соперничали друг с другом в нетерпимости и ограниченности. Стоило им захватить власть, как они начинали злоупотреблять ею. Одни только угнетенные привлекали Оливье. В одном по крайней мере он разделял мнение Кристофа, что, прежде чем бороться с далекой, отвлеченной несправедливостью, необходимо бороться с несправедливостью, совершающейся вблизи, — с той, что нас окружает и за которую мы более или менее ответственны. Слишком многие возмущаются злом, совершенным другими, не задумываясь над тем, которое совершают сами.

Сначала он принялся помогать бедным. Его приятельница г-жа Арно участвовала в каком-то благотворительном обществе. Оливье вступил в его члены. На первых порах ему не раз приходилось разочаровываться: не все вверенные его заботам бедняки достойны были участия; они плохо откликались на его сочувствие, относились к нему с недоверием, дичились его. Да к тому же человек интеллектуальный с трудом может удовлетвориться простой благотворительностью: она охватывает такую маленькую область в стране страдания и действует почти всегда раздробленно, случайно, — она точно идет наугад и врачует раны по мере того, как их находит; вообще она слишком скромна и слишком тороплива, чтобы докапываться до корней зла. А от этой-то попытки и не мог отказаться ум Оливье.

Он взялся за изучение проблемы социальной нищеты. Недостатка в руководителях у него не было. В ту пору социальный вопрос был в моде. О нем говорилось в гостиных, в романах, в театре. Всякий считал себя в нем знатоком. Часть молодежи отдавала ему лучшие свои силы.

Каждому новому поколению необходимо какое-нибудь прекрасное безумство. Даже в самых эгоистичных молодых людях таится некий избыток жизни, некий запас энергии, которая рвется наружу, протестуя против бездействия. Они жаждут истратить ее на какую-нибудь деятельность или (что более осторожно) на разработку теории. Авиация или Революция. Спорт — упражнение для мускулов или для идей. Когда мы молоды, у нас есть потребность создать себе иллюзию, будто мы участвуем в великом движении человечества, будто мы обновляем мир. Чувства наши отзываются на все дуновения вселенной! Мы так свободны и так легки! Мы не обременены еще обузой семьи, у нас ничего нет, нам нечем рисковать. Мы очень щедры, когда можем отречься от того, чем еще не владеем. И к тому же так хорошо любить и ненавидеть, и верить, что преображаешь мир своими мечтаниями, своим боевым кличем! Юноши — как сторожевые псы: они волнуются, прислушиваются и лают на ветер. Несправедливость, совершенная на другом конце света, приводит их в исступление.

Лай в ночи. С одной фермы на другую, среди лесных чащ, шла беспрерывная перекличка. Ночь была бурная. Нелегко было спать в то время! Ветер разносил по воздуху отклик столькох несправедливостей! Несправедливость неисчислима: исправляя одну, рискуешь причинить другую. Что такое несправедливость? Для одного — это позорный мир, растерзанное отечество. Для другого — война. Для одного — поправное прошлое, изгнанный государь; для другого — ограбленная церковь; для третьего — задушенное будущее, опасность, угрожающая свободе. Для народа — неравенство, а для избранных — равенство. Существует столько разнородных несправедливостей, что каждая эпоха выбирает себе свою — ту, с которой она борется, и ту, которую поощряет.

В то время главные усилия мира были направлены на борьбу с несправедливостями социальными — и бессознательно способствовали подготовке новых несправедливостей.

Несомненно, несправедливости эти были тяжкими и бросались в глаза, особенно с тех пор, как рабочий класс, чья численность и мощь все возрастала, сделался одним

из важнейших двигателей государства. Но, вопреки шумным уверениям его трибунов и бардов, положение этого класса было не хуже, а лучше, чем в прошлом; и перемена состояла не в том, что он стал меньше страдать, а в том, что он окреп. Окреп же он именно благодаря силе враждебного ему капитала, благодаря непреложному закону развития экономики и промышленности, который сплотил рабочих в мощные, готовые к бою армии и с помощью механизации вложил им в руки оружие, сделал из каждого подмастерья мастера, управляющего светом, молнией, мировой энергией. От этой огромной массы первобытных сил, которую вожди с недавних пор старались организовать, шел жар пылающего костра, струились электрические волны, пробежавшие по организму человеческого общества.

Не справедливостью своей, не новизной и яркостью идей волновала проблема защиты народа буржуазную интеллигенцию, как ни хотелось ей в это верить, а свою жизненностью.

Справедливость? Множество других справедливостей было попорано в мире, однако мир и не думал тревожиться. Идеи? Обрывки истин, подобранные наугад, приуроченные к мерке одного класса в ущерб остальным.

Credo<sup>1</sup> — нелепые, как вообще все credo — божественное право королей, непогрешимость пап, царство пролетариата, всеобщее избирательное право, равенство людей — все одинаково нелепые, если рассматривать лишь идейную их ценность, а не силу, их оживляющую. Пусть они посредственны, что из этого? Идеи завоевывают мир не как идеи, а как живые силы. Они захватывают людей не интеллектуальным содержанием, а жизненным сиянием, излучаемым ими в иные моменты истории. От них точно идет какой-то звериный запах — самое грубое обоняние чувствует его. Прекраснейшая идея не оказывает никакого воздействия до того дня, пока не становится вдруг заразной, — не в силу своих достоинств, а благодаря тем общественным кругам, которые ее воплощают и вливают в нее свою кровь. Тогда это засохшее расте-

---

<sup>1</sup> Символ веры (лат.).

ние, эта иерихонская роза вдруг расцветает, разрастается, наполняет воздух своим буйным благоуханием. Идеи, эти сверкающие знамена, с которыми рабочий класс шел на приступ твердынь буржуазии, зародились в мозгу буржуазных мечтателей. Пока они пребывали в буржуазных книгах, они были как бы мертвыми: музейные диковинки, выставленные в витринах, спеленатые мумии, на которые никто не смотрит. Но народ, едва завладев ими, сделал их народными, сообщил им лихорадочное биение жизни, исказившее и в то же время одушевившее их, вдохнул в эти отвлеченные истины свои пламенные надежды — знойный ветер Гиджры<sup>1</sup>. Они стали передаваться от одного к другому. Они увлекали всех, и никто не знал, кем и как они занесены. Личности здесь роли не играли. Эпидемия идей быстро распространялась, и бывало иногда, что люди ограниченные заражали людей выдающихся. Каждый, сам того не зная, был очагом заразы.

Такие явления заразы, овладевающей умами, свойственны всем временам и всем странам; они наблюдаются даже в государствах, где у власти стоит аристократия и где стараются удержаться обособленные касты. Но нигде не вспыхивают они так молниеносно, как в демократиях, где не сохранилось никакого санитарного кордона между избранныками и толпою. Толпа заражается мгновенно. Вопреки своему разуму и гордости она не может противостоять заразе, ибо толпа куда слабее, чем она думает. Разум — это островок, который подтачивают, размывают и затопляют человеческие приливы. Он вновь показывается над водой, лишь когда прилив отхлынет. Иные восторгаются самоотверженностью французских аристократов, отрекшихся в ночь на 4 августа<sup>2</sup> от своих прав. Однако самое замечательное здесь то, что они не могли поступить иначе. Я представляю себе, что многие из них, вернувшись в свои особняки, подумали: «Что я наделал? Я был пьян...» Великолепное опьянение! Хвала доброму вину и винограднику, его дающему! Лоза, опьянившая своим соком аристократов старой Франции, не

---

<sup>1</sup> Г и д ж р а — бегство Магомета в Медину, начало мусульманского летоисчисления. — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> Имеется в виду эпизод французской революции 1789 г. — *Прим. ред.*



ими была посажена. Но вино перебродило, оставалось только его пить. Кто пил его, тот безумствовал. Даже у тех, кто не пил, кружилась голова лишь оттого, что они мимоходом вдохнули запах брожения. О, виноградные жатвы Революции!.. От вина 1789 года в фамильных погребах осталось теперь всего несколько выдохшихся бутылок, но дети наших внуков вспомнят, что от этого вина их прадеды хмелели.

Более терпким, но не менее крепким было вино, одурманивавшее буржуазную молодежь поколения Оливье. Эти молодые люди принесли свой класс на алтарь нового бога, *Deo ignoto*<sup>1</sup> — народа.

Не все они, разумеется, были одинаково искренни. Многие просто пользовались случаем выделиться из своего класса, делая вид, что презирают его. Для большинства это было умственной забавой, ораторским увлечением, которое они не принимали всерьез. Приятно думать, что веришь в какое-нибудь дело, что сражаешься, будешь сражаться или, скажем, мог бы сразиться за него. Не худо даже воображать, что при этом ты чем-то рискуешь. Чисто театральные переживания!

Они весьма невинны, когда отдаешься им бесхитростно, не примешивая сюда корыстных интересов. Иные, более осмотрительные, действовали только наверняка; народное движение являлось для них средством достижения своих целей. Подобно норманским пиратам, они пользовались приливом, чтобы ввести свои корабли вглубь страны; они старались подальше проникнуть в устья больших рек и остаться в завсезанных городах после того, как море отхлынет. Фарватер был узок, волна капризна; требовалась немалая ловкость. Но два или три поколения демагогов создали породу корсаров, изощренных в своем ремесле. Они смело плыли вперед, даже не оглядываясь на тех, кто шел ко дну.

Эти мерзавцы встречаются во всех партиях; слава богу, ни одна за них не отвечает. Но отвращение, внушаемое этими авантюристами людям искренним и убе-

---

<sup>1</sup> неведомого бога (лат.).

жденным, заставило многих разочароваться в своем классе. Оливье встречался с богатыми и образованными молодыми людьми из буржуазного общества, которые признавали упадок буржуазии и собственную свою бесполезность. Он, пожалуй, был даже слишком склонен им сочувствовать. Уверовав сначала в обновление народа через посредство избранников, основав ряд народных университетов и истратив на них много денег и времени, они убедились в своей полной неудаче; надежды их были чрезмерны, таково же было и их уныние. Народ либо не пришел на их зов, либо сбежал. Когда он приходил, то понимал все шиворот-навыворот и воспринимал от буржуазной культуры только ее пороки. К тому же немало паршивых овец втерлось в ряды буржуазных апостолов и подорвало к ним доверие, эксплуатируя одновременно и народ и буржуазию. Тогда людям искренним начало казаться, что буржуазия обречена, что она может лишь заразить народ и что народ должен любой ценой освободиться от нее и один идти своим путем. Таким образом, им ничего другого не оставалось, как провозгласить движение, которое должно было начаться без них и против них. Иные находили в служении народу радость отречения, братского сочувствия, глубокую и бескорыстную радость, питающуюся своей жертвенностью. Любить, отдавать себя! Юность так богата собственным богатством, что может обойтись без ответных даров: ей не страшно оставаться ни с чем. Другие находили уладу в рассуждениях, в неумолимой логике; они жертвовали собой не во имя людей, а во имя идеи. Это были самые бесстрашные. Они испытывали какое-то гордое наслаждение, приходя к логическому выводу о роковом конце, уготованном их классу. Увидеть свои предсказания опровергнутыми было бы им тягостнее, чем оказаться раздавленными насмерть. В своем умственном опьянении они кричали тем, кто был снаружи: «Сильней! Бейте сильней! Пусть от нас ничего не останется!» Они стали теоретиками насилия.

Насилия, совершаемого другими. Ибо эти проповедники грубой силы почти всегда были людьми слабыми и утонченными. Некоторые из них были чиновниками того самого государства, которое на словах они собирались

уничтожить, я чиновниками добросовестными, исполнительными, покорными. Их теоретическая жестокость была отместкой за их бессилие в жизни, затаенные обиды, подневольное положение. Но главным образом она была показателем бушующих вокруг них бурь. Теоретики — точно метеорологи: они в научных терминах определяют погоду — не ту, что будет завтра, а ту, что стоит сегодня. Это флюгеры, указывающие, откуда дует ветер. Когда они вертятся, они почти готовы верить, что управляют движением ветра.

Ветер переменялся.

Идеи в демократической стране быстро изнашиваются, — тем быстрее, чем быстрее они распространились. Сколько республиканцев во Франции менее чем за пятьдесят лет пресытилось республикой, всеобщим голосованием и столь многими с таким трудом и вдохновением завоеванными свободами. После восторженного поклонения массам, после блаженного оптимизма, уверовавшего в святое большинство и в прогресс человечества, вдруг повеяло духом насилия; неспособность всякого большинства управлять самим собою, его продажность, слабость, скрытое и трусливое отвращение ко всему, что выше его, его гнетущее малодушие — все возбуждало возмущение. Энергичные меньшинства — все меньшинства — взывали к силе. Странное и вместе с тем роковое сближение происходило между роялистами «Аксьон франсез»<sup>1</sup> и синдикалистами Всеобщей конфедерации труда. Бальзак где-то говорит о подобном явлении своего времени — «об аристократах по своим склонностям, ставших республиканцами с досады, для того лишь, чтобы видеть побольше низших среди себе равных». Жалкое утешение! Надо заставить этих низших признать себя таковыми, а для этого нет иного средства, как власть, утверждающая превосходство избранников — рабочих или буржуа — над угнетающим их большинством. Молодые интеллигенты, надменные мелкие буржуа становились роялистами или революционерами из чувства оскорбленного самолюбия и ненависти к демо-

---

<sup>1</sup> «Аксьон франсез» — французская монархическая организация. — *Прим. ред.*

кратическому равенству. И бескорыстные философы, теоретики насилия, настоящими флюгерами вздымались над ними, точно некие знамена бури.

Была еще группа литераторов, искавших вдохновения, из тех, кто умеет писать, но не знает толком, о чем писать; как греки в Авлиде, задержанные затишьем, они не могли плыть дальше и нетерпеливо выжидали попутного ветра, который надул бы, наконец, их паруса. Были среди них и знаменитости — из тех, кого дело Дрейфуса неожиданно оторвало от их стилистических упражнений и кинуло в общественные сборища. Пример, вызвавший, по мнению зачинщиков, слишком уже много подражателей. Множество литераторов занималось теперь политической и мнило себя вершителями государственных дел. Они по каждому поводу основывали союзы, выпускали воззвания, спасали Капитолий. За интеллигентами передового отряда следовали интеллигенты тыла; все они стояли друг друга. Каждая из двух партий называла другую мудрствующей, себя же почитала мудрой. Те, кому посчастливилось иметь в своих жилах несколько капель народной крови, гордились этим: они макали в нее свои перья. И все сплошь были обывателями, недовольными, брюзжащими и стремящимися вернуть власть, которую буржуазия из-за своего эгоизма безвозвратно утратила. Редко случалось, чтобы эти апостолы долго сохраняли свое апостольское рвение. Вначале их деятельность доставляла им успех — вероятно, не заслуженный их ораторскими способностями. Самолюбие их было приятнейшим образом польщено. Потом они продолжали выступать уже с меньшим успехом и с некоторой тайной боязнью показаться чуть-чуть смешными. Под конец стало одерживать верх последнее чувство, усугубленное усталостью от роли, слишком трудной для людей столь изысканных вкусов и столь скептического склада. Чтобы начать отступление, они выжидали благоприятного ветра, а также благоприятного настроения своей свиты. Ибо они были пленниками и того и другого. Эти Вольтеры и Жозефы де Местры наших дней за смелостью своих писаний скрывали робкую неуверенность в себе, то и дело нащупывали почву, боялись осрамиться перед молодежью, лезли из кожи вон, чтобы ей понравиться, разы-

грывали из себя юнцов. Революционеры или контрреволюционеры, в своих произведениях они покорялись литературной моде, созданию которой сами способствовали,

Самый любопытный тип, которого Оливье встретил в этом маленьком буржуазном авангарде Революции, был тип революционера из робости.

Образец этот, находившийся у него перед глазами, именовался Пьером Канэ. Происходил он из богатой буржуазной и консервативной семьи, герметически закрытой для всяких новых идей; из нее выходили судьи и чиновники, знаменитые тем, что бранили правительство или самовольно выходили в отставку, а также крупные буржуа из квартала Марэ, которые заигрывали с церковью и думали мало, но зато благонамеренно. Женился он от безделья на женщине с аристократическим именем, которая думала так же мало и не менее благонамеренно. Этот тесный и отсталый мир ханжей, непрерывно, как жвачку, пережевывавший свою спесь и свои обиды, довел его под конец до крайнего раздражения, — тем более, что жена его была дурна собой и смертельно ему надоедала. Будучи человеком средних способностей, но ума довольно восприимчивого, он склонен был к либеральным стремлениям, сам не зная толком, в чем они состоят; уж во всяком случае не в своей среде мог бы он узнать, что такое свобода. Он знал одно — что там свободы не было; и он воображал, что достаточно выйти оттуда, чтобы ее найти. Он неспособен был идти в одиночку. С первых же шагов на воле он охотно примкнул к своим школьным товарищам, многие из которых были одержимы идеями синдикализма. В этом мире он чувствовал себя еще более чуждым, чем в том, из которого вышел, но не решался в этом сознаться: надо же было ему где-нибудь жить; людей своей окраски (то есть лишенных всякой окраски) он не мог найти. Известно, однако, что эта порода отнюдь не редкость во Франции! Но они стыдятся самих себя: они прячутся или перекрашиваются в один из модных политических цветов, а то и в несколько цветов сразу.

Как водится, он особенно привязался именно к тому из новых своих товарищей, который более всех был ему чужд. Этот француз, французский обыватель и провин-



циал в душе, сделался неразлучным спутником молодого врача-еврея, Мануссы Геймана, русского эмигранта, который, подобно многим своим соотечественникам, обладал двойным даром: устраиваться у других как у себя дома и так быстро принаравливаясь ко всякой революции, что неясно было, что же больше всего занимало его в ней — сама игра или же причины, ее вызвавшие. Собственные и чужие испытания были для него развлечением. Будучи искренним революционером, он, по привычке к научному мышлению, смотрел на революционеров, в том числе и на самого себя, как на своего рода помешанных. Он наблюдал это помешательство, в то же время культивируя его. Восторженное дилетанство и крайнее непостоянство мнений толкало его в самые разнородные общественные круги. У него были тесные связи со всеми, начиная от людей, стоящих у власти, до полицейского мира включительно. Он рыскал всюду с тем опасным и болезненным любопытством, которое придает поведению стольких русских революционеров видимость двойной игры и иногда превращает эту видимость в действительность. Это не предательство, это — непостоянство, зачастую совершенно бескорыстное. Сколько существует людей действия, для которых действие — арена, куда они вступают как хорошие актеры, вполне честные и добросовестные, но всегда готовые менять роли! Роли революционера Мануссы был верен, поскольку он мог быть верным, — эта роль наиболее согласовалась с его врожденным анархизмом и с тем удовольствием, которое он находил в разрушении устоев всех стран, в каких ему доводилось жить. И все-таки это была только роль. Никак нельзя было разграничить вымысел и правду, заключавшиеся в его словах; в конце концов он и сам перестал это различать.

Умный и насмешливый, одаренный тонкостью психологического анализа двух рас, великолепно разбирающийся как в своих, так и в чужих слабостях и умеющий на них играть, он без всякого труда подчинил Канэ своему влиянию. Его забавляло вовлекать этого Санчо Пансу в разные приключения в духе Дон Кихота. Он распоряжался им без всякого стеснения, — его волей, временем, деньгами, не для своих нужд (у него самого не было никаких потребностей, и никто не знал, на что,

собственно, он существует), а для самых рискованных революционных выступлений. Канэ не противился: он старался уверить себя, что думает так же, как Манусса. Втайне он убежден был в обратном — идеи эти страшили его, оскорбляли его здравый смысл. И он совсем не любил народ. К тому же он не был храбрым. Этот здоровенный малый, высокий, широкоплечий и плотный, с кукольным, совершенно бритым лицом, с отрывистой речью, ласковый, высокопарный и ребячливый, с грудью Геркулеса Фарнезского, силач, боксер и забияка был самым застенчивым человеком на свете. Если он и гордился тем, что в своем кругу слыл вольнодумцем, то втайне трепетал перед дерзостью своих друзей. Правда, этот легкий трепет был отчасти даже приятен, до тех пор, пока речь шла только об игре. Но игра становилась опасной. Эти негодники его приятели делались все требовательнее, их претензии возрастали; это тревожило Канэ — человека от природы эгоистичного, с глубоко укоренившимся чувством собственности и свойственной буржуазии трусостью. Он не осмеливался спросить: «Куда вы меня ведете?» — но втихомолку проклинал бесцеремонность людей, для которых первое удовольствие — свернуть себе шею, ничуть не задумываясь, не сломают ли они при этом шею и другим. Кто принуждал его следовать за ними? Разве не был он волен от них уйти? У него не хватало на это смелости. Он боялся остаться один, точь-в-точь как ребенок, который отстал от своих и плачет, очутившись один на дороге. Он был, как большинство людей: у них нет собственного мнения, кроме одного разве, — порицания всех слишком крайних восторженных суждений; но для того, чтобы быть независимым, надо остаться одному, а многие ли на это способны? Многие ли, даже из самых проникательных, посмеют вырваться из рабства предрассудков и условностей, тяготеющих над людьми одного и того же поколения? Это значило бы воздвигнуть стену между собой и всеми другими. С одной стороны — свобода в пустыне; с другой стороны — толпа. Такие люди не колеблются: они предпочитают толпу, стадо. Пахнет оно скверно, но зато греет. И вот они делают вид, будто думают то, чего не думают. Им это не очень трудно.

они сами хорошенько не знают, что именно они думают. «Познай самого себя!» Да как они могут это сделать, они, у которых нет своего «я»? Во всяком широко распространенном веровании, религиозном или социальном, редко можно встретить истинно верующих, потому что вообще редко можно встретить настоящих людей. Вера — сила героическая; ее огонь воспламенял лишь немногие человеческие факелы, но и их пламя часто колеблется. Апостолов, пророков и Христа тоже одолевали сомнения. Все же остальные горят лишь отраженным светом, если не считать иных периодов как бы душевной засухи, когда несколько искр, упавших с большого факела, воспламеняют всю равнину; постепенно пожар затухает, и видно только мерцание тлеющих под пеплом углей. Вряд ли наберется несколько сот христиан, действительно верующих в Христа. Остальные верят, что они верят, или же хотят верить.

Так было и со многими из этих революционеров. Добряк Канэ хотел верить, что он революционер, и, значит, верил. И был в ужасе от собственной дерзости.

Все эти буржуа объявляли себя поборниками различных принципов: одни — принципов сердца, другие — разума, третьи — материальных интересов; эти соотносили свои убеждения с евангелием, те — с Бергсоном, другие — с Карлом Марксом, с Прудоном, с Жозефом де Местром, с Ницше или с Жоржем Сорелем. Одни стали революционерами потому, что это было модно, из снобизма, другие — из боевого пыла; одни — из жажды действия, из героизма, другие — из рабского подражания, из стадного чувства. Но все, сами того не зная, были подхвачены ветром. Это были те клубящиеся столбы пыли, которые видны издали на больших белых дорогах и которые возвещают приближение бури.

Оливье и Кристоф следили за приближающимся вихрем. У обоих были зоркие глаза. Но видели они по-разному. Оливье, чей прозорливый взгляд проникал в тайные мысли людей, был опечален их посредственностью, но он различал скрытую движущую силу, — его больше поражала трагическая сторона вещей. Кристоф

был восприимчивее к стороне комической. Люди его интересовали, идеи — нисколько. Он подчеркивал свое презрительное равнодушие к ним. Он издевался над социальными утопиями. Из духа противоречия и бессознательного протеста против модного тогда болезненного гуманизма он выказывал себя бóльшим эгоистом, чем был на самом деле; человек, который сам всего добился, могучий самородок, гордящийся своими мускулами и волей, слишком склонен был обзывать лентяями тех, кто не обладал его силой. Бедный и одинокий, он все-таки сумел победить; пусть так же поступают и другие. Социальный вопрос? Какой тут вопрос! Нужда?

— Мне она знакома, — говорил он. — Отец и мать и я — все мы через это прошли. Что ж, надо только уметь из нее выбраться.

— Не все это могут, — говорил Оливье. — Больные, неудачники.

— Надо им помочь, вот и все. Но от помощи до восхваления, как это делается сейчас, очень далеко. Когда-то ссылались на гнусное право сильного. Ей-богу, не знаю, не гнуснее ли еще право слабого: оно расслабляет мысль в наши дни, оно принижает и эксплуатирует сильных. Можно подумать, что теперь великая заслуга быть болезненным, бедным, неумным, угнетенным и худший порок — быть сильным, здоровым, удачливым. И нелепее всего то, что сильные сами первые в это верят... Прекрасный сюжет для комедии, мой друг Оливье!

— Я предпочитаю, чтобы надо мною смеялись. К чему заставлять людей плакать?

— Добрая душа! — говорил Кристоф. — Черт подери! Кто же спорит? Когда я вижу горбуна, у меня у самого ломит спину... Комедия — мы сами ее играем, только не нам ее сочинять.

Он не поддавался на приманку социальной справедливости. Его простонародный, грубоватый здравый смысл подсказывал ему, что, как было, так и будет.

— Если бы тебе сказали это об искусстве, ты бы в ярость пришел, — замечал Оливье.

— Весьма возможно. Во всяком случае я знаю толк в одном лишь искусстве. И ты тоже. Не верю я людям, которые болтают о том, чего не знают.

Оливье тоже им не верил. Друзья в своем недоверии заходили даже слишком далеко. Они всегда держались в стороне от политики. Оливье признавался не без стыда, что не помнит, пользовался ли он хоть раз своим правом избирателя; вот уже десять лет, как он не брал в мэрии своего избирательного листка.

— Чего ради я стану принимать участие в заведомо бесполезной комедии? Голосовать? За кого? Я не оказываю предпочтения ни одному из кандидатов, которые мне одинаково неизвестны и которые — я вполне уверен — на следующий же день после избрания одинаково изменят своим убеждениям. Контролировать их? Призывать их к долгу? Это значило бы бесплодно растратить всю свою жизнь. У меня нет на это ни времени, ни сил, ни ораторских способностей, ни беспринципности. Мое сердце слишком уязвимо — такая деятельность мне претит. Лучше уж воздержаться. Я согласен терпеть зло. Но уж расписываться под ним во всяком случае не стану!

Однакоже, несмотря на крайнюю свою пронизательность и чувство отвращения к механизму политической деятельности, этот человек хранил в душе какую-то призрачную надежду на революцию. Он знал, что она призрачна, но не отстранял ее. Это был своего рода расовый мистицизм. Нельзя безнаказанно принадлежать к величайшему на Западе народу-разрушителю, к народу, который рушит, чтобы созидать, и созидает, чтобы рушить, — к народу, который играет идеями и жизнью, то и дело стирает дочиста все сделанное, чтобы отыграться, и ставит на карту свою кровь.

Кристоф не был одержим этим наследственным мессианизмом. Он был слишком германец, для того чтобы упиваться идеей революции. Он думал, что мира не изменить. Сколько теорий, сколько слов — экая бесполезная болтовня!

— Мне нет надобности, — говорил он, — производить революцию или трепать языком о революции, чтобы доказать самому себе свою силу. А главное мне нет надобности, подобно всем этим молодцам, свергать государственный строй для того, чтобы восстановить короля или Комитет общественного спасения, который бы

меня охранял. Странное доказательство силы! Я сам сумею постоять за себя. Я не анархист, я люблю необходимый порядок и чту законы, правящие вселенной. Только мне не требуется посредников. Моя воля умеет повелевать, но умеет также и подчиняться. У вас с языка не сходят ваши классики, так вспомните-ка слова старика Корнеля: «Я один, и этого с меня достаточно». Вы жаждете иметь повелителя, и это обнаруживает вашу слабость. Сила — что свет; слепец тот, кто ее отрицает. Будьте сильны, спокойны, без всяких теорий, без насилий; как растения к свету, все слабые души потянутся к вам.

Однако, уверяя, что не желает терять время на политические споры, он куда меньше чуждался их, чем хотел это показать. Как художник, он страдал от социальных неурядиц. Минутами, тоскуя по большим страстям, он оглядывался вокруг и спрашивал себя, для кого же он пишет. И тут он видел жалкую клиентуру современного искусства, эту расслабленную знать, эту дилетантствующую буржуазию, и ему думалось: «Какой смысл работать для таких людей?» Правда, было среди них немало умов тонких, образованных, восприимчивых к его мастерству и не лишенных даже способности наслаждаться новизной или (что то же) архаикой изысканных чувств. Но они были пресыщены, слишком интеллектуальны, слишком нежизненны, для того чтобы верить в реальность искусства; их занимала только игра — игра созвучий или идей; многие из них, привыкшие разбрасываться, тратя время на всевозможные занятия, из которых ни одно не было «необходимым», отвлечены были светскими интересами. Они были неспособны проникнуть сквозь оболочки искусства в самую его сердцевину; искусство не являлось для них плотью и кровью: оно было лишь литературой. Критики из их среды возводили в теорию, и к тому же не терпящую возражений, невозможность вырваться за пределы дилетантизма. Если случайно встречались среди них люди достаточно чуткие, чтобы отозваться на мощные аккорды искусства, то у них не хватало силы выдержать — они так и оставались разбитыми на всю жизнь. Невроз или паралич. Что было делать искусству в этой больнице? А между тем в



современном обществе искусство не могло обойтись без этих вырожденцев, потому что в их руках были деньги и печать; только они могли обеспечить художнику средства к существованию. Приходилось, следовательно, идти на унижение: преподносить на светских вечерах как развлечение — вернее, как лекарство против скуки или новую дозу — всей этой публике, состоящей из снобов и усталых интеллигентов, живой трепет своего искусства, музыку, в которую вложены все сокровенные тайны души.

Кристоф искал настоящей публики, той, что верит художественным переживаниям как переживаниям жизни и воспринимает их девственной душой. И его смутно влекло к новой земле обетованной — к народу. Воспоминания детства, воспоминания о Готфриде, о смиренных душах, открывших ему глубины искусства и разделивших с ним священный хлеб музыки, побуждали его верить, что истинных друзей он обретет именно там. Как многие наивные молодые люди, он лелеял великие замыслы о народном искусстве, о народных концертах и театре, хотя очень затруднился бы точно определить свою идею. Он ожидал от революции художественного возрождения и утверждал, что одно только это его и интересует в общественной борьбе. Но он обманывался: он был слишком полон жизни, для того чтобы не вдохновиться делом, самым жизненным из всех, какие были в ту пору.

Меньше всего интересовали его буржуазные теории. Деревья эти слишком уж часто приносят засохшие плоды — весь их жизненный сок застыл в идеях. А в идеях Кристоф не разбирался. У него даже не было предпочтения к своим собственным, когда он обнаруживал их уже застывшими в тех или иных системах. Он с добродушным презрением сторонился как теорий силы, так и теорий слабости. Самая неблагоприятная роль во всякой комедии — это роль резонера. Публика предпочитает ему не только положительных, но даже отрицательных персонажей. В этом отношении Кристоф был публикой. Резонеры на социальные темы казались ему скучными. Но ему забавно было наблюдать со стороны тех, что верили, и тех, что хотели верить, тех, что

обманывали, и тех, что хотели быть обманутыми, — уда-  
лых пиратов, занимающихся своим разбойным ремеслом,  
и овец, созданных для того, чтобы их стригли. Он был  
снисходителен в своем расположении к добродушным,  
смешным людям, вроде толстяка Канэ. Их ограничен-  
ность коробила его не так, как Оливье. Он наблюдал  
их с сочувственным и насмешливым вниманием, считая  
себя непричастным к пьесе, которую они разыгрывали,  
и не замечая, как мало-помалу сам втягивается в нее.  
Он воображал себя только зрителем, который смотрит,  
как налетает ветер. Но ветер уже коснулся его и увле-  
кал в своем пыльном вихре.

Социальная пьеса была двусторонней. Та, что разы-  
грывалась интеллигенцией, была комедией в комедии, —  
народ не слушал ее. Настоящую пьесу играл сам народ.  
Следить за нею было нелегко; он и сам не очень-то в  
ней разбирался. Тем больше было в ней всяких нежиданностей.

Надо сознаться, что в ней тоже говорили куда  
больше, чем действовали. Каждый француз — будь он  
из буржуазии или из народа — большой охотник до  
слов, так же как и до хлеба. Но не все едят один и тот  
же хлеб. Существуют слова роскоши, пригодные для из-  
неженных уст, и слова, более питательные для голодной  
глотки. Если даже слова одни и те же, то замешаны они  
неодинаково: вкус и запах и смысл у них разный.

Когда Оливье, присутствуя на одном народном собра-  
нии, впервые отведал этого хлеба, он мигом лишился  
аппетита — куски застревали у него в горле. Его мучило  
от плоскости мыслей, от бесцветных и варварски тяже-  
лых выражений, от расплывчатости общих мест, от ре-  
бячливой логики — от всего этого плохо сбитого соуса  
из абстракций и не связанных между собой фактов.  
Нескладность языка не возмещалась сочной образностью  
народной речи. То был газетный словарь — выцветшее  
тряпье, подобранное в хламе буржуазной риторики.  
Оливье удивляло главным образом отсутствие простоты.  
Он забывал, что литературная простота — вещь не вро-  
жденная, а приобретенная, это завоевание немногих.

Городской люд не умеет быть простым: он всегда любит выискивать мудреные выражения. Оливье не понимал, как эти напыщенные речи могут действовать на слушателей. У него не было ключа к этой тайне. Принято называть иностранным язык другой расы, а на самом деле в одной и той же расе почти столько же языков, сколько в ней социальных слоев. Только для узкого круга людей слова имеют свой традиционный, многовековой смысл; для других же они представляют собою лишь отражение собственного их опыта и опыта их среды. Иные слова, уже затасканные и отвергнутые в кругу избранных, напоминают опустелый дом, где после отъезда прежних хозяев поселились некие новые, полные жизни, силы и страсти. Если вы желаете узнать хозяина, войдите в дом.

Кристоф так и сделал.

С рабочими свел его сосед, железнодорожный служащий. Маленький сорокапятилетний человечек, преждевременно состарившийся, с уныло облыселем черепом, с глубоко запавшими глазами, с выдающимся крупным горбатым носом, выразительным ртом и уродливыми ушами с дряблой мочкой — тип дегенерата. Звали его Альсидом Готье. Он был не из народа, а из буржуазной почтенной семьи; родители истратили на образование сына все свое маленькое состояние, но даже не сумели, по недостатку средств, довести это образование до конца. Еще в ранней молодости он добился казенного места, одной из тех должностей, которые кажутся бедному мещанству пристанью, а по существу являются смертью — смертью при жизни. Раз попав туда, он уже не мог выбраться. Он сделал ошибку (в современном обществе это именно ошибка), женившись по любви на хорошенькой работнице, природная грубость которой не замедлила расцвести пышным цветом. Она родила ему троих детей. Весь этот выводок нужно было прокормить. И вот этот умный и страстно жаждущий пополнить свое образование человек оказался по рукам и по ногам связанным нуждой. Он чувствовал в себе скрытые силы, придушенные тяжелой жизнью, и не мог с этим примириться. Он никогда не бывал один. Служа по счетной

части, он целые дни проводил за механической работой в общей комнате с другими сослуживцами, людьми грубыми и болтливими; они говорили о всяком вздоре, злословили о своих начальниках, вымещая на них скуку своего существования, и насмехались над Готье, над его умственными запросами, которые у него не хватало благоразумия от них скрыть. Со службы он возвращался в свое неуютное и зловонное жилище, к пошлой, крикливой жене, которая не понимала его и обращалась с ним как с бездельником или как с сумасшедшим. Дети ни в чем не были похожи на него, а все пошли в мать. Где же тут справедливость? Все эти обиды, страдания, постоянная стесненность в средствах, работа с утра до ночи, иссушающая душу, невозможность урвать хотя бы час покоя, один часок тишины, — все это привело его в состояние угнетенности и неврастенического раздражения. Чтобы забыться, он с недавних пор стал прибегать к вину, которое вконец разрушило его здоровье. Кристоф был потрясен трагизмом его судьбы. Натура несовершенная, без достаточной культуры и без художественного вкуса, но созданная для чего-то значительного и раздавленная неудачами, Готье тотчас же уцепился за Кристофа, как слабый, утопая, цепляется за руку хорошего пловца. К Кристофу у него было смешанное чувство расположения и зависти. Он водил его на собрания трудовых людей Парижа и показал ему там нескольких главарей революционных партий, к которым он примыкал только из-за своего озлобления на общество, ибо по натуре он был неудавшимся аристократом. Он глубоко страдал от того, что ему пришлось смешаться с народом.

Кристоф был гораздо ближе к народу, чем Готье, — тем более, что ничто не принуждало его к этому, — и потому пристрастился к митингам. Речи его забавляли. Он не разделял отвращения Оливье, так как был мало чувствителен к смешным оборотам языка. В его глазах один болтун стоил другого. Он делал вид, что вообще презирует красноречие. Но, не давая себе труда разобратся в риторике, он чувствовал музыку через того, кто говорил, и через тех, кто внимал ему. Власть говоривших во сто крат возрастала, находя отзыв в слушателях. Сначала Кристоф обратил внимание только на

первых; он пожелал познакомиться с некоторыми ораторами.

Из них наибольшее влияние на толпу имел Казимир Жусье, смуглый и бледный человек лет тридцати — тридцати пяти, худой, болезненный, с лицом монгольского типа, с пламенными и в то же время холодными глазами, редкими волосами и острой бородкой. Сила его была не столько в мимике — скудной и неровной, плохо согласовавшейся со словами, не столько в речи, хриплой и шепелявой, с поползновениями на пафос, сколько в нем самом, в неистовой, исходившей от всего его существа убежденности. Он, казалось, не допускал, что можно думать иначе, чем он; а так как он думал именно то, что хотелось думать его слушателям, они понимали друг друга без труда. Он по три, по четыре раза, по десять раз повторял им то, чего от него ждали; он без усталости, с каким-то остервенением колотил по одному и тому же гвоздю; и все его слушатели колотили, колотили, увлеченные его примером, — колотили до тех пор, пока гвоздь не вонзался в тело. К личному его обаянию присоединялось еще доверие, внушаемое его прошлым, престиж, созданный многократными политическими заточениями. От него веяло неукротимой энергией; но тот, кто умеет смотреть, различал в самой глубине огромную накопившуюся усталость, горечь после стольких затраченных усилий и негодование на судьбу. Он был из тех, кто ежедневно тратит больше, чем отпущено им на всю жизнь. С детства он надрывался в работе и нужде. Он испробовал все ремесла: был стекольщиком, свинцовых дел мастером, наборщиком; здоровье его было разрушено; чахотка подтачивала его, вызывала в нем приступы горького разочарования, безысходного отчаяния, обиды за свое дело и за самого себя, а иной раз распяла его. В нем была смесь рассчитанной резкости и резкости болезненной, политичности и горячности. Он кое-чему с грехом пополам выучился; отлично был осведомлен в некоторых вещах, в вопросах социологии, в разных ремеслах; весьма плохо знал многое другое и был одинаково уверен как в том, так и в другом; в нем совмещались утопии, верные мысли, невежество, практический ум, предрассудки,

опыт, всегда настороженная ненависть к буржуазному обществу. Это не помешало ему, однако, хорошо встретить Кристофа. Его гордость была польщена тем, что известный артист ищет его общества. Он был из породы вождей и, помимо своей воли, с рабочими всегда держался повелителем. Хотя он искренно стремился к полному равенству, ему легче было осуществлять его с высшими, чем с низшими.

Кристоф встретился и с другими вождями рабочего движения. Особого единодушия между ними не было. Если общность борьбы и создавала, хотя бы с трудом, единство действия, то душевного единства она отнюдь не создавала. Видно было, насколько чисто внешни и проходящи те факторы, с которыми связаны классовые различия. Все разновидности старой вражды были только на время отложены и замаскированы, но продолжали существовать. Можно было встретить здесь северян и южан с их исконным презрением друг к другу. Представители одних ремесел завидовали заработку других и смотрели друг на друга с чувством нескрываемого превосходства. Но главное различие заключалось — и всегда будет заключаться — в разнице темпераментов. Лисицы, волки и рогатый скот, звери, наделенные острыми зубами, и жвачные с четырьмя желудками, те, что созданы, чтобы пожирать, и те, что созданы, чтобы быть съеденными, — все они обнюхивали друг друга, входя в стадо, образованное случайностью классового подразделения и общностью интересов, тотчас же узнавали чужака и ошетинивались.

Кристоф завтракал иногда в ресторанчике-молочной, принадлежавшей одному из прежних товарищей Готье, Симону, тоже железнодорожному служащему, уволенному за участие в забастовке. Там бывали синдикалисты. Они собирались по пять-шесть человек в одной из задних комнат, выходявшей на узкий и темный внутренний двор, откуда иступленно несло к свету немолчное пение двух сидящих в клетке канареек. Жусье приходил со своей любовницей, красавицей Бертой, стройной, кокетливой девицей с бледным лицом, со шлемом огненных волос и блуждающими веселыми глазами. За нею волочился молодой человек, красавчик, щеголь и



кривляка Леопольд Грайо, механик, считавшийся эстетом в этой компании. Выдавая себя за анархиста и за яростного врага буржуазии, он в душе был самым отъявленным мещанином. Каждое утро, в течение многих лет, он поглощал эротические и декадентские новеллы грошовых журнальчиков. И от этого чтения у него в голове был полный сумбур. Интеллектуальная утонченность, сказывавшаяся главным образом в чувственной игре воображения, сочеталась в нем с физической неряшливостью, с равнодушием к чистоте, с грубостью жизненных привычек. Он любил смаковать маленькими глоточками тот подкрашенный алкоголь, интеллектуальный алкоголь, каким является роскошь и всякие болезненные страсти болезненных богачей. Не имея возможности испытывать эти наслаждения телесно, как они, он прививал их своему мозгу. От этого остается дурной вкус во рту, ломота в ногах, но зато делаешься ровней богачам. И ненавидишь их.

Кристоф терпеть его не мог. Гораздо больше был он расположен к Себастьяну Кокару, электротехнику, который наравне с Жусье был одним из самых популярных ораторов. Этот не очень-то обременял себя теориями. Он не всегда знал, куда идет. Но шел напрямик. Он был истым французом. Дюжий молодец лет сорока, толстый, краснолицый, круглоголовый, рыжеволосый, с волнистой бородой, бычьей шеей, громовым голосом. Превосходный работник, как и Жусье, но любитель посмеяться и выпить. Тщедушный Жусье завистливыми глазами смотрел на этого пышущего здоровьем весельчака, и, хотя они были друзьями, в их отношениях чувствовалась затаянная враждебность.

Хозяйка молочной, Орели, сорокапятилетняя женщина, должно быть красивая в молодости и, хоть и потрепанная, красивая еще и до сих пор, присаживалась к ним с рукодельем в руках и слушала их разговоры, радушно улыбаясь и шевеля губами; при случае она, не оставляя работы, вставляла в беседу словечко, покачивая головой в такт своим речам. У нее была замужняя дочь и двое детей, семи и десяти лет, — девочка и мальчик, — которые тут же готовили уроки на краю

засаленного стола, высовывая язык и ловя на лету обрывки разговоров, вовсе для них не подходящих.

Оливье пробовал разок-другой сопровождать Кристофа. Но ему было не по себе с этими людьми. Трудно представить, сколько времени они могли тратить зря после работы и в промежутке между двумя работами, ротозейничая, прогуливая целый рабочий день, если у них не было точно установленного часа явки в цех, если их не призывала своим упорным гудком фабрика. Кристоф, находившийся как раз в одном из своих периодов праздности, когда ум уже закончил одно творение и ждет, чтобы назрело другое, также никуда не торопился; он охотно сидел с ними, положив локти на стол, курия, попивая вино, беседуя. Но Оливье был оскорблен в своих инстинктах буржуа, в исконных своих привычках к умственной дисциплине, к регулярной работе, к бережному отношению ко времени; он не любил терять таким образом столько часов. К тому же он не умел ни пить, ни болтать. А главное — это чисто физическое чувство неловкости, тайная неприязнь, разделяющая людей разной породы, враждебность их чувств, мешающая единению сердец, плоть, восстающая против души. Наедине с Кристофом Оливье взволнованно говорил о том, что обязан брататься с народом; но, оказавшись лицом к лицу с этим народом, он ничего не мог с собой поделать, тогда как Кристоф, подтрунивавший над его идеями, без всякого труда становился другом первому же встречному рабочему. Для Оливье было истинным горем сознание своей отчужденности от всех этих людей. Он старался быть таким, как они, думать, как они, говорить, как они. И не мог. Голос у него был тихий, приглушенный, не звенел, как их голоса. Если он пытался заимствовать некоторые их выражения, слова застревали у него в горле или звучали как-то фальшиво. Он все время следил за собою, стеснялся, стеснял их. И он это знал. Он понимал, что для них он — чужой, подозрительный, что никто не чувствует к нему расположения и что после его ухода все с облегчением вздохнут: «уф!» Ему случалось мимоходом улавливать суровые, ледяные взгляды, — те беглые враждебные взгляды, что бросают на буржуа ожесточенные

нуждой рабочие. Выпадали они, быть может, и на долю Кристофа, но тот ничего не замечал.

Единственно кто из всей компании склонен был дружить с Оливье, это — дети Орели. У них не было никакой ненависти к буржуазии, напротив. Мальчик был зачарован буржуазной культурой; он был достаточно умен, чтобы ее любить, но не настолько, чтобы ее понимать; девочка, очень хорошенькая, которую Оливье однажды сводил в гости к г-же Арно, была помешана на роскоши; сидеть в красивых креслах, прикасаться к красивым платьям — все это приводило ее в какой-то безмолвный восторг; в ней говорил инстинкт потаскушки, жаждущей вырваться из протонародной среды в рай буржуазного довольства. У Оливье не было никакой охоты развивать подобные вкусы, и эта наивная дань восхищения его классу нисколько не вознаграждала его за ту глухую неприязнь, которую он чувствовал со стороны других. Он страдал от их недоброжелательности. Ему так страстно хотелось их понять. И, по правде говоря, он понимал их даже, может быть, слишком хорошо. Но он слишком явно наблюдал за ними, и это их раздражало. С его стороны это не было нескромным любопытством, а лишь привычкой анализировать души.

Он не замедлил разгадать тайную драму жизни Жусье: недуг, его снедавший, и жестокую игру его любовницы. Она любила его, гордилась им, но она слишком полна была жизни; он знал, что рано или поздно она ускользнет от него, и терзался ревностью. Ее это забавляло: она дразнила самцов, обволакивала их своими взглядами, своим сладострастием; она отчаянно заигрывала с мужчинами. Быть может, она изменяла ему с Грайо. Быть может, ей просто хотелось, чтобы Жусье так думал. Во всяком случае, если этого еще не было сегодня, это должно было случиться завтра. Жусье не смел запрещать ей любить, кого ей вздумается: разве не признавал он за женщиной, так же как за мужчиной, права на свободу? Однажды, когда он вздумал ее упрекнуть, она с лукавой дерзостью напомнила ему об этом. В нем происходила мучительная борьба между вольнолюбивыми теориями и буйными инстинктами. Сердцем он был еще человек прошлого —

деспотичный и ревнивый; разумом — человек будущего, человек утопии. Она же, она была женщиной — и вчерашней, и сегодняшней, той, что будет всегда. И Оливье, присутствуя при этом тайном поединке, жестокость которого он знал по собственному опыту, видя мучения Жусье, преисполнялся жалости к нему. Но Жусье догадывался, что Оливье его понимает, и отнюдь не был ему за это благодарен.

Еще один человек снисходительным взглядом следил за этой игрой любви и ненависти — хозяйка рестораника, Орели. Она, не подавая виду, замечала все. Она знала жизнь. Эта добрая женщина, здоровая, спокойная, уравновешенная, провела довольно веселую молодость. Она была цветочницей; у нее был любовник из буржуа, были и другие. Затем она вышла замуж за рабочего. Стала хорошей семьяниной. Но она понимала все безумства сердца, ревность Жусье, так же как и эту жаждущую веселья юность. Она старалась несколькими теплыми, душевными словами восстановить между ними согласие:

— Надо быть снисходительным; не стоит из-за таких пустяков портить себе кровь...

Она не удивлялась тому, что все ее советы ровно ни к чему не приводили:

— Это никогда ни к чему не приводило. Человек вечно сам себя мучает...

Она обладала той веселой, свойственной простому народу беспечностью, когда все несчастья словно только скользят мимо. Немало выпало их и на ее долю. Три месяца назад умер ее любимый сын, пятнадцатилетний мальчик... Большое горе... Но теперь она снова была деятельной и радостной. Она говорила:

— Если только дать волю мыслям, то и жить нельзя будет.

И она больше не думала о нем. Это был не эгоизм. Она не могла поступить иначе: слишком силен в ней был инстинкт жизни; настоящее поглощало ее всю, — разве можно задерживаться на прошлом! Она приспособлялась к тому, что есть, она приспособилась бы и к тому, что будет. Если бы произошла революция и перевернула все вверх дном, она всегда сумела бы устоять на ногах,

делала бы то, что нужно, была бы на своем месте всюду, куда бы ни забросила ее судьба. В глубине души она не слишком-то верила в революцию. По-настоящему она ни во что решительно не верила. Незачем добавлять, что в трудные минуты жизни она ходила по гадалкам и никогда не забывала перекреститься при виде покойника. Свободомыслящая и терпимая, она была исполнена здорового скептицизма, свойственного парижскому народу, который сомневается так же легко, как и дышит. Хотя она и была женой революционера, тем не менее она с той же материнской иронией относилась к идеям мужа и его партии — да и других партий, — как и ко всем шалостям юности и зрелого возраста. Мало что могло взволновать ее. Но интересовалась она всем. И равно была подготовлена к удаче, как и к неудаче. Словом, настоящая оптимистка.

— Не стоит портить себе кровь... Все уладится, было бы здоровье...

Ей нетрудно было найти общий язык с Кристофом. Им не понадобилось много слов, чтобы понять, что они — одной породы. Изредка, в то время как другие разглагольствовали и кричали, они обменивались добродушной улыбкой. Но чаще посмеивалась она одна, глядя, как Кристоф в конце концов невольно втягивался в эти споры, в которые он тотчас же вносил гораздо больше страстности, чем все остальные.

Кристоф не чувствовал обособленности и неловкости, от которой страдал Оливье. Он не пытался читать то, что происходит в душах людей. Но он пил и ел с ними, смеялся и сердился. Его не сторонились, хоть и жестоко препирались с ним. Он говорил им все напрямик. В глубине души ему трудно было бы сказать, с ними он или против них. Он даже не задумывался над этим. Разумеется, если бы его заставили сделать выбор, он был бы за синдикализм и против социализма и всех доктрин, связанных с существованием государства, — государства, этой чудовищной силы, фабрикующей чиновников, людей-машин. Его разум одобрял мощь корпоративных объединений, обоюдоострый топор которых разит одновременно и мертвую абстракцию теории

социалистического государства и бесплодный индивидуализм, эту раздробленность энергий, это распыление коллективной силы на индивидуальные слабости, — великое зло современности, за которое отчасти ответственна Французская революция.

Но натура сильнее разума. Когда Кристоф соприкасался с профессиональными союзами — этими грозными союзами слабых, — мощный его индивидуализм вставал на дыбы. Он невольно испытывал презрение к людям, которые, идя в бой, непременно должны быть скованы друг с другом; и если он допускал существование такого закона для них, то для себя он считал его неприемлемым. Добавьте к этому, что если слабые в роли притесняемых вызывают симпатию, то, становясь притеснителями, они перестают внушать это чувство. Кристоф, когда-то кричавший честным одиночкам: «Объединяйтесь!» — испытывал неприятное ощущение, впервые увидев своими глазами объединение честных людей, смешанных с другими, менее честными, но поголовно преисполненных сознания своих прав, своей силы и готовых злоупотреблять этим. Лучшие — те, которых Кристоф любил, друзья, которых он встретил в *Доме*, во всех его этажах, — нисколько не выигрывали от своего участия в этих боевых объединениях. Они были слишком деликатны и слишком застенчивы; они побаивались: им первым суждено было быть раздавленными. К рабочему движению они относились так же, как Оливье. Сочувствие же Кристофа клонилось на сторону организующихся рабочих. Но он воспитан был в культе свободы, а ею-то меньше всего и были озабочены революционеры. Да и кто нынче думает о свободе? Кучка избранных, не имеющая на мир никакого влияния. Мрачные дни наступили для свободы. Римские папы изгоняют свет разума. Парижские папы тушат свет небесный. А «господин Увалень» — свет уличных фонарей<sup>1</sup>. Всюду торжествует империализм: теократический империализм римской церкви; военный империализм своекорыстных и мистически настроенных монархий; бюрократический империализм капиталистических республик;

---

<sup>1</sup> Намек на смехотворную речь одного красноречивца из палаты депутатов. — Р. Р.

диктаторский империализм революционных комитетов. Бедная свобода, ты не от мира сего... Злоупотребление властью, проповедуемое и допускаемое революционерами, возмущало Кристофа и Оливье. Они не уважали желтых рабочих, которые отказывались страдать за общее дело. Но они находили отвратительным, что рабочих хотели принудить к этому силой. А между тем надо было сделать выбор. В сущности выбирать нынче приходится не между империализмом и свободой, а между одним империализмом и другим. Оливье говорил:

— Ни тот, ни другой. Я — за угнетаемых.

Кристоф не меньше его ненавидел угнетателей. Но его влекло туда, где прокладывали путь силой, где действовала мощная армия возмущенных рабочих.

Он и сам этого не подозревал. Напротив, он заявлял своим собеседникам, что он не с ними.

— Пока все для вас сводится к материальным интересам, мне у вас делать нечего. В тот день, когда вы выступите во имя какой-нибудь веры, я буду в ваших рядах. А иначе, что мне делать — ведь и тут и там речь идет о брюхе? Я — художник, мой долг защищать искусство, я не имею права отдавать его на службу той или иной партии. Я знаю, за последнее время честолюбивые писатели, побуждаемые нездоровой жаждой популярности, подали нам дурной пример. Вряд ли они принесли большую пользу делу, которое защищали таким способом; но они предали искусство. Спасти светоч духа — вот в чем наша задача. Незачем впутывать его в ваши темные распри. Кто поднимет светильник, если мы его уроним? Вы же сами будете рады найти его невредимым после битвы. Надо, чтобы кочегары всегда поддерживали огонь в топке, пока на палубе корабля идет сражение. Все понять, ничего не ненавидеть! Художник — это компас, который в бурю всегда указывает на север...

Они называли его болтуном, а что касается компаса, то видно, говорили они, что он свой потерял; они позволяли себе роскошь дружески презирать его. В их глазах художник — это плут, который всегда ухитрится выбросить работу наиболее легкую и наиболее приятную.

Он отвечал им, что работает наравне с ними, даже больше, и меньше их боится работы. Ничто не было ему



так противно, как саботаж, неряшливость в работе, праздность, возведенная в принцип.

— Уж эти мне бедняги, дрожащие за свою драгоценную шкуру! — говорил он. — Боже ты мой! Я с десятилетнего возраста работаю без усталости. Это вы, вы не любите работы, вы в сущности — буржуа. Если бы только вы были способны разрушить старый мир! Но вы этого не можете. Вы даже не хотите этого. Нет, не хотите! Напрасно вы вопите, угрожаете, разыгрываете из себя разрушителей. У вас одна только мысль: забрать все в свои руки, улечься в еще теплую постель буржуазии. Не считая нескольких сотен бедняков-землекопов, которые, сами не зная почему, ради удовольствия или с горя, от вековой скорби, всегда готовы свернуть себе шею или свернуть ее другим, — все остальные только и думают о том, как бы удрать, сбежать при первом же удобном случае в ряды буржуазии. Они делаются социалистами, журналистами, лекторами, литераторами, депутатами, министрами... Ну, ну! Не слишком уж возмущайтесь таким-то деятелем! Чем сами-то вы лучше его? Он — предатель, говорите вы? Ладно. За кем же из вас теперь черед? Все вы пройдете через это. Никто из вас не устоит перед соблазном. Да и как могли бы вы устоять? Среди вас нет ни одного, кто верил бы в бессмертную душу. Вы — брюхо, говорю я вам, пустое брюхо, вы только и думаете о том, чем бы его набить.

Тут они приходили в ярость и начинали кричать все сразу. И в пылу спора случалось, что Кристоф, захваченный страстью, оказывался куда большим революционером, чем остальные. Напрасно пытался он обуздать себя: его гордыня интеллигента, его снисходительное, чисто эстетическое восприятие мира, созданного для радости духа, — все исчезало при виде несправедливости. Разве эстетичен этот мир, в котором восемь человек из десяти живут в лишениях или в нужде, в нищете физической или духовной? Надо быть бесстыдником из привилегированного сословия, чтобы это утверждать. Такой художник, как Кристоф, перед лицом своей совести не мог не стать на сторону рабочих. Кому, как не людям умственного труда, страдать от безнравственности социальных условий, от страшного имущественного нера-

венства? Художник умирает с голоду или делается миллионером не по какой иной причине, как только по прихоти моды или тех, кто спекулирует на ней. Общество, которое позволяет гибнуть своим избранникам или чрезмерно награждает их, — чудовищно: оно должно быть уничтожено. Каждый человек — работает он или не работает — имеет право на хлеб насущный. Всякий труд — хорош он или посредствен — должен быть вознагражден не по исчислению его реальной ценности (кто тут может быть непогрешимым судьей?), а по законным и нормальным потребностям работника. Художнику, ученому, изобретателю — славе общества — общество может и должно предоставить доход, достаточный для того, чтобы обеспечить ему время и средства для еще большего его прославления. Только и всего. «Джюконда» не стоит миллиона. Между денежной суммой и произведением искусства нет решительно никакой связи; оно не выше, не ниже — оно вне ее. Дело не в том, чтобы оплатить произведение искусства, а в том, чтобы художник мог жить. Дайте ему возможность кормиться и спокойно работать. Богатство — излишняя роскошь; это — кража, совершенная у других. Надо сказать прямо: всякий, кто владеет большим, чем требуется для его жизни, для жизни его близких, для нормального развития его умственных способностей, — вор. Его излишек отзывается ущербом на других. Мы только грустно улыбаемся, когда при нас говорят о неисчерпаемом богатстве Франции, об изобилии имеющихся в ней крупных состояний, — мы, племя тружеников, рабочих, интеллигентов, мужчины и женщины, с детства выбивающиеся из сил для того лишь, чтобы заработать на жизнь, чтобы не умереть с голоду, мы, зачастую присутствующие при гибели лучших, павших под тяжестью бремени, мы — живые силы нации. Но вы, пресыщенные всеми богатствами мира, вы богатеете на наших страданиях и нашей агонии. Это несколько вас не смущает, у вас всегда найдутся софизмы, которыми вы подбодряете себя; священное право собственности, здоровая борьба за существование, высшие цели Прогресса, этого мифического чудовища, этого гадательного «лучше», которому жертвуют тем, что хорошо, жертвуют благом — благом других. Но в любом

случае у вас остается слишком много. Слишком много жизненных благ. У нас же их недостаточно. А стóим мы побольше вашего. Если неравенство вам по вкусу, берегитесь, как бы завтра оно не обернулось против вас!

Так бушевавшие вокруг Кристофа страсти кружили ему голову. Потом он сам удивлялся этим приступам красноречия. Но он не придавал им значения. Его забавляло это возбуждение, которое он приписывал выпивке. Он сожалел только, что вино было недостаточно хорошо, и превозносил свои рейнские вина. Он продолжал считать себя не связанным с революционными идеями. Но странное дело: Кристоф вносил в свои споры об этих идеях все больше и больше пыла, тогда как пыл его товарищей, казалось, соответственно убывал.

У них меньше было иллюзий, чем у него. Даже самые пламенные вожаки — те, кого больше всего страшилась буржуазия, в глубине души были недостаточно уверены в себе и до мозга костей буржуазны. Кокар, чей смех напоминал ржанье жеребца, говорил громовым голосом и делал угрожающие жесты, но сам он лишь наполовину верил в то, что изрекал: он только хвастался тем, что был сторонником насилия. Он разоблачал буржуазную трусость и любил нагонять ужас, представляясь более сильным, чем был на самом деле; он, не стеснясь, со смехом признавался в этом Кристофу. Грайо критиковал все, все, любое предприятие, он проваливал решительно все. Жусье вечно упорствовал в своих утверждениях и не желал признавать себя неправым. Отлично сознавая слабость своей аргументации, он тем сильнее упрямился. Он готов был пожертвовать победой своего дела ради торжества своих принципов. Но от припадков слепой веры он переходил к припадкам скептического неверия, с горечью осуждая ложь всех идеологий и бесполезность всех усилий.

То же было и с большинством рабочих. После опьянения словами они мгновенно впадали в уныние. Мечты их были грандиозны, но не имели под собой никакой почвы; они их не завоевывали, не создавали сами — они получили их уже готовыми в силу закона наименьшего сопротивления, того самого закона, который увлекал их на досуге в кабаки и притоны. Неизлечимая лень мысли, которая, впрочем, была простибельна: словно

измученное животное, они только и думали о том, чтобы лечь и мирно пережевывать свой корм, свои мечты. Но когда перебродают мечты, остается еще большая усталость, тоска судорогой сводит скулы. Рабочие то и дело восторгались каким-нибудь вождем, но вскоре начинали его подозревать и отходили от него. Печальнее всего то, что они отнюдь не были неправы: вожаки, один за другим, поддавались соблазну богатства, успеха, тщеславия; на одного Жусье, которого от соблазна ограждала изнурявшая его чахотка и близкая смерть, сколько приходилось предателей, сколько разочарованных! Они были жертвами язвы, разъедавшей в ту пору политических деятелей всех партий: их развращали женщины или деньги — женщины и деньги. (Оба эти бича составляли в сущности один бич.) В правящих кругах, равно как и в оппозиции, можно было встретить первоклассные дарования, людей с задатками крупных государственных деятелей (в другое время они, быть может, и стали бы таковыми), но всем им недоставало веры, недоставало характера; жажда наслаждений, привычка к ним, пресыщение ими совершенно расслабили их; эта жажда наслаждений заставляла их, в разгар самых широких замыслов, совершать бессмысленные поступки или забрасывать вдруг ради отдыха и наслаждения все: текущие обязанности, отечество, великое дело, за которое они боролись. У этих вождей хватило бы мужества принять смерть в бою, но очень немногие из них были бы способны умереть за работой, без всякого бахвальства, неколебимо стоя на своем посту, продолжая до конца держать руль.

Сознание этой роковой слабости подрывало силы революции. Рабочие тратили время на взаимные пререкания и обвинения. Забастовки вечно проваливались из-за постоянных разногласий между главарями или цехами, между реформистами и революционерами, из-за скрытой под хвастливыми угрозами глубокой нерешительности, из-за наследственного стадного чувства, которое при первом же окрике властей заставляло мятежников снова вкладывать шею в ярмо, из-за подлого эгоизма и низости тех, кто, пользуясь борьбой других, старался выслужиться перед господами, заставляя дорого оплачивать свою корыстную преданность. Мы не говорим уж о

присущих толпе беспорядочности и анархическом духе. Рабочие готовы были придать революционный характер экономическим стачкам, но не желали, чтобы с ними обрашались, как с революционерами. Штыки были им совсем не по вкусу. Им хотелось сделать яичницу, не разбивая яиц. Во всяком случае они предпочитали, чтобы битые яйца доставались не им, а их соседям.

Оливье смотрел, наблюдал и уже не удивлялся. Он понял, насколько эти люди ниже той задачи, которую они брались осуществить; но он понял также увлекавшую их роковую силу и видел, что Кристоф, сам того не замечая, уже плывет по течению. Что касается самого Оливье, который только и жаждал быть унесенным потоком, то его не желали принимать. Он стоял на берегу и смотрел, как проносятся мимо него бурные воды.

То было могучее течение; оно вздымало огромную массу страстей, интересов, верований, которые сталкивались и сливались, вскипая пеной и кружась среди бурлящих противоборствующих течений. Во главе шли вожаки — наименее свободные из всех, потому что их подталкивали вперед, и, быть может, из всех наименее убежденные; некогда верили и они, подобно священникам, над которыми они сами же смеялись, но они закоснели в своих обетах, в своей уже угасшей вере, которую теперь принуждены были исповедовать до конца. За ними следовало стадо, грубое, ненадежное и почти ничего не видящее. Большинство верило лишь случайно, потому что течение сейчас влекло их именно к этим утопиям; они разуверятся завтра же, лишь только течение переменится. Многие верили из жажды действия, из жажды приключений. Другие — в силу логических рассуждений, лишенных всякого здравого смысла. Кое-кто — по доброте. Более осмотрительные пользовались идеями лишь как оружием для битвы: они боролись за твердый заработок, за сокращение рабочих часов. Бедные лелеяли тайную надежду жестоко отомстить за нищенское свое существование.

Но течение, на гребне которого они держались, было мудрее их всех: оно знало, куда идет. Что за беда, если ему придется временно разбиться о плотину старого мира! Оливье понимал, что сейчас социальная революция была бы подавлена. Но он знал также, что своим

поражением она достигнет цели не менее верно, чем победой, ибо угнетатели лишь тогда удовлетворяют требования угнетаемых, когда те внушают им страх. Таким образом, несправедливые акты насилия, чинимые революционерами, способствовали успеху их дела не меньше, чем справедливость этого дела. И то и другое являлось частью единого замысла слепой и уверенной в себе силы, толкающей вперед человеческое стадо.

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал бог, чтобы посрамить сильных; и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал бог, чтобы упразднить значащее...»

И все-таки, кто бы ни был хозяин, правящий миром (Разум ли, Безумие ли), и какой бы прогресс ни сулило в будущем социальное устройство, подготовляемое синдикализмом, Оливье не думал, что ему и Кристофу стоит растрачивать всю силу своей мечты и жертвенности в этом будничном бою, которому не суждено открыть нового мира. Его чисто мистическая надежда на революцию была поколеблена. Народ был не лучше и ничуть не искреннее других классов, а главное ничем особенным от них не отличался.

В этом потоке сталкивающихся интересов и нечистых страстей взгляд и сердце Оливье привлекали независимые островки, маленькие группы истинно убежденных людей, всплывавшие то здесь, то там, как цветы на поверхности воды. Напрасно стараются избранники слиться с толпой: их всегда влечет к избранникам же, избранникам всех классов и всех партий, — к тем, кто несет огонь. И священный их долг — следить, как бы огонь этот не погас.

Выбор Оливье был уже сделан.

За несколько домов от дома Оливье, чуть пониже уровня улицы, находилась лавчонка башмачника — несколько сколоченных досок с бумажными заплатами на окнах. Спускались туда по трем ступенькам, стоять можно там было, только сгорбившись. Места хватало

лишь для полки с башмаками да двух табуреток. Весь день слышно было, как, верный традициям сапожного цеха, распевал хозяин мастерской. Он свистел, постукивал по подошвам, выкрикивал сиплым голосом всякие прибаутки и революционные песенки или зубоскалил с проходящими мимо соседками. Сорока со сломанным крылом, прогуливаясь вприпрыжку по тротуару, приходила из каморки привратника к нему в гости. Она оставалась на первой ступеньке у входа в лавку и смотрела на башмачника. Он на минуту прерывал работу, чтобы воркующим голосом сказать ей несколько сальностей, или насвистывал ей «Интернационал». Она подолгу, подняв клюв, степенно слушала его. Время от времени она как будто ныряла, наклоня голову вперед, и, точно отвешивая поклоны, неловко хлопала крыльями, чтобы сохранить равновесие; потом неожиданно поворачивалась и, покинув своего собеседника на середине фразы, работая здоровым и надломленным крылом, перелетала на спинку скамьи, откуда принималась дразнить всех собак квартала. Тогда башмачник опять начинал стучать по заготовкам — бегство слушательницы не мешало ему довести до конца прерванную речь.

Ему было пятьдесят шесть лет; у него было веселое, грубое лицо, маленькие смеющиеся глазки под густыми бровями, голый на макушке череп, словно яйцо в гнезде волос, волосатые уши, черная, беззубая пасть, зиявшая точно колодезь, когда он смеялся, всклокоченная, неопрятная борода, которую он теребил обеими руками — огромными, черными от ваксы клешнями. Он был известен в своем квартале под именем дядюшки Фейе, или Фейет, или же папаша Ла Фейет; старика дразнили Лафайетом, чтобы взбесить, ибо в политике он держался самых крайних взглядов: в ранней молодости он принимал участие в Коммуне, осужден был на смерть и в конце концов сослан. Он гордился этими воспоминаниями и в злобе своей смешивал Баденге с Галифе и с Футрике<sup>1</sup>. Он был

---

<sup>1</sup> Б а д е н г е — презрительное прозвище Наполеона III;

Г а л и ф е — генерал, запятнавший себя кровью коммунаров во время массовых расстрелов;

Ф у т р и к е — бранная кличка Тьера — организатора расправ над парижскими коммунарами. — *Прим. ред.*

завсегдаем всех революционных собраний и поклонником Кокара, оратора с красивой бородой, который таким громовым голосом проповедовал идею мщения. Он не пропускал ни одной его речи, ловил его слова, смеялся во все горло его шуткам, упивался его руганью и ликовал, предвкушая будущие битвы и обетованный рай. На другой день у себя в лавчонке он перечитывал в газете отчеты об этих собраниях, читал их вслух самому себе и своему ученику; наконец, чтобы лучше насладиться ими, заставлял ученика читать вслух и награждал его затрепачиной, если тот пропускал строчку. Поэтому он не всегда доставлял работу к сроку, но зато уж обувь была прочная: от нее изнашивались ноги, сама же она была неизносива.

Старик жил с тринадцатилетним внуком, горбатым, хилым и рахитичным мальчиком, которого он обучал своему ремеслу. Его мать семнадцати лет убежала из дому с негодяем-рабочим, который, сделавшись апашем, вскоре был арестован, осужден и куда-то исчез. Оставшись одна с ребенком на руках, отвергнутая семьей, она растила маленького Эмманюэля. Она перенесла на него всю любовь и ненависть, которые питала к своему любовнику. Это была женщина буйного, болезненно-ревнивого характера. Она страстно любила своего мальчика, но обращалась с ним жестоко, а когда он болел, сходилась с ума от отчаяния. Иногда, в припадке дурного настроения, она укладывала его спать без обеда, даже без куска хлеба. Она таскала его за руку по улицам, и, когда он спотыкался и падал на землю от усталости, она пинком подымала его на ноги. Говорила она бессвязно и часто переходила от слез к возбужденной истерической веселости. Когда она умерла, дедушка взял к себе мальчика, которому тогда было шесть лет. Он очень любил внука, но у него была своя манера проявлять любовь: заключалась она в том, что он обращался с ним крайне сурово, обзывал его всякими бранными словами, драл за уши, с утра до ночи награждал колотушками, чтобы выучить своему ремеслу, и в то же время вдальбывал ему свой социальный и антиклерикальный катехизис.

Эмманюэль знал, что дедушка не злой, но он всегда держал локоть наготове, чтобы оградить себя от затре-



щин; он боялся старика, особенно после попоек. Папаша Ла Фейет не зря получил свое прозвище: два-три раза в месяц он напивался, как стелька; тогда он болтал что попало, смеялся, хорохорился, и все это кончалось для мальчика тумаками. Дедушка больше шумел, чем дрался. Но мальчик был пуглив; болезненное состояние делало его еще чувствительнее; он был умен не по летам и унаследовал от матери нрав дикий и неуравновешенный. Грубость дедушки потрясала его так же, как и его революционные речи. От каждого внешнего впечатления все трепетало в нем, как в их лавчонке, которая сотрясалась, когда мимо проезжали тяжелые omnibusy. В его лихорадочном воображении, словно перезвон колоколов, переплетались пережитые за день детские обиды и горести, преждевременные испытания, рассказы о Коммуне, обрывки вечерних бесед, обрывки газетных фельетонов, митинговых речей и унаследованные им смутные и бурные чувственные инстинкты. Все вместе взятое создавало мир мечтаний, чудовищный мир, болото в ночном мраке, из которого прорывались ослепительные лучи надежды.

Башмачник таскал с собою своего ученика в кабачок, к Орели. Здесь-то Оливье и заметил маленького горбуна с пронзительным голосом. В обществе рабочих, с которыми Оливье почти не разговаривал, у него достаточно было времени, чтобы изучить болезненное личико ребенка с выпуклым лбом, дикого и забитого; Оливье замечал, как от обращенных к нему грубых шуток молчаливо подергивалось лицо мальчика. Он видел, как под впечатлением революционных речей его бархатные карие глаза загорались восторгом, мечтой о будущем счастье, о том счастье, которое, если бы и осуществилось когда-нибудь, мало что изменило бы в его жалкой судьбе. В такие минуты его невзрачное лицо озарялось сиянием этих глаз, и вы забывали, что он некрасив. Красавица Берта — и та это заметила. Однажды она сказала ему об этом и без всякого предупреждения взяла и поцеловала в губы. Ребенок привскочил; он побледнел от волнения и отпрянул с видимым отвращением. Но девушка даже не успела заметить этого — она уже была занята ссорой с Жусье. Один только Оливье увидел смятение Эмма-

нюэля; он следил взглядом за мальчиком, который отодвинулся в тень; руки его дрожали, голова была опущена, и он исподлобья бросал на девушку страстные и сердитые взгляды. Оливье подошел к нему, поговорил с ним мягко, вежливо, приручил его... Как благотворна может быть ласка для сердца, не знавшего внимания! Она — точно капля воды, которую жадно впитывает в себя высохшая земля. Достаточно было нескольких слов, улыбки, чтобы маленький Эмманюэль всей душой стал предан Оливье и решил, что Оливье тоже предан ему. Позднее, когда он встретил Оливье на улице и узнал, что они — соседи, это представилось ему таинственным указанием судьбы на то, что он не ошибся. Он подстерегал, когда Оливье пройдет мимо лавчонки, чтобы поздороваться с ним; и, если случалось, что Оливье по рассеянности не глядел в его сторону, Эмманюэль чувствовал себя оскорбленным.

Для него было большим счастьем, когда Оливье однажды зашел к башмачнику с заказом. После того как работа была окончена, он сам отнес ее к Оливье; он подкараулил его, чтобы наверняка застать дома. Оливье, поглощенный своими мыслями, почти не обратил на него внимания и расплатился, не говоря ни слова; ребенок как будто ждал чего-то, оглядывался по сторонам, медлил уходить. Оливье со свойственной ему добротой угадал, что происходило в нем; он улыбнулся и попробовал завязать разговор, несмотря на неловкость, которую всегда испытывал, разговаривая с людьми из народа. На этот раз он сумел найти слова простые и непосредственные. Благодаря своей чуткости к страданиям, он видел в этом ребенке (наивно, быть может) что-то общее с собой — бедную, раненную жизнью птичку, которая, спрятав голову под крыло, грустно нахохлившись на своем насесте, утешалась мечтою о безумных полетах в поднебесье. Такое же чувство инстинктивного доверия тянуло к нему и ребенка; он испытывал влечение к этому молчаливому человеку, который никогда не кричал, не говорил резких слов, возле которого можно было чувствовать себя защищенным от всех грубостей улицы; и эта комната, населенная книгами, магическими голосами веков, внушала ему благоговейное уважение. На все вопросы Оливье он

отвечал охотно, с внезапными вспышками какой-то гордой дикости; но у него не хватало слов. Оливье осторожно давал раскрыться этой темной, бессвязно лепечущей душе; постепенно он научился читать в ней ее смешную и трогательную веру в обновление мира. У него не было охоты смеяться над мальчиком, зная, что он грезит о невозможном и что его вера бессильна изменить человека. Христиане тоже мечтали о невозможном; и они не изменили человека. От эпохи Перикла до эпохи господина Фальера<sup>1</sup>, где же он, этот хваленый нравственный прогресс? Но всякая вера прекрасна; и, когда меркнут верования, которые уже свершили свой путь, надо приветствовать новые, которые только что загораются, — никогда их не будет слишком много. Оливье с ласковым любопытством смотрел на зыбкий свет, теплившийся в мозгу этого ребенка. Что за странная головенка! Оливье не удавалось проследить за ходом его мысли, не способной на продолжительное логическое напряжение; она двигалась скачками и во время разговора внезапно отставала, останавливаясь, цепляясь за неизвестно как — быть может, из какого-нибудь раньше сказанного слова — возникшее видение, а потом вдруг одним прыжком догоняла, обгоняла вас, преображая самую простую мысль, самую обыденную мещанскую фразу в некий зачарованный мир, в героическое и безумное *credo*. У этой дремлющей и так внезапно пробуждавшейся души была ребяческая и властная потребность в оптимизме: ко всему, о чем говорилось, — будь то в области искусств или науки, — она придумывала благополучный мелодраматический конец, соответствующий требованию ее мечтаний.

Из любопытства Оливье попробовал было по воскресеньям почитать кое-что мальчугану. Он думал заинтересовать его реалистическими и незатейливыми рассказами; он прочел ему «Детство» Толстого. На мальчика это не произвело впечатления; он говорил:

— Ну да, это уже давно известно.

И не понимал, как можно затрачивать столько сил на то, чтобы описывать самую обыкновенную жизнь.

---

<sup>1</sup> Фальер — президент Французской республики (1906—1913). — *Прим. ред.*

— Мальчик как мальчик! — презрительно говорил он. История тоже не заинтересовала его; наука нагоняла на него тоску; она казалась ему скучным предисловием к волшебной сказке о незримых силах, отданных в услужение человеку, подобно неким грозным и поверженным гениям. К чему столько объяснений? Когда найдешь что-нибудь, незачем говорить, как ты это нашел, интересно, что именно ты нашел. Анализ мыслей — это буржуазная роскошь. Душе простого человека нужен синтез, уже готовые идеи, продуманные кое-как, скорее плохо, чем хорошо, но зато зовущие к действию, насыщенные жизнью и заряженные электричеством. Из всей знакомой Эмманюэлю литературы больше всего умилял его эпический пафос Виктора Гюго и туманная риторика революционных ораторов, которых он мало понимал и которые, так же как Гюго, не всегда сами себя понимали. Мир для него, так же как и для них, не был стройным сочетанием причин или следствий, а бесконечным, утопающим во мраке пространством, где тьму прорезают широкими взмахами сверкающие крылья. Напрасно пытался Оливье заразить его своей буржуазной логикой. Мятежная и тоскующая душа ускользала из его рук; ей было хорошо в тумане и путанице бредовых ощущений, как влюбленной женщине, которая, закрыв глаза, отдается любви.

Оливье привлекало и в то же время глубоко огорчало как то, что роднило его с этим ребенком, — одиночество, гордая слабость, идеалистический пыл, так и то, что было ему чуждо, — его неуравновешенность, слепые, необузданные желания, дикие инстинкты, отсутствие всякого понятия о добре и зле в том смысле, как их определяет обычная мораль. Он смутно видел лишь малую долю этих диких порывов. Он никогда не подозревал о мире мятежных страстей, бушевавших в сердце его маленького друга. В силу какого-то буржуазного атавизма мы стали слишком благоразумными. Мы не смеем даже заглянуть в свою душу. Если бы мы рассказали хоть сотую долю тех снов, которые снятся честному человеку, или странных желаний, бродящих в крови целомудренной женщины, это произвело бы настоящий скандал. Не касайтесь чудовищ! Заприте клетку! Но знайте, что они существуют

и что в неопытных душах они всегда готовы вырваться наружу. У мальчика были все эротические желания, которые принято считать извращенными; они охватывали его внезапно, вихрем налетая на него, еще сильнее разгораясь из-за его уродливости, удалявшей его от людей. Оливье ничего об этом не знал. При нем Эмманюэль стыдился всего этого. Он заражался покоем Оливье. Пример его жизни действовал на мальчика укрощающим образом. Ребенок страстно любил Оливье. Его подавленные желания выливались в бурные грезы: счастье человечества, социальное братство, чудеса науки, фантастические успехи авиации, ребяческие и варварские поэтические образы — целый героический мир подвигов, безумств, сладострастия, самопожертвования, в котором лихорадочно билась его охмелевшая воля.

Ему некогда было предаваться грезам в лавчонке у дедушки, который ни минуты не бывал спокоен, — посвистывал, постукивал и болтал с утра до ночи. Но для мечтаний всегда найдется время. Сколько длинных снов можно увидеть, стоя с открытыми глазами, в одну только секунду жизни! Труд рабочего довольно хорошо уживается с прерывающимися думами. Его уму тягостно было бы, без особого усилия воли, следить за длинной цепью сжатых рассуждений; если это ему и удастся, то всегда то тут, то там недостает нескольких звеньев, а в промежутки между ритмическими движениями сами собою вклиниваются мысли, вплетаются образы; мерно повторяющиеся жесты, как кузнечные мехи, заставляют их разгораться. Мысль народа! Сноп огня и дыма, дождь искр, потухающих, загорающихся вновь и снова потухающих! Но порою одна из таких искр, подхваченная ветром, зажигает пожар в пышных скирдах буржуазии...

Оливье удалось устроить Эмманюэля в типографию. Это было заветным желанием ребенка, и дед не противился: он радовался, что внук станет более образованным, чем он сам, и чувствовал уважение к типографским чернилам. Новое ремесло было более утомительным, чем прежнее, но в толпе рабочих мальчику куда легче думалось, чем одному в лавчонке рядом с дедушкой.

Самым лучшим часом было время завтрака. Отделившись от потока рабочих, которые захватывали все сто-

лики на тротуаре и наполняли винные лавки квартала, он, прихрамывая, убежал в соседний сквер; там, сидя верхом на скамье под сенью каштана, подле танцующего с виноградной кистью в руке бронзового Фавна, он вынимал ломоть хлеба и завернутый в просаленную бумагу кусок колбасы и медленно смаковал его, окруженный целой стайей воробьев. На зеленой лужайке тонкой сеткой струили мелкий свой дождь маленькие фонтанчики. На залитом солнцем дереве ворковали сизые, круглоглазые голуби. А вокруг было вечное гудение Парижа, громахание экипажей, шумящее море шагов, знакомые уличные выкрики, отдаленная веселая песенка мастера, чинящего фаянс, дребезжащий по мостовой молоток камнебойца, благородная музыка фонтана — вся эта лихорадочная и позлащенная оболочка парижской мечты... И маленький горбун, сидя верхом на скамье, с набитым ртом, млея в каком-то сладостном оцепенении, забывая проглотить кусок: он уже не чувствовал своего большого позвоночника и робкой своей души, — весь он был охвачен смутным и пьянящим счастьем.

«...Теплый свет, солнце справедливости, которое засияет для нас завтра, разве не светишь ты уже теперь? Все так хорошо, так прекрасно! Чувствуешь себя богатым, сильным, здоровым, любящим... Я люблю, я люблю всех, и все меня любят... Ах, как мне хорошо! Как хорошо будет завтра!»

Гудели заводские сирены. Ребенок пробуждался, проглатывал последний кусок, запивал водой из соседнего фонтана и, снова спрятавшись в свою горбатую оболочку, шел, подпрыгивая и прихрамывая, в типографию, к ящикам с магическими буквами, которыми когда-нибудь будет начертано «Мене, текел, фарес»<sup>1</sup> Революции.

У дядюшки Фейе был старый друг, Труйо, торговец бумагой. У него была писчебумажная и мелочная лавка на другой стороне улицы, в витрине которой в бокалах

---

<sup>1</sup> «Исчислен, взвешен, измерен» — надпись, согласно библейскому преданию, таинственным образом появившаяся во время пира на стене дворца Валтасара и возвестившая падение Вавилона. — *Прим. ред.*

выставлены были розовые и зеленые конфеты да картонные куклы, безрукие и безногие. С одной стороны улицы на другую — один с порога своей двери, другой из своей лавки — они перемигивались, кивали друг другу, обменивались самыми разнообразными жестами. Время от времени, когда башмачник уставал колотить молотком и у него, как он уверял, в задѹ начинались судороги, приятели окликали друг друга (Ла Фейет — визгливым лаем, Труйо — мычанием охрипшего быка), и оба отправлялись пропустить стаканчик у соседней стойки. Они не спешили вернуться домой. Оба были отчаянные болтуны. Знали они друг друга почти что полвека. Владелец писчебумажной лавки тоже сыграл свою крохотную роль в великой мелодраме 1871 года. Никто бы этого не подумал, глядя на благодушного толстяка в черной ермолке, в белой блузе, с седыми усами старого вояки, с мутными, бледно-голубыми, покрытыми сетью красных жилок глазами, под которыми мешочками набухали веки, с дряблыми, лоснящимися щеками, — на этого волочащего ногу подагрика с одышкой и неповоротливым языком. Но он не утратил еще былых своих иллюзий. Живя в течение нескольких лет эмигрантом в Швейцарии, он нашел себе там друзей разных национальностей, особенно среди русских, которые приобщили его к прелестям анархического братства. В этом он расходился с Ла Фейетом, который был закоренелым французом, сторонником решительных действий и абсолютизма в свободе. Во всем остальном, как один так и другой, оба непоколебимо верили в социальную революцию и в будущий рабочий рай. Каждый из них увлекался каким-нибудь вождем, воплощая в нем идеал того, чем бы ему самому хотелось быть. Труйо стоял за Жусье, а Ла Фейет за Кокара. Они без конца спорили о своих разногласиях, полагая, что общие их мнения были вполне доказаны (немногого не хватало, чтобы в промежутках между двумя стаканами они сочли бы свои идеи уже осуществленными). Из них двоих наиболее рассудительным был сапожник. Он верил разумом; по крайней мере он похвалялся этим, ибо одному богу известно, какого странного покроя был этот разум! Только ему одному и был он впору. Однако, менее сведущий в вопросах разума, чем в обуви, он требовал, чтобы другие

умы обувались по его мерке. Труйо, куда более ленивый, чем он, не старался доказывать справедливость своей веры. Доказывают лишь то, в чем сомневаются. Он же не сомневался. В постоянном своем оптимизме он видел вещи такими, какими желал их видеть, и не замечал их вовсе или тотчас же забывал, если они были иными. И ему это давалось без особого труда — у него было достаточно силы воли, а в иных случаях и безразличия. Оба они были романтики, как большие дети, оба лишены были чувства реальности; революция, одно имя которой пьянило их, была для них прекрасной историей, которую без конца рассказываешь и даже не знаешь толком, сбывается она когда-нибудь или уже была и прошла. И оба верили в новую святыню — в Человечество, которое они обожествляли, переключая на поклонение ему свое привычное, воспитанное веками поклонение Сыну человеческого. Незачем добавлять, что оба были антиклерикалами.

Забавнее всего было то, что добродушный владелец писчебумажной лавки жил вместе с племянницей, весьма набожной особой, которая вертела им, как хотела. Эта маленькая смуглая женщина, пухленькая, с живыми глазками, говорила с довольно сильным марсельским акцентом и отличалась удивительной болтливостью; она была вдовою письмоводителя из министерства торговли. Оставшись одна без всяких средств с маленькой дочкой и найдя пристанище у своего дядюшки, эта мещанка, не лишенная претензий, считала, что оказывает милость своему родственнику-лавочнику, торгуя в его лавке; она восседала там с видом развенчанной королевы, что, к счастью для дядюшкиной торговли и для его покупателей, несколько умеряло природную ее необузданность. Роялистка и клерикалка, как и подобало такой почтенной особе, г-жа Александрин с большим рвением проявляла свои чувства, подстрекаемая коварным удовольствием дразнить старого безбожника, у которого она поселилась. Она считала себя хозяйкой дома, ответственной за совесть всех чад и домочадцев. Если ей и не удавалось обратить дядюшку на путь истины (а она поклялась его поймать-таки *in extremis*<sup>1</sup>), она хоть

---

<sup>1</sup> в предсмертный час (лат.).



отводила душу, опрыскивая дьявола святой водой. Она припиливала к стене изображение лурдской богородицы и святого Антония Падуанского, украшала камин маленькими размаляванными фигурками под стеклянными колпаками, а в праздник богородицы устраивала в спальне своей дочери алтарь пресвятой девы с голубыми свечками. Неизвестно, что более вдохновляло ее в этой деятельной набожности — подлинная ли любовь к дядюшке, которого она хотела обратить, или же удовольствие досаждать ему.

Добряк Труйо, всегда вялый и немного сонный, не противился этому: он не решался принять воинственный вызов грозной племянницы — с таким бойким языком невозможно бороться, а он больше всего хотел покоя. Только однажды он рассердился не на шутку, когда маленький св. Иосиф попробовал обманным путем проскользнуть в его комнату и водвориться над его кроватью; в данном случае старик одержал победу, потому что с ним чуть не сделался удар, и племянница перепугалась; опыт больше не возобновлялся. Со всем остальным он примирился, делая вид, что ничего не замечает, хотя от этого божьего духа ему было не по себе, но ему не хотелось об этом думать. В сущности он восхищался племянницей, и ему даже доставляло удовольствие, что она дурно с ним обращается. Да к тому же в одном они сходились — они вместе лелеяли девчурку, маленькую Рен, или Ренету.

Ей было тринадцать лет, и она всегда хворала. Многие месяцы туберкулез бедра держал ее прикованной к постели; часть ее тела была заключена в гипс, и она лежала, точно маленькая Дафна в своей коре. У нее были глаза раненой лани, бледный цвет лица, напоминающий лишенные солнца растения, и слишком большая голова, казавшаяся еще больше благодаря светлым, очень тонким, гладко зачесанным назад волосам, но личико было живое и нежное, с задорным носиком и доброй детской улыбкой. Набожность матери приняла у больного и ничем не занятого ребенка характер экзальтации: девочка целыми часами перебирала маленькие освященные папой коралловые четки, прерывая молитву лишь для того, чтобы восторженно прикинуть к ним губами. По целым

дням она почти ничего не делала; рукоделье утомляло ее, г-жа Александрина не приучила ее к этому занятию. Лишь изредка девочка читала нелепые религиозные брошюры, безвкуснейшие истории о чудесах, претенциозные и пошлые, казавшиеся ей самой поэзией, или рассказы о преступлениях из воскресных журналов с раскрашенными картинками, которые подсовывала ей глупая мать. Лишь изредка она нанизывала крючком несколько петель, шевеля при этом губами, куда меньше занятая своей работой, чем разговорами, которые она в это время вела с какой-нибудь из любимых святых или с самим господом богом. Ибо не следует думать, что надо быть Жанной д'Арк, чтобы удостоиться столь высоких посетителей; ко всем нам они приходили. Только обычно небесные гости, сидя у нашего камина, предоставляют нам говорить одним, сами же не произносят ни слова. Ренета не думала обижаться на это: молчание — знак согласия, К тому же ей столько надо было им сказать, что едва ли у них хватило бы времени на ответы, — она сама отвечала за них. Она была безмолвной болтушкой, унаследовавшей от матери ее говорливость; но этот поток уходил внутрь, изливаясь в сокровенных беседах с самой собой, как ручей, исчезающий под землею. Разумеется, она участвовала в заговоре против дядюшки, направленном к его обращению; она радовалась каждому дюйму, отвоеванному в доме духами света у духов тьмы: зашивала ладонки в подкладку дядюшкиного платья или же засовывала ему в карман зернышки четок, которые дядюшка, чтобы доставить удовольствие племяннице, как будто не замечал. Власть, которую забрали две святоши над ярым врагом церкви, возмущала и потешала башмачника. Он был неистощим в грубых шутках по поводу баб в штанах и издевался над своим другом, оказавшимся у них под башмаком. В сущности ему не пристало злорадствовать: ведь сам он целых двадцать лет изнывал от сварливой и строгой жены, которая ругала его пьяницей и перед которой он трепетал. Он избегал упоминать о ней. Торговец бумагой, слегка пристыженный, защищался довольно вяло, проповедуя заплетающимся языком терпимость в духе Кропоткина.

Ренета и Эмманюэль были друзьями. С самого ран-

него детства они виделись ежедневно. Эмманюэль редко осмеливался пробраться к ней в дом. Г-жа Александри косо смотрела на него как на внука безбожника и на грязного мастерового. Но Ренета проводила дни в шезлонге у окна в нижнем этаже. Эмманюэль, проходя мимо, барабанил пальцами по оконной раме и, прижавшись носом к стеклу, с ужимками приветствовал ее. Летом, когда окно отворяли, он останавливался, схватившись руками как можно выше за решетку окна. (Он воображал, что это положение для него выгодно, что уродство его не так заметно, когда плечи приподняты в столь непринужденной позе.) Ренета, не избалованная посещениями, перестала замечать, что Эмманюэль горбат. Эмманюэль испытывал к девушкам только страх — страх и отвращение, ко всем, кроме Ренеты. Эта маленькая наполовину окаменевшая больная была для него чем-то неосызаемым и далеким. Лишь в тот вечер, когда Берта поцеловала его в губы, да еще на следующий день, он с инстинктивным отвращением избегал Ренеты; не останавливаясь, опустив голову, проходил он мимо ее дома и угрюмо скитался где-то в отдалении, недоверчивый, как бродячий пес. Потом он снова вернулся к ней. Ведь она так мало походила на женщину! Выйдя из мастерской и стараясь казаться как можно меньше, когда он пробегал мимо брошировщиц в длинных, похожих на ночные рубахи рабочих блузах, мимо этих рослых и веселых девушек, чьи алчные взгляды точно раздевают вас, — он мчался стремглав к окну Ренеты! Он был благодарен своей подруге за то, что она калека: по отношению к ней он мог проявить свое превосходство и даже разыгрывать из себя покровителя. Он рассказывал ей всевозможные уличные происшествия, выставляя себя в геройском свете. Порою, желая быть любезным, он приносил Ренете зимой жареные каштаны, а летом пучок вишен. Она, со своей стороны, дарила ему разноцветные конфеты, из тех, что красовались в двух бокалах витрины; и они рассматривали вместе открытки с картинками. Это были счастливые минуты, оба забывали об убогом теле, державшем в плену их детские души.

Но случалось также, что они начинали спорить, как взрослые, на религиозные и политические темы. Тогда

они делались такими же глупыми, как и взрослые. Взаимное их согласие сразу нарушалось. Она говорила о чудесах, о девятидневных молитвах, о святых изображениях, окаймленных бумажными кружевами, или о днях отпущения грехов. Он же, повторяя слышанное от бабушки, утверждал, что все это глупости и ханжество. Зато когда он принимался рассказывать о публичных собраниях, куда водил его старик, она с презрением перебывала его и заявляла, что все эти люди попросту пьяницы. Отношения обострялись. Разговор переходил на родителей; они повторяли друг другу — он по адресу ее матери, она по адресу его бабушки — оскорбительные слова, слышанные ими от бабушки и от матери. Потом принимались друг за друга, стараясь наговорить побольше неприятностей. Это им удавалось без труда. Он говорил грубости. Но она умела уязвить его сильнее. Тогда он уходил от нее, а когда возвращался, рассказывал, что проводил время с другими девочками, что они красивые, что они очень веселились вместе и должны встретиться в следующее воскресенье. Она не отвечала ни слова, делая вид, что презирает все его рассказы; и вдруг приходила в ярость, швыряла ему в лицо вязальный крючок, крича, чтобы он тотчас же убирался и что она ненавидит его, и закрывала лицо обеими руками. Он уходил, мало гордясь своей победой. Ему хотелось разнять эти маленькие, худенькие ручки, сказать ей, что все это неправда. Но он заставлял себя, из гордости, не возвращаться к ней.

В один прекрасный день Ренета была отомщена. Эмманюэль был среди своих товарищей по мастерской. Они недолюбливали его за то, что он держался в стороне и либо совсем не разговаривал с ними, либо говорил слишком уж гладко, наивно-напыщенным слогом — языком книги или, скорее, газетной статьи (ими он был напичкан). В этот день завязался разговор о революции и о будущих временах. Он воодушевился и был смешон. Один из товарищей грубо оборвал его:

— Перво-наперво таких, как ты, там не нужно — ты слишком уродлив. В будущем обществе не будет горбунов. Их при рождении просто будут топить, как щенят.

Это мигом низвергло Эмманюэля с высот его крас-

норечия. Смущенный, он сразу же умолк. Остальные корчились от смеха. За весь день он рта не раскрыл. Вечером он торопливо побежал домой, чтобы забиться в угол и выстрадать свое горе в одиночестве. Оливье встретил его по дороге; он был поражен землистой бледностью его лица.

— Ты расстроен? Что с тобой?

Эмманюэль не хотел говорить. Оливье нежно настаивал. Мальчик упорно молчал, но челюсть у него дрожала — казалось, он вот-вот расплачется. Оливье взял его за руку и повел к себе. Хотя и сам он, как все, кто не рожден с душою сестры милосердия, чувствовал инстинктивное и жестокое отвращение к уродству и болезни, он никак этого не проявлял.

— Тебя обидели?

— Да.

— Что же тебе сделали?

Мальчик излил свою душу. Он жаловался, что он урод. Рассказал, как товарищи объявили ему, что их революция не для него.

— Она и не для них, мой мальчик, и не для нас с тобой. Пройдут еще долгие годы. Мы трудимся для тех, кто придет после нас.

Мальчик был разочарован тем, что это будет так нескоро.

— Разве тебе не радостно думать, что мы трудимся для того, чтобы сделать счастливыми тысячи таких мальчиков, как ты, миллионы живых существ?

Эмманюэль вздохнул и сказал:

— А все-таки хорошо было бы самому получить хоть немножко счастья.

— Не будь неблагодарным, мой мальчик. Ты живешь в самом прекрасном городе, в эпоху, богатую чудесами, ты неглуп, и у тебя зоркие глаза. Подумай, сколько прекрасных вещей вокруг можно увидеть и полюбить.

Он указал ему на некоторые из них.

Мальчик выслушал его, покачал головой и сказал:

— Да, но я-то навсегда буду втиснут в эту шкуру!

— Вовсе нет, ты сбросишь ее.

— Тогда будет конец всему.

— Много ты знаешь!

Мальчик был поражен. Материализм входил в состав дедушкиного сгедо. Он думал, что только попы верят в вечную жизнь. Он знал, однако, что его друг не был попом, и спрашивал себя, серьезно ли он это говорит. А Оливье, держа его за руку, долго рассказывал ему о своей идеалистической вере, об единстве безграничной жизни, безначальной и бесконечной, в которой миллиарды существ и мгновений — только лучи единого солнца. Но говорил он это не в такой отвлеченной форме. Беседуя с мальчиком, он инстинктивно приравнивался к его мыслям: античные мифы, глубокие и правдивые вымыслы старых космогоний приходили ему на память; полусуто, полусерьезно говорил он о метемпсихозе, о бесчисленных формах, в которые переливается и просачивается душа, как протекающий из водоема в водоем родник. Он примешивал сюда и обрывки христианских легенд и образы окутывавшего их обоих летнего вечера. Он сидел у открытого окна; мальчик стоял подле него, и они держались за руки. Был субботний вечер. Звонили колокола. Недавно прилетевшие первые ласточки задевали крылом стены домов. Над окутанным тенью городом смеялось далекое небо. Ребенок, затаив дыхание, слушал волшебную сказку, которую рассказывал ему его взрослый друг. И Оливье, разгоряченный вниманием своего маленького слушателя, сам увлекся своими речами.

Бывают в жизни решающие минуты, когда внезапно, словно электрические огни над большим ночным городом, в темной душе загорается вечное пламя. Достаточно искры, перекинувшейся из одной души в другую алчущую душу, чтобы зажечь в ней огонь Прометея. В этот весенний вечер спокойная речь Оливье зажгла в маленьком уродливом теле горбуна, точно в исковерканном фонаре, неугасимый свет. Эмманюэль ничего не понимал в рассуждениях Оливье, едва ли он их слушал. Но все эти легенды, образы, которые для Оливье были лишь прекрасными баснями, чем-то вроде притч, претворялись в нем в живую плоть, делались реальными. Волшебная сказка оживала, трепетала вокруг него. И видение, обрамленное рамой окна, — проходя-

щие по улице люди, богатые и бедные, и ласточки, крылом задевающие стену, и изнуренные лошади, влачащие свой груз, и камни домов, впивающие в себя тени сумерек, и бледнеющее небо, где уже умирал свет, — весь этот внешний мир точно поцелуем мгновенно запечатлелся в нем. Мгновенно, как молния. Потом все погасло. Он подумал о Ренете и сказал:

— Но те, кто ходит в церковь, кто верит в господа бога, все-таки помешанные!

Оливье улыбнулся.

— Они верят, — сказал он, — как и мы. Все мы исповедуем одну веру. Только они верят меньше, чем мы. Этим людям для того, чтобы видеть свет, необходимо закрыть ставни и зажечь лампу. Они воплощают бога в человека. У нас лучшее зрение. Но любим мы все один и тот же свет,

Мальчик возвращался домой по темным улицам, где еще не были зажжены газовые фонари. Слова Оливье звучали в его ушах. Он подумал, что не менее жестоко издеваться над людьми за то, что у них плохое зрение, как и за то, что они горбаты. И он думал о Ренете, об ее красивых глазах, и думал о том, что заставил эти глаза плакать. Это было нестерпимо. Он повернул назад и направился к дому Труйо. Окно было еще приоткрыто; он осторожно просунул туда голову и тихонько окликнул:

— Ренета...

Она не отвечала.

— Ренета! Прости меня.

Голос Ренеты в темноте ответил:

— Злюка! Я тебя ненавижу.

— Прости меня, — повторил он.

Он умолк. Потом в внезапном порыве, еще тише, смущенный, слегка пристыженный, он прошептал:

— Знаешь, Ренета, я тоже верю в добрых богов, как и ты.

— Правда?

— Правда.

Он сказал ей это главным образом из великодушия, Но, сказав, сам как будто уверовал в это,

Оба молчали. Они не видели друг друга. Что за чудная стояла на дворе ночь! Маленький калека прошептал:

— А хорошо будет, когда мы умрем!

Слышно было легкое дыхание Ренеты.

Он сказал ей:

— Покойной ночи, лягушонок!

Умиленный голос Ренеты ответил:

— Покойной ночи!

Он ушел утешенный. Он рад был, что Ренета простила его. Но в самой глубине души бедняге было приятно, что кому-то пришлось страдать из-за него.

Оливье вернулся в свое уединение. Кристоф не замедлил присоединиться к нему. Положительно, они чувствовали себя не на месте в революционном социальном движении. Оливье не мог примкнуть к простому народу. Кристоф же не хотел. Оливье отдалялся от них во имя слабых, угнетаемых, Кристоф — во имя сильных, независимых. Но хотя они и удалились — один на нос, другой на корму, — оба тем не менее остались на том же корабле, уносящем армию рабочих и вообще все общество. Свободный и уверенный в себе, Кристоф с любопытством созерцал это объединение пролетариев; он любил время от времени окунуться в народную гущу: это освежало его, и он выходил оттуда окрепшим и помолодевшим. Он продолжал видаться с Кокаром и иногда заходил обедать к Орели. Едва попав туда, он сразу переставал следить за собою и отдавался на волю своего настроения; парадокс не страшил его, и он испытывал коварное удовольствие, заставляя своих собеседников развивать их принципы до самых крайних, нелепых и иступленных выводов. Никогда нельзя было понять, говорит он серьезно или нет, потому что в разговоре он воодушевлялся и под конец забывал первоначальное свое намерение. Художник поддавался опьянению окружавших его людей. В одну из таких минут эстетического возбуждения в задней комнате рестораника Орели он экспромтом сочинил революционную песню, которая, тотчас же разученная, на другой день



уже распространилась в рабочих кругах. Он скомпрометировал себя. Полиция начала следить за ним. Манусса, имевший тайные связи в самом центре враждебного лагеря, был предупрежден об этом одним из своих приятелей, Ксавье Бернаром, молодым полицейским чиновником, который был причастен к литературе и выдавал себя за ярого поклонника музыки Кристофа (ибо дилетантством и анархическим духом заражены были даже сторожевые псы Третьей республики).

— Ваш Крафт ведет опасную игру, — сказал ему Бернар. — Он слишком уж разошелся. Мы-то знаем, что об этом думать; но в высших сферах не прочь были бы накрыть иностранца, а тем более немца, замешанного в революционных каверзах: это классический способ очернить партию и посеять рознь в ее рядах. Если ваш дурень не станет осмотнительней, мы вынуждены будем его арестовать. Это досадно. Предупредите его.

Манусса предостерег Кристофа. Оливье умолял его быть осторожным.

Кристоф не придавал значения их советам.

— Полно! — сказал он. — Все знают, что я неопасен. Имею же я право позабавиться! Я люблю этих людей, они работают, так же как и я, у них есть вера, как и у меня. Правда, не одна и та же, мы с ними не одного лагеря. И отлично! Будем воевать. Ничего не имею против. Чего ты от меня хочешь? Я не могу, как ты, прятаться в свою раковину. Среди буржуа я просто задыхаюсь.

Оливье, не столь требовательный к свежему воздуху, довольствовался своим тесным жилищем и мирным обществом двух своих приятельниц, тем более, что одна из них, г-жа Арно, посвятила себя теперь благотворительности, а другая, Сесиль, до такой степени поглощена была заботами о ребенке, что только и говорила о нем или с ним тем лепечущим и нарочито глупым говором, который пытается подделаться под щебетание птенчика и передать его неосмысленную песню человеческой речью.

От недолгого пребывания в рабочей среде у Оливье осталось двое знакомых. Двое таких же независимых,

как он сам. Один из них, Герен, был обойщиком. Он работал на свой лад, причудливо, но мастерски. Он любил свое ремесло, и к художественным предметам у него был врожденный вкус, воспитанный наблюдением, трудом и посещением музеев. Оливье отдал ему в починку какую-то старинную мебель. Работа была трудная, и Герен искусно справился с ней; он много затратил на нее труда и времени, но взял с Оливье самое скромное вознаграждение — до того счастлив он был своей удачей. Оливье, заинтересовавшись им, расспросил об его жизни, попытался разузнать, что он думает о рабочем движении. Герен ничего о нем не думал, его это не интересовало. Он не принадлежал к своему классу, не принадлежал ни к какому классу вообще. Он был сам по себе. Читал он мало. Всем своим умственным развитием он был обязан своему чутью, глазу, руке, вкусу, присущему истому парижанину. Это был счастливый человек. Такой тип нередок в среде мелкой рабочей буржуазии — умнейшего слоя нации, ибо она отлично умеет совмещать ручной труд со здоровой умственной деятельностью.

Другой знакомый Оливье был более своеобразен. Это был почтальон Гюртелу. Красавец-мужчина, высокий, светлоглазый, с белокурой бородкой и усами, с открытым и веселым взглядом. Однажды он принес заказное письмо и вошел в комнату Оливье. Пока Оливье расписывался, он обошел книжные шкафы, присматриваясь к названиям книг.

— Эге, — сказал он, — да у вас тут классики.

И тут же добавил:

— А я собираю старые книжонки по истории Бургундии.

— Вы бургундец? — спросил Оливье.

— Бургундец соленый<sup>1</sup>,  
Со шпагой на ляжке,  
С бородкою острой,  
Бургундец, скажи! —

---

<sup>1</sup> Соленый — кличка бургундцев, происхождение которой объясняется будто бы теми ссорами, в которые им приходилось вступать из-за их соляных богатств. — *Прим. ред.*

смеясь, ответил почтальон. — Я из Авалона. У меня есть фамильные документы, относящиеся к тысяча двухсотому с чем-то году.

Оливье, заинтересовавшись, стал его расспрашивать. Гюртелу рад был поговорить. Он действительно принадлежал к одному из древнейших родов Бургундии. Один из его предков участвовал в крестовом походе Филиппа-Августа; другой был государственным секретарем при Генрихе II. Оскудение началось с семнадцатого века. После Революции их род, уже разоренный и пришедший в упадок, сразу погрузился на самое дно. Теперь он снова всплывал на поверхность благодаря честному труду, физической и духовной силе почтальона Гюртелу и его преданности своей расе. Любимым его занятием было собирание исторических и генеалогических документов, относящихся к его предкам или к их родине. В часы досуга он ходил в архивы переписывать старые грамоты. Когда он не понимал их, он спрашивал объяснения у одного из своих клиентов, окончившего не то археологический институт, не то Сорбонну. Славное происхождение Гюртелу не кружило ему головы, и он говорил об этом со смехом, ничуть не сетуя на горькую свою судьбу. В нем была беспечная и здоровая веселость, на которую любо было смотреть. И, глядя на него, Оливье думал о таинственном круговороте, который проходит жизнь рас, веками текущая полноводной рекой, потом на века исчезающая под землю и, наконец, снова прорывающаяся на поверхность, почерпнув в недрах земли новые силы. Народ представлялся ему огромным водоемом, где теряются реки прошлого и откуда вытекают реки будущего — реки под разными названиями, но зачастую одни и те же.

Герен и Гюртелу нравились Оливье, но они не могли быть подходящим для него обществом: ему почти не о чем было с ними говорить. Маленький Эмманюэль гораздо больше занимал его; он навещал его почти каждый вечер. После того разговора в ребенке совершился переворот. Он с неистовой жадой знания набросился на чтение. Книги приводили его в какое-то ошалелое состояние. Он казался менее умным, чем прежде, и почти не разговаривал. Оливье удавалось выжимать из него лишь ка-

кие-то односложные слова; на все вопросы ребенок отвечал одни глупости. Оливье приходил в уныние; он старался ничем этого не показать, но думал, что ошибся и что мальчик совсем дурачок. Он не видел огромной работы лихорадочного роста, совершавшейся в этой душе. Он был плохой педагог, скорее способный разбросать наудачу по полю пригоршни хорошего зерна, чем выколоть землю и проложить борозды. Присутствие Кристофа увеличивало его смущение. Оливье стеснялся показывать другу своего маленького любимца; ему стыдно было за глупость Эмманюэля, который положительно становился несносным в присутствии Кристофа. Ребенок упорно замыкался тогда в какую-то суровую немоту. Он ненавидел Кристофа за то, что Оливье его любил; он не мог вынести, чтобы кто-то другой занимал место в сердце его учителя. Ни Кристоф, ни Оливье не подозревали неистовства любви и ревности, терзавших детскую душу. А между тем Кристоф сам когда-то прошел через это! Но он не узнавал себя в этом существе, выплавленном из другого металла, чем он. В этом темном сплаве нездоровых наследственных инстинктов все — любовь, и ненависть, и дремлющий талант — звучало по-иному.

Приближалось первое мая.

Тревожные слухи носились по Парижу. Бахвалы из Всеобщей конфедерации труда способствовали их распространению. Их газеты возвещали наступление великого дня, созывали рабочую милицию и бросали боевой клич, который ударяет буржуазию по самому чувствительному месту: по брюху. *Feri ventrem!*<sup>1</sup> Они угрожали ей всеобщей забастовкой. Перепуганные парижане уезжали в деревню, либо запасались съестными припасами, точно перед осадой. Кристоф встретил Канэ в автомобиле, нагруженном двумя окороками и мешком картофеля; он был вне себя; он уже толком не знал, к какой партии он принадлежит; он примыкал то к старым республиканцам, то к роялистам, то к революционерам. Его культ насилия стал теперь точно обезумевшим компасом,

---

<sup>1</sup> Бей в живот (лат.).

стрелка которого перескакивала с севера на юг и с юга на север. На людях он продолжал вторить бахвальству своих друзей, но *in petto*<sup>1</sup> готов был ухватиться за первого попавшегося диктатора, чтобы прогнать красный призрака.

Кристоф смеялся над этой всеобщей паникой. Он был убежден, что ничего не случится. Оливье был менее уверен в этом. Его буржуазное происхождение навсегда оставило в нем отголосок того трепета, который вызывают в буржуазии воспоминание о Революции и ожидание ее.

— Полно, — говорил Кристоф, — можешь спать спокойно! Не завтра она наступит, твоя Революция. Все вы ее боитесь. Страх побоев. Всюду страх. В буржуазии, в народе, во всей нации, во всех нациях Запада. У людей слишком мало осталось крови, они боятся ее терять. Вот уже сорок лет, как все совершается только на словах. Вспомни-ка ваше пресловутое дело<sup>2</sup>. Мало ли вы кричали: «Смерть! Кровь! Резня!..» Эх вы, гасконцы! Сколько слюны и чернил! А много ли капель крови?

— Не полагайся на это, — отвечал Оливье. — Эта боязнь крови — только тайное предчувствие, что при первой же капле крови маска цивилизации спадет, зверь остервеенеет, и бог знает, удастся ли тогда надеть на него намордник. Каждый колеблется начать войну, но, когда война разразится, она будет ужасна...

Кристоф пожимал плечами и говорил, что неспроста героями дня являются бахвал Сирано и хвастунишка-цыпленок Шантеклер<sup>3</sup> — герои на словах.

Оливье только покачивал головой. Он знал, что во Франции все начинается с бахвальства. Однако он не более Кристофа верил в назначенную на первое мая Революцию: слишком уж на шумели о ней, и правительство было настороже. Вернее всего стратеги мятежа отложат битву до более удобного момента.

---

<sup>1</sup> в душе (итал.).

<sup>2</sup> Дело Дрейфуса. — *Прим. ред.*

<sup>3</sup> Персонажи пьес Э. Ростана: «Сирано де Бержерак» и «Шантеклер». — *Прим. ред.*

Во второй половине апреля у Оливье был приступ гриппа; это повторялось каждую зиму приблизительно в тех же числах и будило застарелый бронхит. Кристоф переселился к нему на два-три дня. Болезнь была легкой и прошла быстро. Но она, как обычно бывало у Оливье, повлекла за собой душевную и физическую усталость, оставшуюся и после того, как спал жар. Оливье часами лежал в постели, не имея никакого желания двигаться; он лежал, глядя на Кристофа, который, сидя к нему спиной, работал за его столом.

Кристоф был всецело поглощен работой. Иногда, уставая писать, он вскакивал и подбегал к роялю; он играл не то, что написал, а то, что приходило ему в голову. И тут произошло нечто странное. То, что он писал, задумано было в его прежнем стиле, а те вещи, что он играл, казалось, исходили от другого человека. Это был мир с дыханием хриплым и прерывистым. Было здесь что-то бессвязное, буйное или беспомощное — смятение, ничем не напоминающее могучую логику, царившую во всей остальной его музыке. Казалось, эти необдуманные импровизации, ускользавшие от сознания и вырывавшиеся, как вопль зверя, скорее из недр плоти, чем из мысли, указывали на душевную неуравновешенность, на грозу, готовящуюся в недрах будущего. Кристоф не сознавал этого, но Оливье слушал, смотрел на Кристофа и был охвачен смутной тревогой. Слабость делала его странно пронизательным, дальновидным: он видел то, чего никто другой не замечал.

Взяв последний аккорд, Кристоф остановился, растерянный, весь в испарине, обвел комнату мутным еще взглядом и, встретив взгляд Оливье, рассмеялся и вернулся к столу. Оливье спросил:

— Что это было, Кристоф?

— Ничего, — промолвил Кристоф. — Я взбаламучиваю воду, чтобы приманить рыбу.

— Ты это запишешь?

— Это? Что — это?

— То, что ты сказал.

— А что я сказал? Я уже не помню.

— Но о чем же ты думал?

— Сам не знаю, — ответил Кристоф, проводя рукою по лбу.

Он снова принялся писать. И снова в комнате друзей воцарилась тишина. Оливье продолжал смотреть на Кристофа. Кристоф почувствовал этот взгляд и обернулся. Глаза Оливье следили за ним с глубокой любовью.

— Лентяй! — весело сказал он.

Оливье вздохнул.

— Что с тобой? — спросил Кристоф.

— Ах, Кристоф! Как много в тебе заложено всего! Подумать только, что здесь, подле меня, таится столько сокровищ, которые ты раздашь другим, а я не получу своей доли...

— Да ты рехнулся! Что это на тебя нашло?

— Какова будет твоя жизнь? Через какие опасности, через какие испытания ты еще пройдешь? Я так хотел бы быть с тобою... Ничего этого я не увижу. Я так глупо застряну в пути.

— Что касается глупости, то глуп ты безусловно. Уж не думаешь ли ты, чего доброго, что, если бы ты даже этого захотел, я покинул бы тебя в пути?

— Ты забудешь меня, — сказал Оливье.

Кристоф поднялся и присел на кровати, подле Оливье; он взял кисти его слабых рук, влажные от испарины. В распахнутый ворот рубахи видна была тощая грудь, кожа, тонкая и натянутая, как парус, вздутый дыханием ветра и вот-вот готовый разорваться. Крепкие пальцы Кристофа неловко застегнули ворот. Оливье не противился.

— Милый Кристоф! — нежно сказал он. — У меня все-таки было большое счастье в жизни.

— Ну, вот еще! Что за дурацкие мысли! — сказал Кристоф. — Ты так же здоров, как и я.

— Да, — ответил Оливье.

— Так зачем же ты мелешь чепуху?

— Не сердись, — со смущенной улыбкой сказал Оливье. — Это у меня от гриппа.

— Надо встряхнуться. Ну-ка, подымайся!

— Не сейчас. Позже.

Он продолжал мечтать. На следующий день он встал. Но лишь для того, чтобы помечтать, сидя у камина.

Апрель стоял мягкий и пасмурный. В теплой дымке серебристых туманов распускались почки зеленых листьев, невидимые птицы воспевали скрытое за облаками солнце. Оливье разматывал пряжу своих воспоминаний. Он снова видел себя ребенком, рядом с плачущей матерью, в поезде, уносящем его куда-то сквозь туманы из родного городка. Антуанетта сидела одна, в другом углу вагона... Нежные профили, тонкие пейзажи всплывали перед его взором. Прекрасные стихи возникали сами собою, укладываясь в размеренные слова и певучие ритмы. Он сидел около стола; стоило только протянуть руку, чтобы взять перо и записать эти поэтические видения. Но у него не хватало воли; он устал; он знал, что аромат этих грез испарится, лишь только он вздумает их запечатлеть. И так всегда: лучшее, что было в нем, не находило выражения; дух его был словно долина, покрытая цветами, но никто не имел туда доступа, и цветы, едва сорванные, уже увядали. Изнемогая от томления, выжили лишь некоторые из них, — несколько хрупких новелл, несколько стихотворений, от которых сладостно веяло умиранием. Это творческое бессилие было величайшим горем Оливье. Чувствовать в себе столько жизни, которую нельзя уберечь! Теперь он смирился. Для того чтобы цвести, цветам не нужно, чтобы их видели. Они еще прекраснее в полях, где их не срывает ничья рука. Блаженные поля в цветах, грезащие о солнце. Солнца-то ведь не было, но мечты Оливье цвели от этого лишь пышнее. Сколько историй, печальных, нежных, фантастических, рассказал он себе в эти дни! Они появлялись неизвестно откуда, скользили, как белые облака в летнем небе, рассеивались в воздухе; за ними вслед являлись другие; он был переполнен ими. Иногда небо оставалось пустынным; ослепленный сиянием, Оливье ждал того мгновенья, когда, снова развернув крылья, выплывали безмолвные ладьи его мечтаний.

По вечерам приходил маленький горбун. Оливье так полон был своими сказками, что однажды, задумчиво улыбаясь, рассказал ему одну из них. Сколько раз



говорил он так, вперив глаза вдаль, а тот слушал, за-  
таив дыхание. В конце концов Оливье забывал о при-  
сутствии ребенка. Кристоф, придя однажды посреди рас-  
сказа, был поражен его красотой и попросил Оливье  
начать сначала. Оливье отказался.

— Я вроде тебя, — сказал он, — я уже не помню.

— Неправда, — сказал Кристоф, — ты — чертов  
француз, ты всегда знаешь, что говоришь и делаешь;  
ведь ты никогда ничего не забываешь.

— Увы! — вздохнул Оливье.

— Начинай-ка сначала.

— Это меня утомляет. Да и к чему?

Кристоф рассердился.

— Это нехорошо, — сказал он. — Какой же тогда  
толк в твоей мысли? Ты бросаешь то, что имеешь. Это  
теряется навсегда.

— Ничто не теряется, — сказал Оливье.

Маленький горбун вышел из оцепенения, в котором  
он пребывал в течение рассказа Оливье, — он сидел, по-  
вернувшись к окну, с затуманенными глазами, мрачно  
нахмурившись, так что нельзя было угадать, о чем он ду-  
мает. Тут он встал и промолвил:

— Завтра будет хорошая погода.

— Бьюсь об заклад, — сказал Кристоф, — что он  
даже не слушал.

— Завтра первое мая, — продолжал Эмманюэль, и  
его угрюмое лицо озарилось.

— Это уже твоя сказка, — сказал Оливье. — Ты рас-  
скажешь мне ее завтра.

— Все это ерунда! — сказал Кристоф.

На следующий день Кристоф зашел за Оливье,  
чтобы вместе погулять по Парижу. Оливье поправился,  
но все еще чувствовал необычайную усталость; ему не  
хотелось выходить; у него был какой-то смутный страх,  
он не любил смешиваться с толпой. Сердцем и умом он  
был мужествен, но плотью немощен. Он боялся тол-  
котни, драки, всяких грубостей; он слишком хорошо  
знал, что обречен быть их жертвой, ибо не умел и не  
желал защищаться; ведь он так же боялся причинять

страдания, как боялся испытывать их сам. Болезненные люди больше других чувствуют отвращение к физическим страданиям потому, что лучше знают их, и потому, что воображение представляет им их более живо и ярко. Оливье краснел за эту трусость своего тела, противоречившую его стоической воле, и силился преодолеть ее. Но в это утро всякое соприкосновение с людьми было ему тягостно, ему хотелось остаться весь день дома. Кристоф уговаривал его, подтрунивал, настойчиво убеждал выйти и вырваться, наконец, из своего оцепенения: ведь он в течение десяти дней не дышал воздухом. Оливье делал вид, что не слышит. Кристоф сказал:

— Отлично, я уйду без тебя. Пойду смотреть на их первое мая. Если я не вернусь к вечеру, знай, что меня засадили.

Он ушел. На лестнице Оливье нагнал его. Ему не хотелось отпускать Кристофа одного.

На улицах народу было мало. Попадались молоденькие работницы, украшенные стебельками ландыша; с праздным видом разгуливали принаряженные рабочие. На углах улиц, подле станции метрополитена, держались кучками переодетые полицейские. Ворота Люксембургского сада были заперты. Погода попрежнему стояла пасмурная и теплая. Так давно уже не видно было солнца! Друзья шли под руку. Говорили они мало; они очень любили друг друга. Любое слово вызывало в обоих сокровенные видения минувших дней. Подле какой-то мэрии они остановились, чтобы взглянуть на барометр, который начал подниматься.

— Завтра, — сказал Оливье, — я увижу солнце.

Они были совсем близко от дома Сесили. Решили было зайти, чтобы поцеловать ребенка.

— Нет, зайдем на обратном пути.

По ту сторону реки навстречу им стало попадаться уже больше народу. Мирно гуляющие люди в праздничных одеждах и с праздничными лицами, зеваки с детьми, слоняющиеся по улицам рабочие. У двух или трех в петлице алел красный шиповник; вид у них был безобидный; они были революционерами или старались ими казаться; жизнерадостные по натуре, они довольствовались малейшим поводом к счастью: хорошая будет в этот

день погода или попросту сносная, они были за нее благодарны, сами толком не зная, кому именно — всему окружающему. Они шли не торопясь, сияющие, любуясь распускающимися на деревьях почками, красивыми рядами проходящих мимо девочек, и говорили с гордостью:

— Только в Париже можно увидеть таких нарядных детей.

Кристоф подтрунивал над пресловутым всеми ожидаемым выступлением. Славные ребята! Он чувствовал к ним любовь и вместе с тем некоторую долю презрения.

По мере того как они продвигались вперед, толпа все густела. Подозрительные бледные лица, какие-то непотребные рожи проскользнули в поток толпы, выжидая своего часа и подстерегая добычу. Тина была взбаламучена. С каждым шагом река делалась все мутнее. Теперь она уже текла совсем темная. Слово пузырьки воздуха, поднявшиеся со дна на жирную поверхность, голоса людей, окликающих друг друга, свистки, крики уличных торговцев прорезывали глухой гул толпы, давая тем самым возможность измерить толщу ее слоев. В конце улицы, подле ресторанчика Орели, стоял шум, точно у плотины. Толпа разбивалась о кордон полиции и войск. Наткнувшись на преграду, она сгрудилась плотной массой, она волновалась, свистела, пела, смеялась, закипая сталкивающимися водоворотами. Смех — единственное у народа средство выразить тысячи смутных и темных чувств, которые не могут найти себе выхода в словах!

Толпа эта не была враждебно настроена. Она сама не знала, чего хочет, и, выжидая чего-то, забавлялась на свой лад — порывисто, грубо, еще без всякой злобы, толкаясь и пихаясь, ругая полицейских и задирая соседей. Но мало-помалу она начала раздражаться. Задние ряды, выведенные из терпения тем, что им ничего не было видно, стали вести себя вызывающе, так как меньше рисковали под прикрытием живого щита людей. Передние, сдавленные теми, кто на них напирал, и теми, кто их не пускал, тем больше приходили в ярость, чем нестерпимее становилось их положение; сила толкавшего их течения во сто крат увеличила собственную их силу.

И все они, по мере того как их теснее прижимали друг к другу, сбившись гуртом, чувствовали проникающее в грудь и поясницу животное тепло стада; им казалось, что все они вместе составляют одну глыбу; и каждый был — всеми, и каждый был точно великан Бриарей. Волна крови минутами прилиwała к сердцу тысячглавого чудовища; взгляды становились тогда ненавидящими и выкрики кровожадными. Личности, скрывавшиеся в третьем-четвертом ряду, начали швырять камнями. Из окон домов целыми семьями глазели обыватели: им казалось, что они в театре; они подстрекали толпу и ждали с легким трепетом жадного нетерпения, чтобы полиция ринулась, наконец, в атаку.

В этой плотной массе, работая коленками и локтями, Кристоф точно клином пробивал себе дорогу. Оливье следовал за ним. Живая глыба на мгновение расступалась, чтобы пропустить их, и тотчас же смыкалась за ними. Кристоф ликовал. Он совершенно забыл, что пять минут назад отрицал всякую возможность народного движения. Едва вступив в течение, он тотчас же был им подхвачен; чуждый этой французской толпе и ее требованиям, он мгновенно растворился в ней; ему неважно было, чего она хотела; он сам этого хотел. Ему неважно было, куда он идет, он шел, впивая в себя это дыхание безумия...

Оливье шел следом за ним, тоже увлекаемый течением, но без всякой радости, спокойный, ни на минуту не теряя самообладания, гораздо более Кристофа чуждый страстям этого народа, который был ему родным, и все же подхваченный волной, как обломок после кораблекрушения. Болезнь, расшатавшая его здоровье, ослабила его связь с жизнью. Каким далеким он чувствовал себя среди этих людей! Так как он не заражался испуганием толпы и ум его был ясен, мельчайшие подробности запечатлевались в нем. Он с наслаждением смотрел на золотистый затылок идущей перед ним девушки, на ее бледную и тонкую шею, и в то же время его мучило от терпкого запаха этих скупенных тел.

— Кристоф! — взмолился он.

Кристоф не слушал,

— Кристоф.

— Ну?

— Вернемся.

— Ты боишься? — сказал Кристоф.

Он продолжал свой путь. Оливье с грустной улыбкой снова пошел за ним.

Впереди, в нескольких рядах от них, в опасной зоне, где оттесненная толпа образовала как бы плотину, он увидел своего друга, маленького горбуна, вскарабкавшегося на крышу газетного киоска. Повиснув на обеих руках, скорчившись в неудобной позе, он, смеясь, смотрел туда, поверх живой стены солдат, и с торжествующим видом оглядывался на толпу. Он заметил Оливье и окинул его сияющим взглядом, потом снова устремил в сторону площади расширенные надеждой глаза, ожидая чего-то. Чего? Того, что должно было случиться. Не один он ждал. Многие вокруг него ждали чуда. И Оливье, взглянув на Кристофа, увидел, что Кристоф тоже ждет.

Он позвал мальчика и крикнул, чтобы тот спускался. Эмманюэль сделал вид, что не слышит, и больше уже не оглядывался на Оливье. Он увидел Кристофа. Он нарочно подвергал себя опасности в этой сутолоке — отчасти потому, что хотел показать Оливье свою храбрость, отчасти потому, что хотел отомстить Оливье за то, что он с Кристофом.

Между тем в толпе Оливье и Кристоф разыскивали кое-кого из друзей — золотобородого Кокара, который не ждал ничего, кроме нескольких стычек, и опытным взглядом подстерегал ту минуту, когда чаша должна была переполниться; немного подалее красавицу Бертю, которая, охотно позволяя себя тискать, перекидывалась крепкими словечками с соседями. Ей удалось проскользнуть в первый ряд, и она надсаживалась до хрипоты, ругая полицию. Кокар подошел к Кристофу. При виде его к Кристофу вернулась обычная насмешливость.

— Ну, что, что я вам говорил? Ровно ничего не произойдет.

— Еще неизвестно, — сказал Кокар. — Вы не очень-то тут задерживайтесь. Положение того гляди ухудшится.

— Какой вздор! — засмеялся Кристоф.

В это мгновение кирасиры, которым надоело быть под обстрелом камней, выступили, чтобы очистить проходы на площадь; впереди беглым шагом шла головная рота. Тотчас же началось беспорядочное бегство. По евангельскому изречению, первые стали последними. Но они постарались недолго оставаться таковыми. Чтобы оправдать свое бегство, разъяренные беглецы гикали на своих преследователей и кричали им: «Убийцы!» — еще прежде, чем раздался первый выстрел. Берта скользнула между рядами, как угорь, испуская пронзительные крики. Она присоединилась к своим друзьям; очутившись в безопасности, за ширской спиной Кокара, она перевела дух, прижалась к Кристофу, со страха или по какой-то другой причине, ущипнула его за руку, метнула взгляд на Оливье и, взвизгнув, погрозила кулаком неприятелю. Кокар взял Кристофа под руку и сказал:

— Пойдем к Орели.

Им надо было пройти всего несколько шагов. Берта с Грайо опередили их. Кристоф в сопровождении Оливье собирался уже войти. Улица выгибалась горбом. Тротуар перед ресторанчиком находился выше уровня мостовой на пять или шесть ступенек. Выбравшись из потока, Оливье облегченно вздохнул. Ему противна была мысль снова очутиться в зачумленном воздухе кабака, среди рева этих бесноватых. Он сказал Кристофу:

— Я пойду домой.

— Иди, милый, — сказал Кристоф, — я вернусь через час.

— Не подвергай себя опасности, Кристоф.

— Трусиска! — смеясь, ответил Кристоф.

Он вошел в кабачок.

Оливье собирался уже завернуть за угол. Еще несколько шагов, и он был бы в переулке, пересекающем улицу, и вырвался бы из давки. Вдруг в его мозгу промелькнул образ его маленького любимца. Он обернулся и стал искать его глазами. Он увидел его как раз в ту минуту, когда Эмманюэль, сорвавшись со своего наблюдательного поста, свалился на землю. Его затолкали; беглецы, несшиеся мимо, топтали его ногами; приближалась полиция. Оливье не стал раздумывать: он спрыгнул

со ступенек и бросился на помощь к мальчику. Какой-то рабочий-землекоп увидел грозящую опасность, обнаженные сабли, протянутую руку Оливье, пытавшегося поднять ребенка, грубый натиск полиции, который едва не сбил с ног их обоих. Он вскрикнул и в свою очередь кинулся на помощь. За ним бегом последовали его приятели. А за ними — другие, те, что стояли на пороге кабачка. На их зов сбежались остальные, те, что уже были внутри. Обе группы, как собаки, вцепились другу в горло. А женщины, стоя на верхних ступеньках, принялись улюлюкать. Так этот незаметный буржуа-аристократ спустил пружину боя, боя, которого он меньше всех желал.

Кристоф, увлекаемый толпой рабочих, тоже бросился в драку, не зная, кто был ее причиной. Ему и в голову не приходило, что здесь замешан Оливье. Он был уверен, что тот уже далеко, в полной безопасности. Невозможно было разобрать что-либо в этой свалке. Каждый едва успевал посмотреть, кто на него нападает. Оливье исчез в водовороте, как лодка, идущая ко дну. Удар кулака, не ему предназначенный, угодил ему прямо в грудь; он упал; толпа тсптала его. Отхлынувшей обратно волной Кристофа отбросило на другой конец поля битвы. Он не чувствовал никакой злобы, он позволял толкать себя и сам толкал других, весело, как на деревенской ярмарке. Он так мало думал о серьезности положения, что, когда очутился в лапах огромного широкоплечего полицейского и сам обхватил его за талию, ему пришла в голову шутовская мысль сказать ему:

— На тур вальса, мадемуазель?

Но когда другой полицейский прыгнул ему на спину, он встряхнулся, как кабан, и стал колотить обоих кулаками: он не намерен был сдаваться. Один из его противников, тот, что напал на него сзади, скатился на мостовую. Другой, разъярившись, обнажил саблю. Кристоф увидел ее острие на расстоянии двух пальцев от своей груди; он увернулся и, стиснув кисть руки полицейского, попытался отнять у него оружие. Он ничего уже не понимал; до этой минуты все казалось ему игрой. Они продолжали бороться, дыша друг другу в лицо. У Кри-

стофа не было времени соображать. Он увидел в глазах своего противника жажду убийства, и в нем самом пробудился убийца. Он понял, что его зарежут, как барана. Резким движением он обернул кисть и саблю к груди противника и воткнул ее, — почувствовал, что убивает, что убил. И вдруг все смешалось в его глазах; он охмелел, он завыл.

Крики его произвели неожиданное действие. Толпа почуяла кровь. В одно мгновение она обратилась в разъяренную стаю. Со всех сторон началась стрельба. В окнах домов появились красные флаги, по исконной традиции парижских революций мигом возникла баррикада. Разворочена была мостовая, выдернуты газовые фонари, повалены деревья, опрокинут омнибус. Пригодился и ров, вырытый несколько месяцев назад для прокладки метрополитена. Чугунные решетки вокруг деревьев, разбитые на куски, пущены были в ход как снаряды. Из карманов и из недр домов извлекалось оружие. Меньше чем в час вспыхнуло восстание: весь квартал стал осажденной крепостью... И на баррикаде Кристоф, совершенно неузнаваемый, во все горло распевал свою революционную песню, тут же подхваченную двадцатью голосами.

Оливье перенесли к Орели. Он был без сознания. Его положили на кровать в темной задней комнате ресторанчика. В ногах кровати сраженный горем стоял маленький горбун. Берта сначала сильно испугалась: издали ей показалось, что ранен Грайо, и первым ее восклицанием при виде Оливье было:

— Какое счастье! Я думала, что это Леопольд...

Теперь, расчувствовавшись, она обнимала Оливье и поддерживала его голову на подушке. Орели, с присущим ей спокойствием, расстегнула ему одежду и наложила первую перевязку. Весьма кстати тут оказался Манусса Гейман со своим неразлучным Канэ. Они, так же как и Кристоф, из любопытства пришли посмотреть на манифестацию; они присутствовали при свалке и видели, как упал Оливье. Канэ ревел, как теленок, и в то же время думал про себя:

«На кой черт меня сюда принесло!»



Манусса осмотрел раненого; он тотчас же решил, что тот безнадежен. Он был расположен к Оливье, но ему было несвойственно мешкать над тем, чему нельзя помочь; и он перестал заниматься им, перенеся все внимание на Кристофа. Он восхищался Кристофом, как неким патологическим случаем. Он знал его взгляды на Революцию и хотел вырвать Кристофа из нелепой опасности, грозившей ему в деле, к которому он не был причастен. Кристоф рисковал не только тем, что мог свернуть себе шею в стычке; в случае ареста все обрекало его на неминуемую кару. Его давно уже предупреждали об этом; полиция за ним следила; на него взвалили бы не только все его безрассудства, но и провинности других. Ксавье Бернар, который рыскал в толпе, в такой же мере ради забавы, как и по долгу службы, проходя мимо, знаком подозвал Мануссу и сказал:

— Ваш Крафт — идиот. Поверите ли, он сейчас разыгрывает героя на баррикаде! На этот раз уж мы его не упустим. Черт побери! Заставьте его убраться отсюда.

Легче было сказать это, чем сделать. Если бы Кристоф узнал, что Оливье умирает, он помешался бы с горя, стал бы убивать и сам был бы убит. Манусса сказал Бернару:

— Если он не скроется сейчас же, он пропал. Я заставляю его уехать.

— Как?

— В автомобиле Канэ, что стоит там, за углом.

— Но позвольте, позвольте... — задыхаясь, воскликнул Канэ.

— Ты отвезешь его в Ларош, — продолжал Манусса. — Вы поспеете как раз к экспрессу, что идет в Понтарлье. Ты отправишь его в Швейцарию.

— Он ни за что не согласится.

— Согласится. Я скажу ему, что Жанен встретится с ним там, что он уже выехал.

Не слушая возражений Канэ, Манусса пошел на баррикаду разыскивать Кристофа. Он не слишком был храбр, он весь ежился при каждом выстреле и считал плиты мостовой, по которым ступал (чет или нечет?), чтобы узнать, убьют его или нет. Но он не отступил и

дошел до конца. Когда он нашел Кристофа, тот, вскарабкавшись на колесо опрокинутого омнибуса, забавлялся тем, что стрелял в воздух из револьвера. К баррикаде отовсюду стекался парижский сброд, извергнутый улицей, как грязная вода из сточной трубы после сильного дождя. Те, кто сражался, были уже затоплены им. Манусса скликнул Кристофа, стоявшего к нему спиной. Кристоф не услышал. Манусса полез к нему, держал его за рукав. Кристоф оттолкнул его, чуть было не сбил с ног. Цепкий Манусса снова взобрался наверх и крикнул:

— Жанен...

Конец фразы затерялся в шуме. Кристоф сразу умолк, уронил револьвер и, прыгнув со своего помоста, последовал за Мануссой, который потащил его за собой.

— Надо бежать, — сказал Манусса.

— Где Оливье?

— Надо бежать, — повторил Манусса.

— На кой черт? — сказал Кристоф.

— Через час баррикада будет взята. Сегодня вечером вас арестуют.

— А что же я сделал?

— Взгляните на свои руки... Полно! Ваше дело ясно, вас не пощадят. Все вас узнали. Нельзя терять ни минуты.

— Где Оливье?

— У себя.

— Я пойду к нему.

— Это невозможно. Полиция ждет вас у дверей. Он послал меня предупредить вас. Бегите.

— Куда же, по-вашему, мне бежать?

— В Швейцарию. Канэ увезет вас в своем автомобиле.

— А Оливье?

— У нас нет времени на разговоры.

— Я не уеду, не повидав его.

— Вы увидите его там. Вы встретитесь с ним завтра. Он выезжает с первым же поездом. Скорей. Я вам все объясню.

Он потащил Кристофа. Кристоф, ошеломленный шумом и вихрем безумия, только что бушевавшим в нем,

неспособный понять, что он сделал и чего от него хотят, позволил увезти себя. Манусса взял его под руку, другой рукой взял под локоть Канэ, отнюдь не восхищенного той ролью, которую ему навязали в этом деле, и усадил их в автомобиль. Добряк Канэ был бы в отчаянье, если бы арестовали Кристофа, но он предпочел бы, чтобы спасал его не он, а кто-нибудь другой. Манусса знал Канэ насквозь. И так как его трусость внушала ему опасения, он в последнюю минуту, когда автомобиль уже захрапел, собираясь тронуться в путь, вдруг передумал и уселся с ним рядом.

Оливье так и не пришел в сознание. В комнате оставались лишь Орели и маленький горбун. Печальная комната, без воздуха и без света. Была уже почти ночь... Оливье на мгновение вынырнул из бездны. Он почувствовал на своей руке губы и слезы Эмманюэля. Он слабо улыбнулся и с усилием положил руку на голову мальчика. Как тяжела была его рука! Потом он снова канул куда-то...

На подушку, возле головы умирающего, Орели положила маленький первомайский букетик — несколько стебельков ландыша. Из неплотно закрытого крана на дворе капала в ведро вода. На мгновение в недрах мысли затрепетали какие-то образы, как огонек, который вот-вот погаснет... Домик в провинции, увитый глициниями, сад, где играет ребенок; он лежит на лужайке, и в каменный водоем стекает струя фонтана. Где-то смеется маленькая девочка...

## Часть вторая

Они выехали из Парижа. Пересекли огромные окутанные туманом равнины. Таким же вечером, десять лет назад, Кристоф прибыл в Париж. Он тогда тоже был беглецом, как и теперь. Но тогда жив был еще его друг, друг, который его любил; и Кристоф, сам того не зная, спешил тогда ему навстречу...

В первые часы Кристоф был еще полон возбуждения боем; он говорил много и громко, отрывистыми фразами рассказывал о том, что видел и делал, гордился своей удачей. Манусса и Канэ тоже говорили, чтобы отвлечь его. Мало-помалу горячка спала, и Кристоф замолк; спутники его продолжали говорить уже одни. Он немного ошалел от событий дня, но несколько не был удручен. Ему вспоминалось то время, когда он бежал из Германии. Бежать, всегда бежать! Он усмехнулся. Таков, видно, его удел! Ему не грустно было покидать Париж: земля широка; люди везде одинаковы. Где жить — для него было неважно, только бы быть со своим другом. Он рассчитывал встретиться с ним на следующее утро...

Они приехали в Ларош. Манусса и Канэ не отходили от него, пока не посадили в вагон и не увидели его в окне отходящего поезда. Кристоф попросил их еще раз повторить название места, где он должен остановиться, гостиницы и почтового отделения, где он может получить от них весточку. Помимо воли, вид у них, когда они прощались с ним, был мрачный. Кристоф весело пожал им руки.

— Полно, — крикнул он им, — не стройте таких по-

хоронных лиц! Мы увидимся, черт подери! Все это пустяки! Завтра мы вам напишем.

Поезд тронулся. Они смотрели ему вслед.

— Бедняга! — вздохнул Манусса.

Они снова сели в автомобиль. Оба молчали. Некоторое время спустя Канэ сказал Мануссе:

— Я думаю, что мы совершили преступление.

Манусса сначала ничего не ответил, а потом сказал:

— Ну, чего там! Мертвые — мертвы. Надо спасать живых.

С наступлением ночи возбуждение Кристофа совсем улеглось. Забывшись в угол купе, отрезвленный и охладевший, он погрузился в раздумье. Посмотрев на свои руки, он увидел на них кровь — чужую кровь. И содрогнулся от отвращения. Перед ним снова возникла картина убийства. Он вспомнил, что убил, и сам уже не знал, за что. Он стал пересказывать себе сцену схватки; на этот раз он видел ее совсем другими глазами и уже не понимал, чего ради впутался в эту историю. Он снова припоминал события этого дня с того момента, как вышел из дому вместе с Оливье; он мысленно снова проделал с ним весь путь по Парижу до того мгновения, когда его словно подхватило вихрем. С этой минуты он уже перестал себя понимать; цепь его мыслей обрывалась; как мог он кричать, бить, требовать заодно с этими людьми, чьих убеждений вовсе не разделял? Это был не он! Какое-то затмение сознания и воли! Он был ошеломлен и пристыжен этим. Значит, он не властен над собой? Кто же тогда властен над ним?.. Экспресс уносил его во тьму, и душевная тьма, которая его охватила, была не менее мрачна, а неведомая, увлекающая его сила не менее головокружительна... Он попытался стряхнуть с себя тревогу, но для того лишь, чтобы предаться новым заботам. По мере приближения к цели он все больше думал об Оливье и начинал испытывать какое-то беспринципное беспокойство.

В момент прибытия он выглянул в окно вагона, нет ли на платформе дорогого знакомого лица. Никого! Он вышел, все еще продолжая озираясь. Раз или два ему померещилось... Нет, это был не «он». Кристоф отпра-

вился в указанную гостиницу. Оливье там не было. Кристоф не имел причины беспокоиться: как мог Оливье опередить его? Но с этого мгновения началась тоска ожидания.

Было утро. Кристоф поднялся к себе в комнату. Потом сошел вниз. Позавтракал. Бродил по улицам. Делал вид, что мысли его свободны, смотрел на озеро, на выставленные в витринах товары; шутил с официанткой ресторана, перелистывал иллюстрированные журналы... Ничто не занимало его. День тянулся, медлительный и тяжкий. К семи часам вечера Кристоф, пообедав от нечего делать спозаранку и без всякого аппетита, опять поднялся к себе, распорядившись, чтобы, как только придет его друг, которого он поджидает, его провели к нему. Он сел у стола, повернувшись спиной к двери. Ему нечем было заняться, он не захватил никакого багажа, ни одной книги — только газета, которую он сейчас купил; он силился ее читать, но внимание его было отвлечено: он прислушивался к шуму шагов в коридоре. Все чувства его были до крайности возбуждены усталостью целого дня ожидания и бессонной ночью.

Вдруг он услышал звук отворяющейся двери. Какое-то неизъяснимое чувство помешало ему сразу же обернуться. Он почувствовал, как чья-то рука оперлась на его плечо. Он сбернулся и увидел улыбающегося Оливье. Он не удивился и сказал:

— А! Наконец-то!

Видение исчезло...

Кристоф вскочил, оттолкнув от себя стол, — стул его опрокинулся. Волосы встали дыбом. Так простоял он с минуту, мертвенно бледный, стуча зубами...

С этого мгновения (хотя он ничего не знал и все повторял про себя: «Я ничего не знаю») он знал все. Он был уверен в том, что должно произойти.

Он не мог уже оставаться у себя в комнате. Он вышел на улицу и шагал целый час. Когда он вернулся, швейцар в вестибюле гостиницы вручил ему письмо. То самое письмо. Он был уверен, что оно придет. Он взял его дрожащей рукой. Он поднялся к себе, чтобы прочесть его. Он распечатал, он увидел, что Оливье умер. Он потерял сознание.

Письмо было от Мануссы. Манусса сообщал, что накануне, скрыв от него случившееся несчастье, чтобы ускорить его отъезд, они лишь исполнили волю Оливье, который хотел, чтобы его друг был спасен; что Кристофу незачем было оставаться, разве что для того, чтобы самому погибнуть; что ему следует беречь себя ради памяти друга, и ради остальных своих друзей, и ради собственной своей славы и т. д. и т. д. Орели своим крупным дрожащим почерком приписала три строчки, добавляя, что хорошенько позаботится о беднячком мосее...

Когда Кристоф пришел в себя, у него сделался припадок ярости. Он решил убить Мануссу. Он бросился на вокзал. Вестибюль гостиницы был пуст, улицы пустынные; в ночном мраке редкие запоздалые прохожие не замечали этого задыхающегося человека с безумными глазами. Он вцепился в свою навязчивую мысль, как бульдог, который кусает: «Убить Мануссу! Убить!..» Он хотел вернуться в Париж. Ночной скорый поезд ушел час назад. Надо было ждать до утра. Немыслимо ждать! Он вскочил в первый же уходящий по направлению к Парижу поезд. Поезд, останавливающийся на всех станциях. Очутившись один в вагоне, Кристоф закричал:

— Это неправда! Это неправда!

На второй станции после французской границы поезд совсем остановился; дальше он не шел. Дрожа от бешенства, Кристоф вышел из вагона, требуя другого поезда, наталкиваясь на безразличие полусонных железнодорожных служащих. Что бы он ни сделал, он все равно приехал бы слишком поздно. Слишком поздно для Оливье. Он не успел бы даже встретиться с Мануссой. Его арестовали бы раньше. Что делать? Чего хотеть? Ехать дальше? Вернуться? К чему? К чему? Он подумал было, не сознаться ли во всем проходящему мимо жандарму. Смутный инстинкт любви к жизни удержал его от этого, побудил его вернуться в Швейцарию. Ни один поезд не отходил ни в ту, ни в другую сторону раньше, чем через два или три часа. Кристоф посидел в станционном зале, не мог там оставаться, вышел из

вокзала, пустился в путь, наугад, в ночную тьму. Он очутился в пустынном поле — кругом луга, кое-где порезанные маленькими рощами, предвестницами леса. Он вошел в лесную чащу. Не успел он сделать несколько шагов, как повалился на землю и закричал:

— Оливье!

Он лег поперек дороги и зарыдал.

Много времени спустя свисток поезда заставил его подняться. Он решил вернуться на вокзал, но ошибся дорогой. Он прошагал всю ночь напролет. Не все ли равно ему, здесь ли быть, или там? Шагать, чтобы не думать, шагать до тех пор, пока совсем не перестанешь думать, пока не упадешь замертво. Ах, если бы умереть!

На заре он очутился во французской деревне, очень далеко от границы. Всю ночь он отдалялся от нее. Он зашел в трактир, с жадностью поел, снова пустился в путь, шагая все дальше и дальше. Днем он свалился где-то на лугу и проспал так до вечера. Когда он проснулся, снова наступила ночь. Ярость его улеглась. Осталась одна только боль, невыносимая, удушающая. Он дотащился до какой-то фермы, попросил хлеба, вязанку соломы для ночлега. Фермер поглядел на него в упор, отрезал ему ломоть хлеба, проводил в хлев и запер. Лежа на соломе подле сладко пахнущих коров, Кристоф с жадностью уплетал свой ломоть. По лицу его ручьями текли слезы. Голод его и скорбь не могли утихнуть. Хорошо еще, что в эту ночь сон на несколько часов избавил его от страданий. На следующий день он проснулся от скрипа открывающейся двери. Он продолжал лежать не шевелясь. Ему не хотелось снова возвращаться к жизни. Фермер остановился перед ним и посмотрел на него пристально; затем перевел взгляд на какую-то бумагу, которую держал в руках. Наконец, человек шагнул к Кристофу и сунул ему под нос газету. На первой странице — его портрет.

— Это я, — сказал Кристоф. — Можете меня выдать.

— Вставайте, — сказал фермер.

Кристоф встал. Человек знаком велел ему следовать за ним. Они прошли за ригой, свернули на тропинку,



вьющуюся среди фруктовых деревьев. Дойдя до придорожного креста, фермер указал Кристофу дорогу и промолвил:

— Граница вон там.

Кристоф продолжал путь машинально. Он не знал, зачем он идет. Он был так разбит телом и душой, что ему на каждом шагу хотелось остановиться. Но он чувствовал, что если остановится, то рухнет на землю и уже не сможет сдвинуться с места. Он шел весь день напролет. У него не было ни гроша, чтобы купить хлеба. Впрочем, он избегал заходить в деревни. По странному, ускользавшему от сознания инстинкту этот человек, жаждавший смерти, боялся быть арестованным, он чувствовал себя, точно зверь, бегущий от облавы. Физические страдания — усталость, голод, смутный страх, подымавшийся из недр его измученного существа, — заглушали на время его душевную тоску. Он жаждал одного: найти приют, где ему дозволено было бы запереться с нею наедине и насытиться ею.

Он перешел границу. Вдали он увидел город с высокими башнями, увенчанными стройными колоколенками, и с фабричными трубами, из которых длинными струями валил дым; словно черные реки, однообразно, все в одном направлении, дым плыл под дождем в сером воздухе. Кристоф чуть не падал от усталости. В эту минуту он вспомнил, что знает в этом городе доктора, своего соотечественника, некоего Эриха Брауна, который в прошлом году, после одного из успешных выступлений Кристофа, написал ему, чтобы напомнить о себе. Хотя Браун был человеком недалеким и мало причастным к его жизни, Кристоф, по инстинкту раненого зверя, сделал последнее усилие, чтобы дотащиться и свалиться у кого-нибудь, не совсем для него чужого.

Под завесой дыма и дождя вступил он в этот серо-красный город. Он шел прямо, ничего не видя, спрашивая, куда идти, ошибаясь, снова возвращаясь по своим следам, бредя наугад. Силы его были на исходе. Последним напряжением натянутой до предела воли он заста-

вил себя вскарабкаться по крутым улочкам, по лестницам, восходящим к вершине узкого холма, усеянного домами, теснившимися вокруг темной церкви. Шестьдесят ступеней из красного камня — по три или по шести подряд. В промежутке между каждой группой ступеней — небольшая площадка, куда выходят двери домов. На каждой из них Кристоф, шатаясь, останавливался, чтобы перевести дух. Там, наверху, над башней, кружились вороны.

Наконец, он прочел на двери имя, которое искал. Он постучался. Уличка тонула во мраке. От усталости он закрыл глаза. И внутри у него тоже был мрак... Прошли века...

Узкая дверь приоткрылась. На пороге показалась женщина. Ее лицо было в тени, но силуэт ее резко выделялся на светлом фоне маленького сада, видневшегося в глубине длинного коридора. Она была высокая, держалась прямо, молча ожидая, пока он заговорит. Он не видел ее глаз, но чувствовал их взгляд. Он спросил доктора Эриха Брауна и назвал себя. Слова с трудом выходили из его горла. Он изнурен был усталостью, жаждой и голодом. Не говоря ни слова, женщина вошла в дом, и Кристоф последовал за нею в комнату с закрытыми ставнями. В темноте он наткнулся на нее, коленями и животом нечаянно задев это безмолвное тело. Она вышла и затворила за ним дверь, оставив его одного, без огня. Он стоял неподвижно, из боязни опрокинуть что-нибудь, прислонившись к стене, упершись лбом в гладкую притолоку; в ушах у него шумело, в глазах плясал мрак.

В верхнем этаже двинули стулом, послышались возгласы удивления, с шумом захлопнулась дверь. Тяжелые шаги спускались по лестнице.

— Где он? — спрашивал знакомый голос.

— Как! Его оставили в темноте! Анна! Черт подери! Свету!

Кристоф был так слаб, он чувствовал себя таким покинутым, что звук этого голоса, громкого, но сердечного, показался ему облегчением в его несчастье. Он схватил протянутые к нему руки. Принесли свет.

Мужчины посмотрели друг на друга. Браун был невысокого роста; лицо у него было красное, с черной, жесткой и беспорядочно растущей бородой; добрые глаза, смеющиеся сквозь очки, лоб широкий, выпуклый, морщинистый, утомленный, невыразительный; волосы старательно прилизаны и разделены пробором до самого затылка. Он был безобразен, но Кристофу отрадно было смотреть на него и пожимать ему руки. Браун не скрывал своего удивления.

— Господи! Как вы изменились! В каком виде!

— Я из Парижа, — сказал Кристоф. — Я бежал.

— Знаю, знаю, мы прочли об этом в газете, там сообщалось, что вы арестованы. Слава богу! Мы много думали о вас, Анна и я.

Он прервал свою речь и, указывая Кристофу на молчаливую женщину, которая впустила его в дом, промолвил:

— Моя жена.

Она стояла на пороге комнаты с лампой в руке. Замкнутое лицо с волевым подбородком. Свет падал на ее каштановые с рыжим отливом волосы и матово-бледные щеки. Она натянутым жестом подала Кристофу руку, прижав локоть к телу. Он, не глядя, взял эту руку. Он еле держался на ногах.

— Я пришел... — попробовал он объяснить. — Я думал, что вы согласитесь, может быть... если я не слишком вас стесню... приютить меня на один день..

Браун не дал ему закончить.

— На один день! На двадцать, на пятьдесят дней, сколько вам вздумается. Пока вы будете в наших краях, вы — желанный гость в нашем доме, и, я надеюсь, надолго. Для нас это честь и счастье.

Эти сердечные слова растрогали Кристофа, он кинулся Брауну в объятия.

— Милый мой Кристоф, милый мой Кристоф, — говорил Браун. — Он плачет... Да что же это с ним такое? Анна! Анна! Скорей! Ему дурно!..

Кристоф поник в объятиях своего хозяина. Обморок, приближение которого он предчувствовал уже несколько часов, наконец сразил его.

Когда он снова открыл глаза, он лежал на огромной кровати. Из открытого окна в комнату доносился запах сырой земли. Браун склонился над ним.

— Простите, — пробормотал Кристоф, пытаюсь подняться.

— Да он умирает с голоду! — вскричал Браун.

Женщина вышла, вернулась с чашкой, подала Кристофу пить. Браун поддерживал ему голову. Кристоф оживал, но усталость была сильнее голода: не успел он положить голову на подушку, как уснул. Браун и его жена посидели подле него; потом, видя, что он нуждается только в отдыхе, оставили его одного.

Это был один из тех снов, которые как будто длятся целые годы, — сон гнетущий, тяжелый, как свинец на дне озера. Человек находится во власти бесконечной усталости, чудовищных галлюцинаций, которые вечно рыщут вокруг и стремятся поработить его волю. Кристоф сиделся проснуться, весь в жару, разбитый, затерянный в этой неведомой ночи; он слышал, как стенные часы отзванивали нескончаемые половинны; он не мог ни дышать, ни думать, ни пошевелинуться; его точно связали, заткнули ему рот, как человеку, которого топят; он пробовал сопротивляться, вынырнуть и снова падал на дно. Начался, наконец, рассвет, запоздалый серый рассвет дождливого дня. Нестерпимый жар, снедавший Кристофа, спал, но на тело его как будто навалилась гора. Он проснулся. Ужасное пробуждение...

«К чему опять открывать глаза? К чему пробуждаться? Остаться неподвижным, как бедный мой малыш, который лежит теперь под землею...»

Распростертый на спине, он не шевелился, хотя и страдал от своей неудобной позы; руки и ноги его были тяжелы, как камень. Он был точно в склепе. Тусклый свет. Несколько капель дождя ударило в оконные стекла. В саду тихо и жалобно пищала какая-то птичка. Что за мучение жить! Жестокая бессмыслица!..

Часы проходили за часами. Вошел Браун. Кристоф не повернул головы. Браун, видя, что глаза у Кристофа открыты, радостно окликнул его, и так как тот продол-

жал угрюмо смотреть в потолок, Браун решил рассеять его печаль: он присел к нему на постель и разразился шумной болтовней. Шум этот был Кристофу невыносим. Он сделал усилие, показавшееся ему сверхчеловеческим, и промолвил:

— Оставьте меня, прошу вас.

Добрняк тотчас же изменил тон.

— Вам хочется побыть одному? Еще бы! Разумеется! Ну, лежите спокойно. Отдыхайте, молчите, вам будут приносить сюда еду, и с вами никто не будет разговаривать.

Но он не умел быть кратким. После нескончаемых объяснений он вышел из комнаты, ступая на цыпочках в своих тяжелых башмаках, под которыми трещал паркет. Кристоф снова остался один, погруженный в свою смертельную усталость. Мысль его расплывалась в каком-то тумане страдания. Он изнемогал, стараясь понять... «Зачем он познакомился с Оливье? Зачем полюбил его? К чему послужило самопожертвование Антуанетты? Какой смысл имели все эти жизни, все эти поколения, — такое множество испытаний и надежд! — которые завершились его жизнью и вместе с нею рухнули в пустоту?..» Нелепость жизни. Нелепость смерти. Загубленное существо, целая порода, исчезнувшая навеки, не оставив после себя следа. Неизвестно, что — гнусное ли, нелепое ли — унесло эти жизни. Кристофу захотелось смеяться недобрый смехом от отчаяния и ненависти. Бессилие перед своим горем, горе от своего бессилия убивало его... Сердце его было растерзано...

Ни звука в доме, кроме шагов доктора, уходившего делать обход больных. Кристоф утратил всякое представление о времени, когда появилась Анна. Она принесла ему на подносе обед. Он взглянул на нее, не сдвинувшись с места, не пошевелив даже губами, чтобы поблагодарить ее; но в его неподвижных глазах, которые, казалось, ничего не видели, образ молодой женщины запечатлелся с фотографической четкостью. Гсраздо позже, когда он узнал ее ближе, он все-таки продолжал ее видеть именно такую, — более поздним впечатлениям не удалось стереть это первое его воспоминание. У нее были густые, заложенные тяжелым узлом волосы, выпуклый

лоб, широкие скулы, короткий и прямой нос, глаза, либо упрямо опущенные, либо, при встрече с чьим-нибудь взглядом, смотрящие в сторону с выражением неискренним и недобрым, несколько крупные, плотно сжатые губы, вид замкнутый, почти суровый. Она была высокого роста, казалась крепкой и хорошо сложенной, но какой-то неловкой в своем тесном платье и скованной в движениях. Она безмолвно и бесшумно прошла по комнате, поставила поднос на стол подле кровати и ушла, плотно прижав локти к телу и низко опустив голову. Кристоф не подумал даже удивиться этому странному и несколько смешному посещению; к обеду он не притронулся и продолжал безмолвно страдать.

День прошел. Снова наступил вечер, и снова появилась Анна с новыми блюдами. Она нашла нетронутыми те, что принесла днем, и унесла их обратно, не сказав ничего. У нее не нашлось ни одного из тех ласковых слов, которые, обращаясь к больному, инстинктивно находит всякая женщина. Казалось, Кристоф для нее совсем не существует, или сама она едва существует. Кристоф с чувством глухой враждебности нетерпеливо следил за ее неуклюжими и натянутыми движениями. Однако он был ей благодарен за то, что она не пыталась заговорить с ним. И благодарность эта возросла, когда после ее ухода ему пришлось выдержать натиск доктора, только что узнавшего, что Кристоф не притронулся к обеду. Негодуя на жену за то, что она силой не заставила Кристофа поесть, он решил принудить его к этому сам. Чтобы отвязаться от него, Кристофу пришлось отхлебнуть несколько глотков молока. После этого он повернулся к Брауну спиной.

Вторая ночь прошла спокойнее. Тяжелый сон погрузил Кристофа в небытие. Ни следа ненавистной жизни... Но еще ужаснее было пробуждение. Задышавшись, он припоминал все подробности рокового дня, нежелание Оливье выходить из дому, настойчивые его просьбы вернуться, и с отчаянием думал: «Это я убил его...»

Положительно невыносимо было оставаться одному, взаперти, неподвижным, в когтях лютоглазого сфинкса, который продолжал мучить его головокружительным безумием своих вопросов и трупным своим дыханием.

Кристоф вскочил в лихорадке, с трудом вышел из комнаты, спустился по лестнице; у него была инстинктивная, малодушная потребность потеснее прижаться к другим людям. Но едва он услышал чужой голос, ему захотелось бежать.

Браун был в столовой. Он встретил Кристофа обычными дружескими восклицаниями и тотчас же принялся расспрашивать о парижских событиях. Кристоф стиснул ему руку.

— Нет, — сказал он, — не спрашивайте меня ни о чем. После как-нибудь. Не сердитесь на меня. Я не могу. Я смертельно устал, я устал...

— Знаю, знаю, — ласково сказал Браун. — Нервы ваши претерпели сильную встряску. Это волнения последних дней. Не говорите. Не стесняйте себя ни в чем. Вы свободны, вы у себя дома. Никто не будет вас беспокоить.

Он сдержал слово. Чтобы не утомлять больше своего гостя, он ударился в противоположную крайность: он не осмеливался уже разговаривать при нем с женой; они говорили шепотом, ходили на цыпочках; весь дом точно онемел. Наконец, Кристоф, раздраженный этим шепотом и неестественной тишиной, попросил Брауна продолжать жить попрежнему.

Итак, в следующие дни никто не занимался уже больше Кристофом. Он часами просиживал в углу какой-нибудь комнаты или бродил по всему дому, о чем-то мечтая. О чем он думал? Он и сам не мог бы на это ответить. У него едва хватало силы страдать. Он был точно пришиблен. Сухость собственного сердца ужасала Кристофа. У него было одно лишь желание: чтобы его похоронили вместе с «ним» и чтобы все было кончено. Однажды дверь в сад оказалась отворенной, и он вышел. Но ему так тягостен был яркий свет, что он поспешил вернуться домой и забаррикадировался у себя в комнате, затворив ставни. Ясные дни мучили его. Он ненавидел солнце. Природа подавляла его своей грубой безмятежностью. За обедом он молча съедал то, что подкладывал ему Браун, и, уставившись взглядом на стол, не произносил ни слова. Однажды Браун указал ему в гостиной на рояль; Кристоф с ужасом отвернулся

от него. Всякий шум был ему ненавистен. Тишина, тишина и мрак!.. В нем не оставалось ничего, кроме пустоты и потребности в пустоте. Его покинула радость жизни, эта могучая птица радости, которая некогда вдохновенными взлетами с песней уносилась ввысь. Целыми днями просиживал он в своей комнате, и единственным ощущением жизни был для него неровный пульс часов в соседней комнате, который, казалось, бился у него в мозгу. И все-таки дикая птица радости жила еще в нем; она вдруг порывалась лететь, она билась о стены клетки; и в глубине души поднималось ужасное смятение тоски — «воплоть отчаяния существа, оставшегося одиноким в огромном пустынном пространстве...»

Убожество мира в том, что у человека почти никогда нет товарища. Бывают, может быть, подруги и случайные друзья. Мы расточительны на это прекрасное звание «друг». В действительности имеешь одного только друга в течение всей жизни. И весьма редки те, кто его находит. Но счастье это так велико, что, лишившись его, мы уже не знаем, как жить. Сами того не замечая, мы заполняли им всю жизнь. Друг уходит — и жизнь пуста. Утрачено не только любимое существо, но всякий смысл любить, всякий смысл пережитой любви. Зачем он жил? Зачем вообще жить?..

Удар, нанесенный смертью Оливье, был для Кристофа тем ужаснее, что он обрушился на него в ту минуту, когда все существо его было уже надломлено. Бывают в жизни периоды, когда в глубине организма совершается глухая работа перерождения; тогда тело и душа беззащитны перед опасностями внешнего мира; дух чувствует себя ослабленным, смутная грусть снедает его, пресыщение всем, оторванность от всего, что уже сделано, неуверенность в том, что еще можешь создать. В ту пору, когда происходят эти переломы, большинство людей бывает связано семейными обязанностями: в этом их спасение, хотя это, правда, и отнимает у них свободу мысли, необходимую, чтобы, взвесив свои достоинства и недостатки, разобраться во всем, создать себе прочную новую жизнь. Сколько скрытых печалей, сколько горьких разочарований! Иди! Иди! Надо



перешагнуть через это... Работа, обязанности, забота о семье держат человека в оглоблях, как измученную лошадь, которая хоть и спит, а все-таки продолжает шагать. Но у человека совершенно свободного нет ничего, что поддерживало бы его в часы упадка духа и приносило бы идти. Силы его надорваны, сознание затуманено. Горе ему, если в этот миг усыпления раскат грома внезапно пробудит лунатика! Он сорвется с высоты...

Несколько писем из Парижа, дошедших в конце концов до Кристофа, на мгновение вырвали его из безнадежной апатии. Письма были от Сесили и от г-жи Арно. Они несли ему слова утешения. Жалкие утешения! Беспольные утешения! Те, кто говорит о скорби, — не те, кто страдает. Во всяком случае письма принесли ему отзвук исчезнувшего голоса... У Кристофа не хватило духа ответить; и письма прекратились. В своем унынии он пытался замести следы. Исчезнуть... Скорбь несправедлива: все, кого он любил, уже не существовали для него. Существовал лишь один: тот, кого уже не было на свете. Целыми неделями Кристоф с отчаяньем пытался оживить его; он разговаривал с ним; он писал ему:

«Душа моя, я не получил сегодня твоего письма. Где ты? Вернись, вернись, говори со мной, пиши мне!»

Но по ночам, несмотря на все усилия, Кристофу не удавалось увидеть его во сне. Те, кого мы утратили, редко снятся нам, пока нас терзает чувство утраты. Они являются нам позднее, когда уже наступает забвение.

Между тем внешняя жизнь мало-помалу просачивалась в гробницу, где заключена была душа Кристофа. Он начал различать разные домашние шумы и, сам того не замечая, интересоваться ими. Он узнал, в какие часы и сколько раз в день отворяется и затворяется входная дверь, всякий раз на иной лад, в зависимости от посетителей. Он узнавал теперь шаги Брауна; он представлял себе, как, вернувшись от больных, доктор останавливается в прихожей и всегда одинаковым движением, нерешительным и педантичным, вешает свою шляпу и плащ. И когда один из привычных шумов не доносился в установленный срок, Кристоф невольно искал причины этой

перемены. За столом он начал машинально прислушиваться к разговору. Он заметил, что говорил почти всегда один Браун. Жена вставляла лишь краткие замечания. Брауна не смущало отсутствие собеседников: он с болтливым добродушием рассказывал о сделанных им за день визитах, о городских сплетнях. Случилось однажды, что Кристоф взглянул на Брауна в тот момент, когда он говорил; Браун так обрадовался, что начал всячески изощряться, стараясь его заинтересовать.

Кристоф попытался вернуться к жизни... Какая усталость! Он чувствовал себя старым, старым, как мир! Утром, когда он вставал, когда видел себя в зеркале, он тяготился своим телом, своими движениями, всем своим нелепым обликом. Вставать, одеваться — к чему?.. Он делал огромные усилия, чтобы заставить себя работать: ему это претило. Зачем творить, если все обречено на гибель? Музыка стала для него невыносимой. Правильно судить об искусстве (как и обо всем прочем) можно только в несчастье. Несчастье — пробный камень. Лишь тогда узнаешь тех, кто переживает века, тех, кто сильнее смерти. Весьма немногие могут выдержать это испытание. Вдруг вскрывается посредственность иных душ, которые ты превозносил прежде, любимых художников, давнишних друзей. Кто всплывает на поверхность? Каким пустым звоном отзывается красота мира под прикосновением пальцев скорби!

Но скорбь устает, и рука ее цепенеет. Нервное напряжение Кристофа ослабевало. Он спал, спал беспрерывно. Казалось, никогда не удастся ему утолить эту жажду сна.

И, наконец, однажды ночью он заснул таким глубоким сном, что проснулся лишь на следующие сутки, среди дня. Дом был пуст. Браун и его жена куда-то вышли. Окно было растворено, лучезарный воздух словно улыбался. Кристоф почувствовал себя освобожденным от гнетущей тяжести. Он встал и спустился в сад. Узкая площадка, замкнутая среди высоких, точно монастырских стен. Между квадратами дерна и клумбами мешанских цветов несколько посыпанных песком дорожек; беседка, увитая виноградной лозой и розами. Тонкая водяная струйка капала из обложенного ракушками грота;

акация у самой стены свешивала в соседний сад свои душистые ветви. Вдали возвышалась колокольня старой церкви из красного камня. Было четыре часа дня. Сад уже покрывала тень. Солнце озаряло еще вершину дерева и красную колокольню. Кристоф уселся в беседке, спиной к стене, запрокинув голову, глядя на ясное небо в просветах виноградных листьев и роз. Ему казалось, будто он пробуждается от кошмара. Вокруг царил неподвижная тишина. Над его головой томно свешивалась ветка роз. Вдруг самая красивая из них осыпалась, умерла; снег ее лепестков рассеялся в воздухе. словно угасла прекрасная невинная жизнь. Так просто! В душе Кристофа это стозвалось сладостной мучительной болью. Он глубоко вздохнул и, закрыв лицо руками, разрыдался...

Зазвонили колокола на башне. От церкви к церкви, переключаясь, пошел ответный звон... Кристоф не сознавал, сколько времени прошло. Когда он снова поднял голову, колокола уже умолкли, солнце скрылось. Слезы облегчили Кристофа; дух его был словно смыт этими слезами. Он прислушивался, как бьется в нем струйка музыки, и глядел, как скользит в вечернем небе тонкий лунный серп. Шум возвращающихся шагов пробудил его. Он поднялся к себе в комнату, заперся на ключ и дал волю музыкальной волне. Браун позвал его к обеду, он стучал в дверь, пытался открыть ее — Кристоф не ответил. Встревоженный Браун поглядел в замочную скважину и успокоился, увидев, что Кристоф полулежит на столе среди листов исписанной бумаги.

Несколько часов спустя Кристоф, истомленный, спустился вниз и нашел в нижней гостиной доктора, который терпеливо поджидал его за книгой. Он обнял его, извинился за свое поведение с самого приезда и, не дожидаясь расспросов Брауна, начал рассказывать драматические события последних недель. Это был единственный раз, когда он говорил об этом; да и то он не был уверен, что Браун вполне его понял, ибо Кристоф рассказывал бессвязно; было уже за полночь, и, несмотря на все свое любопытство, Брауну до смерти хотелось спать. Наконец (когда пробило два часа), Кристоф это заметил. Они пожелали друг другу покойной ночи.

Начиная с этой минуты, жизнь Кристофа потекла по-новому. Хотя и улеглось это состояние мимолетного возбуждения и он снова поддался своей грусти, но грусть уже стала нормальной, не мешающей жить. Надо же было снова вернуться к жизни! В этом человеке, который только что потерял то, что он любил больше всего на свете, которого терзало горе, в этом человеке, носящем в себе смерть, была такая избыточная, такая тираническая сила жизни, что она прорывалась в его скорбных словах, светилась в его глазах, в его губах, в его движениях. Но в самой сердцевине гнезвился подтачивавший ее червь. У Кристофа бывали приступы отчаяния. Это налетало на него внезапно. Вот он спокоен, он старается читать или гулять — и вдруг улыбка Оливье, его усталое и нежное лицо... Точно послоснули ножом по сердцу... Он пошатывается, со стоном прижимая руку к груди. Однажды он сидел за роялем и с прежним жаром играл Бетховена. Вдруг он остановился, повалился на пол и, зарыв лицо в подушки кресла, воскликнул:

— Дорогой мой!..

Тягостнее всего было ощущение, что все это он уже когда-то переживал; ощущение это появлялось у Кристофа на каждом шагу. Он беспрестанно узнавал прежние жесты, прежние слова, вечное повторение старых переживаний. Все было ему знакомо, все предугадано. Таксе-то лицо, напоминающее лицо, знакомое в прошлом, либо скажет (он заранее был уверен в этом), либо уже говорит те самые слова, что говорили те, другие; сходные существа проходят через сходные фазы, наталкиваются на те же препятствия и одинаково при этом поступают. Если правда, что «ничто не отвращает нас от жизни так, как повторность любви», то насколько же больше должна отвращать нас повторность всего вообще!.. Можно с ума сойти! Кристоф старался не думать об этом, поскольку необходимо было не думать об этом, чтобы жить, а он хотел жить. Мучительное лицемерие, не желающее осознать себя из чувства стыда, из чувства хотя бы благочестия, — неодолимая, затаенная потребность жизни! Зная, что нет утешения, человек создает себе утешение сам. Убежденный, что

жизнь не имеет никакого смысла, он создает себе смысл жизни. Он уверяет себя, что ему необходимо жить, хотя никому, кроме него одного, это не нужно. В случае надобности он придумает, что умерший воодушевляет его на жизнь. И он знает, что сам приписывает мертвому те речи, которые хочет от него услышать. Какое убожество!

Кристоф продолжал свой путь; поступь его, казалось, обрела прежнюю уверенность; он замкнул свою скорбь глубоко в сердце; он никогда не говорил о ней с другими и сам избегал оставаться с нею наедине; он казался спокойным.

«Истинные горести, — говорит Бальзак, — с виду спокойно лежат в глубоком, прорытом ими русле; они как будто спят, но и там продолжают разъедать душу».

Кто подошел бы к Кристофу и понаблюдал бы за ним, как он расхаживает взад и вперед, играет, разговаривает, смеется даже (теперь он смеялся!), тот почувствовал бы, что в самой глубине этого сильного человека с горящими оживлением глазами что-то надломлено.

С той минуты как он причалил к пристани, ему надо было обеспечить себе средства к существованию. О том, чтобы покинуть город, не могло быть и речи. Швейцария была самым надежным убежищем; да и где бы он нашел более сердечное гостеприимство? Но его гордая натура не могла помириться с мыслью, что он будет жить на иждивении приятеля. Несмотря на протесты хозяина, не желавшего брать с него платы, он не успокоился до тех пор, пока не нашел нескольких уроков музыки, которые дали ему возможность регулярно оплачивать жизнь у Браунов. Это было нелегко. Слух об его безрассудной революционной выходке распространился по городу, и буржуазные семьи неохотно пускали к себе человека, слывшего опасным или во всяком случае необыкновенным, — стало быть, недостаточно «приличным». Однако музыкальная его известность и старания Брауна открыли Кристофу доступ в четыре или пять семейств, которые были не столь чопорны или более

любопытны и жаждали, быть может из артистического снобизма, выказать свободомыслие. Тем не менее за ним бдительно следили и соблюдали между учителем и учениками почтительное расстояние.

Жизнь у Брауна наладилась по строго размеренному плану. Утром каждый шел, куда его призывали обязанности: доктор к больным, Кристоф на уроки, г-жа Браун на рынок и по благочестивым делам. Кристоф возвращался к часу — обычно раньше Брауна, не позволявшего ждать его к обеду, и садился за стол вдвоем с молодой женщиной. Это ему не очень нравилось, потому что она не была ему симпатична и он не знал, о чем с нею говорить. Она не делала ни малейшего усилия победить эту антипатию, хотя не могла не замечать ее; она не старалась блеснуть перед ним ни нарядами, ни остроумием; никогда первая не заговаривала с Кристофом. Нескладность ее движений и платья, неуклюжесть, холодность отдалили бы от нее всякого мужчину, чувствительного, как Кристоф, к очарованию женственности. Вспоминая остроумное изящество парижанок, он при виде Анны не мог удержаться от мысли: «Как она дурна собой!»

Между тем это было неверно; вскоре он стал замечать красоту ее волос, рук, рта, ее глаз — в те редкие мгновения, когда ему доводилось встречаться с ее всегда опущенным взглядом. Но это не смягчило его приговора. Из вежливости он заставлял себя говорить с нею, с трудом выискивая темы разговора: она нисколько не помогала ему. Раза два-три он попытался расспросить ее об их городе, о муже, о ней самой — и ничего не мог от нее добиться. Она отвечала банальными фразами; она улыбалась с заметным усилием, и это усилие было неприятно видеть; улыбка у нее была принужденная, голос глухой; она мямлила, цедила слова; каждая фраза сопровождалась тягостным молчанием. Кристоф в конце концов решил говорить с нею как можно меньше; и она была благодарна ему за это. Приход доктора был для них обоих облегчением. Он всегда был в хорошем настроении, шумлив, деловит, банален, в общем — отличный человек. Он с аппетитом ел, пил, говорил, смеялся. С ним Анна немного разговаривала; но их разговоры

касались исключительно подаваемых к обеду кушаний и цен на продукты. Иногда Браун потешался, поддразнивая Анну ее благочестивыми делами и проповедями пастора. Тогда она делала каменное лицо и обиженно замолкала до конца обеда. Чаще всего доктор рассказывал о своих визитах; ему доставляло удовольствие описывать некоторые отвратительные случаи с забавной обстоятельностью, выводившей из себя Кристофа. Тот швырял салфетку на стол и вскакивал с гримасой отвращения на радость рассказчику. Браун тотчас же замолкал и со смехом успокаивал своего друга. За следующим обедом все начиналось сызнова. Эти больничные шутки, казалось, развлекали бесстрастную Анну. Она прерывала свое молчание внезапным нервным смехом, в котором было что-то животное. Быть может, она не меньше Кристофа чувствовала отвращение к тому, над чем смеялась.

В послеобеденное время у Кристофа было мало учеников. Обычно он оставался дома с Анной, между тем как доктор снова уходил. Они не виделись. Каждый работал у себя. Вначале Браун просил Кристофа немножко заняться музыкой с его женой: по его мнению, она была довольно хорошей музыкантшей. Кристоф предложил Анне сыграть что-нибудь. Она не заставила себя просить, хотя, очевидно, ей это было неприятно; но в игру она внесла свойственное ей отсутствие изящества: она играла механически, как-то невообразимо бесчувственно; все ноты звучали одинаково; нигде никаких ударений; когда надо было перевернуть страницу, она спокойно останавливалась посреди фразы, нимало не торопясь, и продолжала со следующей ноты. У Кристофа это вызвало такое раздражение, что он с трудом удержался, чтобы не наговорить ей грубостей; он спасся только тем, что вышел из комнаты, не дослушав пьесы до конца. Она ничуть этим не смутилась, невозмутимо доиграла все до последней ноты и не казалась ни оскорбленной, ни уязвленной его невежливостью, — она как будто и не заметила ее. Но с тех пор между ними уже не было больше речи о музыке. В послеобеденные часы, когда Кристоф иногда выходил из дому, случалось, что, возвратясь ненароком, он заставал Анну за роялем, повторяющую с холодным и нелепым упорством раз по пяти-

десяти один и тот же такт, никогда не уставая и не сживаясь. Она никогда не играла, если знала, что Кристоф дома. Она отдавала хозяйственным заботам все время, которое не посвящала благочестивым делам. Она шила, перешивала, присматривала за прислугой; у нее была педантичная страсть к порядку и чистоте. Муж считал ее отличной женщиной, правда немного чудной, «как все женщины», говорил он, но зато, «как все женщины», преданной. Насчет последнего пункта Кристоф хранил про себя особое мнение: такое умоуаключение казалось ему слишком упрощенным, но он говорил себе, что в конце концов это дело Брауна и его не касается.

Вечером, после обеда, они сходились все вместе. Браун и Кристоф беседовали. Анна занималась рукоделием. По просьбе Брауна, Кристоф согласился, наконец, снова сесть за рояль; и иногда он до поздней ночи играл в большой слабо освещенной гостиной, выходявшей окнами в сад. Браун был в восторге. Кто не знает этой породы людей, восторгающихся произведениями, которых они совсем не понимают, либо понимают наизуворот. (За это-то они их и любят!) Кристоф уже не сердился: он столько глупцов перевидал на своем веку! Но после некоторых нелепо-восторженных восклицаний он переставал играть и, не говоря ни слова, уходил в свою комнату. Браун в конце концов догадался о причине и с тех пор не выражал своих впечатлений вслух. К тому же любовь его к музыке быстро утолялась, он не мог слушать со вниманием более четверти часа подряд: он принимался за газету или же начинал дремать, оставив Кристофа в покое. Анна, сидевшая в глубине комнаты, не говорила ни слова; на коленях у нее лежало какое-нибудь рукоделье, и она, казалось, работала, но глаза ее были устремлены в одну точку, а руки неподвижны. Иногда, посреди пьесы, она бесшумно выходила из комнаты и не показывалась больше.

Так проходили дни. К Кристофу возвращались его прежние силы. Тяжеловесная, но сердечная доброта Брауна, тишина этого дома, успокоительная размеренность домашнего уклада, питание, необычайно обильное,



на германский манер, возрождали его могучий темперамент. Физическое его здоровье было восстановлено, но духовный механизм все еще болен. Растущая физическая крепость лишь подчеркивала расшатанность духа, который никак не мог найти равновесия, словно плохо нагруженная лодка, подбрасываемая при малейшем толчке.

Одиночество его было глубоко. С Брауном у него никакой духовной близости быть не могло. Его встречи с Анной сводились лишь к обмену утренними и вечерними приветствиями. Отношения его с учениками были скорее враждебны, ибо он плохо скрывал от них, что самое лучшее им было бы совсем бросить музыку. Знакомых у него не было. Виною этому было не только то, что он после постигшей его утраты забился в свой угол, — общество сторонилось его.

Он жил в старом городе, исполненном ума и силы, но проникнутом патрицианской гордостью, замкнутой и самодовольной. Буржуазная аристократия, ценившая труд и высокую культуру, но ограниченная, воспитанная в ханжестве, твердо убежденная в своем превосходстве и превосходстве своего города, довольствовалась тесным семейным кругом. Древние фамилии с обширной родословной. У каждой семьи был свой приемный день для близких. Прочих принимали неохотно. Эти могущественные семьи с вековыми состояниями не испытывали никакой потребности хвалиться своим богатством. Они друг друга знали — этого было вполне достаточно; мнение посторонних не принималось в расчет. Здесь можно было увидеть миллионеров, одетых словно мелкие мещане и разговаривающих на грубом, со смачными выражениями диалекте, которые добросовестно, изо дня в день, всю жизнь ходили в свои конторы даже в том возрасте, когда самые трудолюбивые люди уже разрешают себе отдохнуть. Их жены чванились образцовым умением вести хозяйство. Приданого дочерям не давали. Богачи заставляли своих детей проходить ту же суровую школу, которую прошли они сами. Строгая бережливость в повседневной жизни. И вместе с тем весьма благородное употребление этих крупных состояний на художественные коллекции, на картинные галереи, на обще-

ственное благоустройство. Щедрые и постоянные пожертвования, почти всегда безыменные, на разные благотворительные учреждения, на пополнение музеев. Здесь смешалось великое и смешное — и то и другое какого-то иного века. Этот мирок, для которого весь остальной мир как будто не существовал (хотя он и знал его отлично по деловым сношениям, по обширным связям, по тем продолжительным и дальним путешествиям, какие он с образовательной целью предписывал своим сынам), этот мирок, который признавал какое-нибудь громкое имя, иноземную знаменитость лишь с того дня, когда они, наконец, были приняты и одобрены им, — соблюдал в своей замкнутой среде строжайшую дисциплину. Все держали себя в руках, и все следили друг за другом. В результате возникла некая коллективная совесть, стирающая все индивидуальные различия (более чем где-либо осуждаемые в среде этих суровых личностей) под покровом религиозного и морального единообразия. Все соблюдали обряды, все были благочестивы. Никто не знал сомнений или не хотел в них сознаться. Невозможно было понять, что происходит в глубине этих душ, которые непроницаемо укрылись от чужих взглядов, чувствуя над собой бдительный надзор и зная, что каждому присвоено право заглядывать в чужую совесть. Даже те, кто в свое время покинул страну и считал себя уже освобожденным, — едва вступив в ее пределы, снова подпадал под власть традиций, обычаев, атмосферы родного города; самые неверующие тотчас принуждены были исполнять обряды и верить. Неверие показалось бы чем-то противоестественным. Неверие было свойством низшего класса, отличающегося дурными манерами. Для человека известного круга недопустимо уклоняться от религиозных обязанностей. Кто не выполнял обрядов, тем самым выбывал из своего класса и уже не имел туда доступа.

Гнет этой дисциплины, однако, казался им недостаточным. Эти люди чувствовали себя все еще мало связанными в недрах своей касты. Внутри этого большого Verei'n'a<sup>1</sup>, чтобы окончательно сковать себя, они образовали множество маленьких Verei'нов. Их насчитывалось

---

<sup>1</sup> сообщества (нем.).

уже несколько сотен, и число их ежегодно увеличивалось. Существовали Vereine всевозможных назначений: благотворительные, благочестивые, коммерческие, благочестивые и коммерческие одновременно, художественные, научные, певческие, музыкальные, Vereine для умственных упражнений и для упражнений физических, для соборий, попросту для того, чтобы вместе повеселиться; были Vereine участковые, Vereine корпораций; были Vereine людей, занимающих одинаковое положение, обладающих одинаковым состоянием, одинаковым весом, одинаковыми именами. Говорят, будто собирались образовывать Verein des Vereinslosen (то есть тех, кто не принадлежал ни к какому Verein'у); но таких не нашлось в городе и дюжины.

Души были стянуты этим тройным корсетом — традиций города, касты и среды. Тайное принуждение обуздывало характеры. Большинство воспитывалось в этом принуждении с детства, в течение многих лет и находило это естественным; оно сочло бы неблагопристойным и нездоровым обходиться без корсета. Никто, глядя на самодовольную улыбку этих людей, не заподозрил бы, что они чувствуют себя стесненными. Но природа мстила за себя. Время от времени возникала какая-нибудь мятежная индивидуальность, могучий художник или необузданный мыслитель, который грубо разрывал путы и доставлял немало хлопот местным старожилам. Они были настолько умны, что, если мятежника не удавалось задушить в зародыше, если он оказывался сильнее их, они никогда не старались победить его (битва могла бы повлечь за собой скандальные взрывы), — они его покупали. Если он был художник, они помещали его в музей; если мыслитель — в библиотеку. Тщетно надрывался он, провозглашая невероятнейшие идеи, — они делали вид, что не слышат. Тщетно отстаивал он свою независимость — они включали его в свою среду. Таким образом, действие яда нейтрализовалось: это было лечение гомеспатией. Но такие случаи были редки, большей частью мятежи удавалось сохранить в тайне. Эти мирные дома таили в своих стенах никому неизвестные трагедии. Случалось, что кто-нибудь из их обитателей отправлялся своей степенной походкой, без всяких объ-

яснений, топиться в реку, или же запирался у себя на полгода, или помещал свою жену в больницу, чтобы восстановить свое душевное равновесие. Говорили об этом без стеснения, как о чем-то вполне естественном, с тем невозмутимым спокойствием, которое было одним из прекрасных свойств этого города и которое там умели сохранять даже перед лицом страдания и смерти.

Эта почтенная буржуазия, строгая к самой себе потому, что она знала себе цену, была менее строга к другим потому, что меньше их уважала. По отношению к гостившим в городе иностранцам, вроде Кристофа, немецким профессорам, политическим эмигрантам, она держала себя даже довольно либерально, ибо они были ей безразличны. К тому же она ценила ум. Передовые идеи не тревожили ее: она знала, что на ее сыновей они не будут иметь влияния. Она проявляла к своим гостям какое-то ледяное добродушие, которое всегда удерживало их на известном расстоянии.

Кристоф и не стремился проникнуть в эту среду. Он был болезненно восприимчив, сердце его было обнажено: он и так слишком склонен был видеть всюду эгоизм и безразличие и замыкаться в себе.

К тому же клиентура Брауна и тот весьма тесный круг, к которому принадлежала его жена, представляли собой протестантский, особенно ригористически настроенный мирок. Здесь Кристоф был вдвойне на дурном счету — как католик по происхождению и как неверующий по существу. Он в свою очередь видел в этом кругу много такого, что его возмущало. Хоть Кристоф и перестал верить, он все же был отмечен вековой печатью католицизма, менее рассудочного, более поэтического, снисходительного к человеческой природе и не столь озабоченного толкованием и пониманием, сколько тем — любить или не любить; к тому же в Кристофе сильны были привычки к интеллектуальной и моральной свободе, которые, сами того не зная, он усвоил в Париже. Он роковым образом должен был столкнуться с этим узким ханжеским мирком, где резко обнаруживались недостатки кальвинизма — религиозный рационализм, подрезывающий крылья вере и оставляющий ее беспомощной на

самом краю бездны, ибо он исходил из а priori<sup>1</sup> столь же спорного, как и всякий мистицизм: это была уже не поэзия и не проза, это была поэзия, переложенная на прозу. Интеллектуальная гордыня, неограниченная, слепая вера в разум — в свой разум. Они могли не верить ни в бога, ни в бессмертие, но они верили в разум, как католик в папу, как идолопоклонник в своего идола. Им даже в голову не приходило сомневаться в своей вере. Если жизнь явно ей противоречила, они готовы были скорее отрицать самую жизнь. Полное незнание психологии, непонимание природы, сокровенных ее сил, основ человеческого существа, «Духа земли». Они создавали мир, наполненный какими-то ребяческими, упрощенными схематическими существами. Были среди них люди образованные и опытные, которые много читали, много видели. Но они не видели ни одной вещи и не прочли ни одной книги по-настоящему; из всего они делали только абстрактные выводы. Им недоставало крови в жилах; при всех их высоких нравственных качествах они были недостаточно человечны, а это величайший грех. Сердечная их чистота, зачастую вполне искренняя, благородная и бесхитростная, порою смешная, в иных случаях, к несчастью, становилась трагичной: она вызывала черствость по отношению к другим людям, спокойную, незлобивую, уверенную в себе и поистине устрашающую бесчеловечность. Как могли бы они сомневаться? Разве не обладали они истиной, правом, добродетелью? Разве не отсюда извлекали они откровение святого разума? Разум — суровое солнце; он освещает, он и ослепляет. В этом резком свете, без облаков и теней, души растут обесцвеченными, — кровь их сердца высосана.

Между тем если что-либо в эту пору и было для Кристофа лишено всякого смысла, так именно разум. Его взору это солнце освещало лишь стены бездны, не указывая средства, как выйти оттуда, и даже не давая возможности измерить ее глубину.

Что же касается артистической среды, то у Кристофа было мало случаев и еще меньше охоты общаться с нею. Музыканты были в большинстве честными консервато-

---

<sup>1</sup> заранее установленного (лат.).

рами неошуманской и «браминской» эпохи, против которых Кристоф когда-то ломал копья. Среди них двое составляли исключение: органист Кребс, владелец известной кондитерской, славный малый, хороший музыкант, который был бы еще лучшим музыкантом, если бы, пользуясь выражением одного из своих соотечественников, «не сидел на Пегасе, которому слишком много давал овса», и молодой композитор-еврей, своеобразный талант, исполненный большой и беспокойной силы, который торговал швейцарскими изделиями: деревянной скульптурой, домиками и бернскими медведями. Более независимые, чем все другие, вероятно потому, что они не обращали своего искусства в ремесло, они охотно сблизились бы с Кристофом, и в другое время Кристофу любопытно было бы познакомиться с ними; но в эту пору его жизни всякое любопытство, артистическое и человеческое, притупилось в нем; он острее чувствовал то, что отделяло его от людей, чем то, что соединяло его с ними.

Единственным его другом, поверенной его дум была протекавшая по городу река, — та самая мощная родная река, которая там, на севере, омывала его родной город. У ее берегов Кристофу снова вспоминались его детские грезы... Но в обуревавшей его скорби воспоминания эти, как и сам Рейн, принимали какой-то траурный оттенок. На склоне дня, опершись на перила набережной, он глядел на бурную реку, на эту струящуюся, тяжелую, темную, торопливую, вечно убегающую куда-то громаду, где ничего нельзя было различить, кроме изгибов и стремнин, множества ручьев, течений, то возникающих, то снова исчезающих водоворотов, — подобно хаосу образов в бредовой мысли, которые вечно вспыхивают и вечно тают. В этом сумеречном сне скользили, точно гроба, какие-то призрачные паромы, без единой человеческой фигуры. Мрак сгущался. Река становилась бронзовой. Береговые огни зажигали чернильно-черные отсветы на ее латах, сверкавших темными молниями. Медные отблески газовых рожков, лунные отблески электрических фонарей, кровавые отблески свечей за стеклами домов. Ропот реки наполнял тьму. Вечное журчание, однообразное и еще более печальное, чем шум моря.

Кристоф целыми часами впитывал в себя эту песню смерти и печали. Ему трудно было оторваться от реки; потом он снова подымался к себе домой крутыми улицами с истертыми посредине красными ступенями; разбитый душой и телом, он цеплялся за железные вделанные в стену перила, которые поблескивали, освещенные сверху фонарями, выстроившимися на пустынной площади перед окутанной мраком церковью...

Он не мог понять, зачем люди живут. Вспоминая битвы, свидетелем которых он был, он горестно дивился этому человечеству с его живучей верой. Одни идеи сменялись другими, противоположными, периоды действия — периодами реакции; на смену демократии приходила аристократия, социализму — индивидуализм, романтизму — классицизм, прогрессу — традиция, и так из века в век. Каждое новое поколение, сгорающее в какие-нибудь десять лет, с тем же пылом верило, что только оно достигло вершины, и градом камней сбрасывало вниз своих предшественников; оно волновалось, кричало, добивалось власти и славы, а потом скатывалось вниз под градом камней новопривывших и исчезало. За кем теперь черед?

Музыкальное творчество уже не служило утешением Кристофу; оно было каким-то прерывистым, беспорядочным, бесцельным. Писать? Для кого писать? Для людей? Он переживал период жестокой мизантропии. Для себя? Он слишком остро чувствовал тщету искусства, неспособного заполнить пустоту смерти. Одна только его слепая сила мгновениями подымала его мощным своим крылом и тут же поникала надломленная. Он был точно грозовая туча, грохочущая во мраке. С исчезновением Оливье ничего не осталось, ровно ничего. Он ожесточенно нападал на все, что прежде заполняло его жизнь, — на чувства, на мысли, которые в то время он как будто разделял со всем остальным человечеством. Теперь ему казалось, что он был игрушкой заблуждения: вся общественная жизнь зиждилась на огромном недоразумении, источником которого была человеческая речь... Ты думаешь, что твоя мысль может общаться с другими мыслями? Существует связь только между словами. Ты говоришь и слушаешь слова; ни одно слово не имеет одного и того же смысла у различных людей.

И это еще не все: ни одно слово, ни единое, не исчерпывает всего своего смысла в жизни. Слова переплескиваются за пределы прожитой тобой действительности. Ты говоришь: любовь и ненависть... Нет ни любви, ни ненависти, ни друзей, ни врагов, ни веры, ни страсти, ни добра, ни зла. Есть только холодные отсветы лучей, падающие от звезд, угасших уже много веков назад. Друзья? Нет недостатка в людях, притязающих на это звание. О, пошлая действительность! Что такое их дружба, что такое дружба в общепринятом смысле этого слова? Сколько мгновений своей жизни отдает тот, кто мнит себя другом, бледному воспоминанию о своем друге? Чем пожертвовал бы он ради него — не только из самого необходимого, но даже из того, что у него есть в избытке, в праздности, в скуке своей? Чем я сам пожертвовал ради Оливье? (Ибо Кристоф не делал для себя исключения, — одного только Оливье исключал он из всеобщего ничтожества, в котором сливались для него все человеческие существа.) Искусство не более по-  
длинно, чем любовь. В самом деле, какое место занимает оно в жизни? Какой любовью любят его те, кто мнят себя его поклонниками? Убожество человеческих чувств неопишимо. Вне родового инстинкта, этой космической силы, которая является рычагом мира, не существует ничего, кроме легкого праха волнений. Большинство людей недостаточно богато жизнью, чтобы всецело отдаться какой бы то ни было страсти. Они берегут себя с осмотрительной скарденостью. Они — во всем понемногу и нигде целиком. Тот, кто отдает себя, не рассуждая, всему тому, что он делает, всему, чем он болеет, всему, что он любит, всему, что он ненавидит, — тот поистине чудо, величайшее чудо, которое нам дано встретить на земле. Страсть — точно гений: чудо. Иначе говоря, ее не существует!

Так думал Кристоф, а жизнь тем временем готовила ему грозное опровержение. Чудо таится везде, как огонь в кремне: удар — и он вспыхивает! Мы не подозреваем о том, какие демоны дремлют в нас.

*Pero non mi destar, deh! parla basso* <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Прошу, молчи, не смей меня будить (итал.). — Надпись на статуе Микеланджело «Ночь». — *Прим. ред.*



Однажды вечером, когда Кристоф импровизировал за роялем, Анна встала и вышла, как часто это делала во время игры Кристофа. Музыка, казалось, докучала ей. Кристоф не обращал на это внимания: ему было все равно, что она думает. Он продолжал играть; потом в голову ему пришли мысли, которые ему захотелось записать; он оборвал игру и побежал к себе в комнату за нужными ему листками. Когда он открыл дверь соседней комнаты и с опущенной головой ринулся в темноту, он с размаху натолкнулся на какое-то неподвижно стоявшее на пороге тело. Анна... Неожиданный толчок заставил молодую женщину вскрикнуть от удивления. Кристоф, испугавшись, что сделал ей больно, нежно взял ее за руки... Руки у нее были ледяные. Ее, казалось, знобило — должно быть, от внезапного испуга. Она пробормотала какое-то туманное объяснение:

— Я искала в столовой...

Чего она искала, он не расслышал, да, может быть, она этого и не сказала. Ему показалось странным, что она, разыскивая что-то, бродит впотьмах. Но он так привык к странным повадкам Анны, что не обратил на это внимания.

Через час он снова вернулся в маленькую гостиную, где коротал вечера с Анной и Брауном. Он сел за стол, под лампой, и стал писать. Анна, на краю стола, справа, шила, склонившись над работой. За ними, в низком кресле у камина, Браун читал какой-то журнал. Все трое молчали. Время от времени слышно было, как шуршит дождь по песку садовых дорожек. Чтобы сосредоточиться, Кристоф повернулся вполоборота и сел спиной к Анне. На стене напротив него зеркало отражало стол, лампу и два лица, склоненные над работой. Кристофу показалось, что Анна смотрит на него. Вначале это его не беспокоило, но под конец, смущенный назойливой мыслью, он перевел глаза на зеркало и увидел... В самом деле, она смотрела на него. Каким взглядом! Он остолбенел под этим взглядом и, затаив дыхание, стал наблюдать. Она не знала, что он за ней наблюдает. Свет от лампы падал на ее бледное лицо, обычная строгость и замкнутость которого таили в себе сосредоточенную неистовую силу. Глаза ее — эти неведомые ему глаза, ко-

торые никогда не удавалось разглядеть, — были устремлены на него: темносиние, с расширенными зрачками, со жгучим и суровым взглядом, они были прикованы к нему, они впивались в него с какой-то молчаливой и упорной страстью. Ее глаза? Неужели это были ее глаза? Он видел их, и ему не верилось. Да точно ли он их видел? Он резко обернулся. Глаза были опущены. Он попробовал заговорить с нею, заставить ее взглянуть ему в лицо. Она ответила ему с бесстрастным видом, не поднимая от работы взгляда, укрывшегося под непроницаемой сенью голубоватых век, с короткими и густыми ресницами. Если бы Кристоф не был уверен в себе, он подумал бы, что это была игра всоображения. Но он знал, что он видел.

Однако, так как мысли его были заняты работой и Анна мало его интересовала, это странное впечатление быстро рассеялось.

Неделю спустя Кристоф наигрывал на рояле только что сочиненную им песню. Браун, который из супружеского самолюбия, а также из желания поддразнить жену, любил изводить ее просьбами что-нибудь спеть или сыграть, был в этот вечер особенно настойчив. Обычно Анна ограничивалась весьма сухим «нет», после чего уже не давала себе труда отвечать на его просьбы, уговоры и шутки; она крепко сжимала губы и как будто ничего не слышала. На этот раз, к великому удивлению Брауна и Кристофа, она сложила работу, встала и подошла к роялю. Она спела с листа песню, которую никогда до тех пор не разбирала. Это было похоже на чудо — это и было настоящее чудо. Голос ее, глубокого тембра, ничем не напоминал тот хриловатый и тусклый голос, каким она обычно говорила. Твердо поставленный с первой же ноты, без малейшей тени неуверенности, без всякого напряжения, он придавал музыкальной фразе какое-то волнующее и ясное величие; и он достиг такой силы страсти, что Кристоф затрепетал, ибо он показался ему голосом собственного сердца. Ошеломленный, Кристоф взглянул на Анну, когда она пела, и впервые увидел ее. Он увидел ее темные глаза, в которых загорался дикий огонь, ее большой страстный рот с хорошо очерченными губами, чувственную улыбку, мрачную и

жестокую, ее здоровые, белые зубы, красивую и сильную руку, опирающуюся на пюпитр рояля, увидел крепкое сложенное, стянутое тесной одеждой тело, хоть и отщавшее от строгой жизни, но молодое, сильное и гармоничное.

Она перестала петь и снова села, опустив руки на колени. Браун рассыпался в похвалах, но он находил, что она пела без достаточной нежности. Кристоф ничего ей не сказал. Он удивленно разглядывал ее. Она как-то смутно улыбалась, зная, что он на нее смотрит. В этот вечер между ними было великое молчание. Она сознавала, что на этот раз вознеслась над самой собой или, быть может, впервые стала самой собою. Она не знала почему.

С этого дня Кристоф начал внимательно приглядываться к Анне. Она снова стала молчаливой, холодно равнодушной, и снова ее обуяла страсть к работе, которая раздражала даже ее мужа и которой она старалась усыпить темные порывы своего смятенного духа. Напрасно выслеживал ее Кристоф, он не находил в ней ничего, кроме чопорной мешанки первых дней их знакомства. Минутами она погружалась в задумчивость, ничего не делая, неподвижно устремив взгляд в одну точку. В каком положении ее оставляли, в таком же положении и находили четверть часа спустя: она не пошевелинулась. Когда муж спрашивал, о чем она думает, она пробуждалась из своего оцепенения и, улыбаясь, отвечала, что ни о чем. И она говорила правду.

Ничто не могло вывести ее из равнодушия. Однажды, когда она одевалась, вспыхнула ее спиртовая лампа. В одно мгновение Анна была охвачена пламенем. Служанка убежала, призывая на помощь, Браун потерял голову, стал метаться, кричать и едва не лишился чувств. Анна сорвала застегжки со своего пеньюара, спустила с бедер начинавшую уже гореть юбку и затоптала ее ногами. Когда растерянный Кристоф прибежал с собою, он увидел Анну, стоявшую на стуле в нижней юбке, с обнаженными плечами; она спокойно тушила руками пылав-

шие занавески. Она обожглась, ничего не сказала и, казалось, была раздосадована только тем, что ее застали в таком виде. Она покраснела, неловко прикрыла плечи руками и ушла в соседнюю комнату с видом оскорбленного достоинства. Кристоф был восхищен ее спокойствием, но не мог бы сказать, о чем оно больше свидетельствовало — об ее мужестве или об ее бесчувственности. Он скорее склонен был остановиться на втором объяснении. В самом деле, эта женщина, видимо, ничем не интересовалась: ни другими, ни собой. Кристоф сомневался, есть ли у нее сердце.

У него не осталось на этот счет никакого сомнения после одного происшествия, которому он был свидетелем. У Анны была маленькая черная собачка с умными и ласковыми глазами, любимица всего дома. Браун ее обожал. Кристоф брал ее к себе в комнату, когда записывался у себя для работы, и, закрыв дверь, часто, вместо того чтобы работать, играл с нею. Когда он выходил из дому, она уже подстерегала его на пороге и увязывалась за ним, так как для прогулки ей нужен был спутник. Она бежала впереди, перебирая лапками, которые царапали землю с такой быстротой, что, казалось, порхали в воздухе. Время от времени она останавливалась, гордясь своим проворством, и смотрела на Кристофа, выпятив грудь и выгнув спину. Она храбрилась, бешено лаяла на какой-нибудь пень, но, увидев издали собаку, удирала и, вся дрожа, жалась к ногам Кристофа. Кристоф подтрунивал над нею и любил ее. С тех пор как он начал чуждаться людей, его стало тянуть к животным; он находил их жалкими и трогательными. Эти бедные зверьки так доверчиво покоряются вам, когда вы с ними добры! Если человек, обладая неограниченной властью над их жизнью и смертью, дурно обращается с этими слабыми преданными существами, он поступает гнусно и бессовестно.

Как ни ласково было это милое животное ко всем, оно оказывало явное предпочтение Анне. Она ничем не старалась привлечь собачку, но охотно ласкала ее, позволяла лежать у себя на коленях, заботливо кормила и, казалось, любила, насколько она вообще способна была любить. И вот эта собачонка нечаянно попала под

колеса автомобиля. Ее раздавили почти на глазах у хозяев. Она была еще жива и жалобно выла. Браун выскочил из дому без шляпы; он подобрал окровавленное тело и старался, насколько мог, облегчить страдания животного. Подошла Анна, поглядела, не наклоняясь, и с гримасой отвращения ушла. Браун, со слезами на глазах, присутствовал при агонии маленького создания. Кристоф большими шагами расхаживал по саду, сжимая кулаки. Услышав, как Анна спокойно отдает распоряжения прислуге, он спросил:

— Что же, вас это нисколько не огорчает?

Она ответила:

— Ведь помочь ей нельзя, не правда ли? Так лучше не думать об этом.

Он почувствовал к ней ненависть; потом его поразила грубая забавность ее ответа, и он усмехнулся. Ему пришло в голову, что Анне следовало бы дать ему рецепт, как избегать грустных мыслей, и что жизнь легка для тех, кому посчастливилось не иметь сердца. Он подумал, что, если бы умер Браун, Анна едва ли была бы этим взволнована, и поздравил себя с тем, что не женат. Его одиночество показалось ему менее печальным, чем эта цепь привычек, привязывающая нас на всю жизнь к существу, для которого ты ненавистен или (что гораздо хуже) ничего не значишь. Положительно, эта женщина никого не любила. Ханжество иссушило ее.

Однажды — это было в конце октября — она удивила Кристофа. Они сидели за столом. Он беседовал с Брауном об одном преступлении, совершенном из ревности, которое занимало тогда весь город. Где-то в деревне две итальянские девушки, две сестры, влюбились в одного и того же человека. Не будучи в силах ни та, ни другая добровольно принести себя в жертву, они бросили жребий, которой из двух уступить место. Победенная должна была броситься в Рейн. Но когда судьба произнесла свой приговор, та, которая проиграла, проявила недостаточную готовность выполнить решение. Другая возмутилась таким вероломством. От ругани перешли к драке; пущены были в ход даже ножи; потом внезапно ветер переменился: они плача обнялись, поклялись, что не могут жить друг без друга, но так как все-таки не

могли поделить любезника, то порешили его убить. Это и было сделано. Однажды ночью девушки зазвали к себе в комнату возлюбленного, возгордившегося своей двойной победой, и в то время как одна страстно сжимала его в объятиях, другая страстно вонзила ему нож в спину. Крики его услышали. Прибежали люди и вырвали его в довольно плачевном состоянии из объятий сестер, а их арестовали. Они заявили, что это никого не касается, что это — только их личное дело и что, раз они сговорились между собою избавиться от того, кто им принадлежит, никто не имеет права вмешиваться. Жертва не прочь была согласиться с этим рассуждением, но правосудие его не поняло. Да и Браун не мог понять.

— Это сумасшедшие, — говорил он, — буйно помешанные! Их надо засадить в дом умалишенных. Я понимаю, что из-за любви кончают с собой. Я понимаю даже, что убивают того, кого любят, если он изменяет. То есть я не оправдываю этого, но допускаю как пережиток дикого атавизма; это — варварство, но это логично: убиваешь того, кто заставляет тебя страдать. Но убить того, кого любишь, без гнева, без ненависти, просто потому, что его любит другая, это — безумие. Ты это понимаешь, Кристоф?

— Хм, — сказал Кристоф, — я никогда этого не понимал! Где любовь — там и безрассудство.

Анна, молчавшая до сих пор и как будто не слушавшая их, подняла голову и промолвила своим спокойным голосом:

— Ничего тут безрассудного нет, это вполне естественно. Когда любишь, хочется уничтожить то, что любишь, чтобы оно никому другому не досталось.

Браун, ошеломленный, взглянул на жену; он стукнул кулаком по столу, скрестил руки и воскликнул:

— Откуда она набралась этих мыслей? Как! И тебе тоже понадобилось вставить словечко? Что ты в этом понимаешь, черт возьми!

Анна замолчала, слегка покраснев. Браун продолжал:

— Когда любишь, хочется уничтожить? Что за чудовищная глупость! Уничтожить то, что тебе дорого, значит уничтожить самого себя. Да как раз наоборот: когда любишь, самое естественное — делать добро тому, кто

делает тебе добро, лелеять его, защищать, быть добрым к нему, быть добрым ко всему на свете! Любовь — это рай на земле.

Анна, устремив взгляд в темноту, дала ему договорить, затем, покачив головой, холодно сказала:

— Человек становится недобрым, когда он любит.

Кристоф не возобновлял попыток снова послушать пение Анны. Он боялся... разочарования или чего-нибудь другого? Он не мог бы ответить на это. Анна испытывала тот же страх. Она избегала оставаться в гостиной, когда он начинал играть.

Но однажды в ноябрьский вечер, когда он читал у камина, он увидел Анну, которая сидела, уронив работу на колени, погруженная в задумчивость. Она смотрела в пустоту, и Кристофу почудилось, что в ее взгляде мелькают отсветы странного огня того достопамятного вечера. Он закрыл книгу. Она почувствовала, что за нею наблюдают, и снова прижалась за шитье. Из-под опущенных век она всегда видела все. Он встал и сказал:

— Идемте.

Она устремила на него взгляд, в котором еще трепетало волнение, поняла и последовала за ним.

— Куда вы? — спросил Браун.

— К роялю, — ответил Кристоф.

Он начал играть. Она запела. И тотчас же он снова увидел ее такой, какой она предстала ему тогда, в первый раз. Она смело вступала в этот героический мир, как будто он был ее миром. Кристоф продолжил опыт, перейдя на вторую песню, потом на третью, более пылкую, будя в Анне бурю страстей, воспламеняя ее и воспламеняясь сам; потом, когда они дошли до высшей точки напряжения, он резко оборвал игру и спросил, глядя ей прямо в глаза:

— Да кто же вы наконец?

Анна ответила:

— Не знаю.

Он грубо сказал:

— Что у вас в крови, почему вы так поете?

Она ответила:

— Это вы заставляете меня петь.

— Да? В таком случае я сделал правильный выбор. Я спрашиваю себя: я ли это создал, или вы? Так, значит, вот о чем вы думаете!

— Не знаю. Мне кажется, когда поешь, перестаешь быть собой.

— А мне кажется, что только тогда вы становитесь собой!

Они замолчали. Щеки ее были влажны от испарины. Грудь безмолвно вздымалась. Она пристально смотрела на пламя свечей и машинально соскребывала стеарин, накапавший на край подсвечника. Он перебирал клавиши, глядя на нее. Они сказали друг другу еще несколько слов, смущенно, суровым тоном, затем попытались завести банальный разговор и совсем замолчали, боясь заглянуть слишком глубоко.

На следующий день они почти не разговаривали — лишь украдкой, с какой-то опаской, поглядывали друг на друга. Но у них вошло в привычку по вечерам музицировать. Вскоре они стали заниматься музыкой и в послеобеденные часы, и с каждым днем все больше и больше. С первых же аккордов Анну захватывала все та же непонятная страсть, зажигающая ее с головы до ног, и эта благочестивая мешанка на то время, пока длилась музыка, обращалась в какую-то властную Венеру, воплощение всех неистовств души.

Браун, удивленный внезапным влечением Анны к пению, не дал себе труда доискаться причины этой женской прихоти; он присутствовал на концертах, покачивал в такт головою, высказывал свое мнение и был совершенно счастлив, хотя и предпочел бы музыку более нежную: такая затрата сил казалась ему чрезмерной. Кристоф чуял в воздухе опасность, но голова у него кружилась: ослабев после только что пережитого душевного перелома, он не мог сопротивляться; он перестал сознавать, что в нем происходит, и не желал знать, что происходит в Анне. Однажды после обеда, посреди песни, в самом разгаре бешеных страстей, она вдруг обограла фразу и без всяких объяснений вышла из комнаты. Кристоф ждал ее — она так и не вернулась.



Полчаса спустя, проходя по коридору мимо комнаты Анны, он в полуоткрытую дверь увидел ее с застывшим лицом, погруженную в суровую молитву.

Между тем в их отношения мало-помалу стало вкрадываться доверие. Он старался заставить ее разговаривать об ее прошлом, она рассказывала только банальные вещи; с большим трудом, понемногу вытянул он из нее несколько подробностей. Благодаря болливому добродушию Брауна ему удалось заглянуть в тайну ее жизни.

Она родилась в этом городе. Ее девичье имя было Анна Мария Зенфль. Отец ее, Мартин Зенфль, принадлежал к старому, вековому роду купцов-миллионеров, кастовая гордость и религиозный ригоризм которого доведены были до крайности. Будучи человеком предприимчивым, он, как многие его соотечественники, провел несколько лет вдали от родины, на Востоке, в Южной Америке; он даже делал смелые изыскания в центре Азии, куда его влекли одновременно и торговые интересы семьи, и любовь к науке, и собственное удовольствие. Блуждая по белому свету, он не только не остепенился, но освободился от тех правил, которым покорялся раньше, — от всех своих старых предрассудков. Отличаясь горячим темпераментом и упрямством, он, вернувшись домой, женился, несмотря на негодующие протесты родных, на дочери какого-то окрестного фермера, девушке сомнительной репутации, которую он вначале взял себе в любовницы. Брак явился единственным способом удержать эту красотку, без которой он жить не мог. Семья, тщетно пытавшаяся наложить свое veto<sup>1</sup>, наглухо заперла двери перед тем, кто не признавал ее священного авторитета. Жители города, то есть те, которые шли в расчет, по обыкновению действуя заодно во всем, что касалось нравственного достоинства общины, дружно сплотились против непокорной парочки. Путешественник изведal на собственной шкуре, что в стране приверженцев Христа идти против старых предрассудков не менее опасно, чем в стране почитателей Великого Ламы. Он был не настолько силен, чтобы пренебречь

---

<sup>1</sup> запрет (лат.).

общественным мнением. Он уже растратил довольно значительную долю своего капитала; ему нигде не удавалось найти службу, все было перед ним закрыто. Он изводил себя, напрасно негодуя против оскорблений этого неумолимого города. Здоровье его, надорванное излишествами и лихорадками, не выдержало. Он умер от удара через пять месяцев после свадьбы. Четыре месяца спустя жена его, добрая, но слабая и глуповатая женщина, которая с самого дня свадьбы не переставала проливать слезы, умерла от родов, оставив маленькую Анну одну на свете.

Мать Мартина была еще жива. Она ничего не простила, даже на смертном одре, ни сыну своему, ни той, которую так и не пожелала признать своей невесткой. Но когда невестка умерла и святое возмездие свершилось, она взяла ребенка и оставила его у себя. Это была тупо набожная женщина, богатая и скупая, владелица магазина шелковых тканей на одной из темных улиц старого города. Она обращалась с дочерью своего сына не как с внучкой, а скорее как с сироткой, которую берут из милости и которая в благодарность обязана быть чуть ли не прислугой. Правда, она дала ей хорошее образование, но относилась к ней всегда с каким-то суровым недоверием: казалось, она считала ребенка виновным в грехе родителей и ожесточенно преследовала этот грех в нем. Она не разрешала девочке никаких развлечений; точно преступление, она вытравила все живое и естественное в ее движениях, словах и даже мыслях. Она убила радость жизни в этом юном существе. Анна рано привыкла скучать в церкви и не показывать этого; ее окружали ужасы ада; детские глаза ее из-под полуопущенных век каждое воскресенье с испугом разглядывали на дверях старого собора грешников в образе нескромных и судорожно скрюченных фигур, обьятых между ног пламенем и покрытых ползущими вдоль бедер жабами и змеями. Она привыкла подавлять свои инстинкты, лгать самой себе. Как только она достигла того возраста, когда могла помогать бабушке, ее с утра до вечера заставляли работать в темном магазине. Она переняла царившие вокруг нее привычки, дух порядка, угрюмой бережливости, ненужных лишений, скучающее

равнодушие, презрительный и мрачный взгляд на жизнь — естественные следствия религиозной набожности у людей, не религиозных по натуре. Она предалась такому благочестию, которое даже старухе казалось преувеличенным; она злоупотребляла постами и умерщвлением плоти; одно время она вздумала было носить корсет, утыканный булавками, которые впивались ей в тело при каждом движении. Видели, как она бледнела, но не знали, что с ней. Наконец, заметив, что она чахнет, позвали к ней доктора. Анна не согласилась на осмотр (она скорее умерла бы, чем разделась перед мужчиной), но призналась, и доктор устроил ей такую бурную сцену, что она обещала больше не делать этого. Бабушка для пущей верности стала с тех пор осматривать ее одежду. Анна не находила в этих пытках, как могло бы казаться, мистического наслаждения; у нее было слабое воображение, она бы не поняла поэзии Франциска Ассизского или св. Терезы. Благочестие ее было безрадостным и чисто внешним. Терзала она себя не ради благ, ожидаемых в будущей жизни, а от какой-то жестокой, гнетущей тоски, находя почти злобное удовольствие в той боли, которую она себе причиняла. По некоему странному исключению, эта душа — жесткая и холодная, как у бабки, — была восприимчива к музыке, сама не ведая, до какой глубины. Ко всем другим искусствам Анна была равнодушна; она, быть может, ни разу в жизни не взглянула на картину; казалось, ей совершенно чуждо чувство пластической красоты, — настолько в гордом своем безразличии она была лишена вкуса; представление о прекрасном теле вызывало в ней лишь представление о наготы, иными словами, как у мужика, о котором говорит Толстой, — чувство отвращения; это отвращение было тем сильнее, что, когда кто-нибудь ей нравился, она смутно ощущала, до какой степени глухое жало желания сильнее в ней спокойных эстетических впечатлений. Она так же мало подозревала о своей красоте, как и о силе своих подавленных инстинктов; или, вернее, не желала об этом знать и, привыкнув лицемерить, успешно продолжала обманывать себя.

Браун встретил ее на одном свадебном обеде, куда ее пригласили в виде исключения, так как вообще ее ни-

куда не приглашали из-за дурной репутации, тяготеющей над нею по причине ее предосудительного происхождения. Ей было двадцать два года. Браун заметил ее. Нельзя сказать, чтобы она старалась обратить на себя внимание. Сидя за столом рядом с ним навывтяжку, безвкусно одетая, она почти не раскрывала рта. Но Браун, в течение всего обеда не перестававший говорить с ней, то есть говорить один, вернулся домой в восхищении. Несмотря на свой заурядный вкус, он поражен был девственной чистотой своей соседки; он восторгался ее здравым смыслом и спокойствием; он оценил также ее цветущее здоровье и основательные хозяйственные таланты, которыми она, повидимому, обладала. Он сделал визит бабушке, пришел вторично, сделал предложение и получил согласие. Приданого — никакого; г-жа Зенфль завещала городу, для торговых экспедиций, все свое состояние.

Ни одной минуты молодая женщина не испытывала любви к своему мужу; это было чувство, о котором, казалось ей, и речи не может быть в жизни порядочных людей и которое надо гнать от себя, как греховное. Но она ценила доброту Брауна и была благодарна ему, хотя и не показывала этого, за то, что он женился на ней, несмотря на ее сомнительное происхождение. К тому же у нее сильно было развито чувство супружеской чести. За семь лет их брака ничто не омрачило их союза. Они жили бок о бок, не понимая друг друга и нисколько об этом не беспокоясь; в глазах общества они представляли собой образец примерной четы. Они мало где бывали. У Брауна было довольно многочисленное знакомство среди клиентов, но ему не удалось ввести туда жену. Она никому не нравилась, да и темное пятно ее рождения еще не вполне стерлось. Анна, со своей стороны, ничего не предпринимала, чтобы быть принятой в обществе. Она помнила обиды, омрачавшие ее детство. Кроме того, она стеснялась на людях и не жалела, что ее забывают. Она делала и принимала лишь неизбежные визиты, когда этого требовали интересы мужа. Гостиными ее были мелкие мешаночки, любопытные и любящие позлословить. Их сплетни совершенно не занимали Анну, и она даже не старалась скрывать своего равнодушия. А этого не прощают. Посещения становились все реже

и реже, и Анна оставалась в одиночестве. Этого только она и желала: ничто больше не нарушало обычной ее мечтательности и смутного томления ее плоти.

Уже несколько недель Анна казалась совсем больной. Лицо ее осунулось. Она избегала общества Кристофа и Брауна. Проводила дни у себя в комнате, погруженная в свои мысли; не отвечала, когда с ней заговаривали. Браун по обыкновению не слишком тревожился этими женскими причудами. Он растолковывал их Кристофу. Как почти все мужчины, которым суждено быть обманутым женщинами, он кичился тем, что отлично их знает. И действительно, он изучил их довольно хорошо, что, однако, ничего не меняет. Он знал, что у них часто бывают приступы какой-то упрямой мечтательности, упорной и враждебной молчаливости, и считал, что их следует оставлять в покое, не пытаться ничего выяснять и особенно не допускать, чтобы они сами пытались понять опасный подсознательный мир, в который погружен их дух. Тем не менее здоровье Анны начинало его тревожить. Он решил, что она чахнет от своего образа жизни, что вредно оставаться вечно взаперти, никогда не выезжать за город, почти не выходить из дому. Он хотел, чтобы она делала прогулки. Сам он не мог сопровождать ее: по воскресеньям она была занята своими благочестивыми делами, а в остальные дни у него был прием больных. Что же касается Кристофа, то он избегал выходить с нею. Раза два они сделали вместе небольшую прогулку до городской заставы, — скука была смертельная. Разговор не клеился. Природа, казалось, не существовала для Анны; она ничего не замечала и в любом красивом пейзаже видела лишь траву да камни; ее бесчувственность замораживала. Кристоф попытался было заставить ее полюбоваться красивым видом. Она поглядела, холодно улыбнулась и, сделав над собой усилие, чтобы быть ему приятной, сказала:

— О да, это таинственно...

Точно таким же тоном она сказала бы: «Здесь много солнца»,

Кристоф от раздражения вонзил ногти в ладонь и с тех пор больше к ней не обращался; а когда она выходила, он выискивал предлог, чтобы остаться дома. На самом деле Анна вовсе не была равнодушна к природе. Она не любила того, что принято называть красивым пейзажем, — она не отличала его от других. Но она любила сельскую природу, любую природу — землю и воздух. Только она не подозревала об этом, так же как и о других своих сильных чувствах; и тот, кто жил с нею, еще меньше об этом подозревал.

После долгих настояний Брауну удалось уговорить жену провести день за городом. Она уступила ему от скуки, лишь бы ее оставили в покое. Прогулка назначена была на одно из воскресений. В последнюю минуту доктора, который по-детски радовался этой прогулке, спешно вызвали к больному. Кристоф отправился с Анной вдвоем.

Прекрасный зимний бесснежный день; воздух чист и морозен, небо ясно, яркое солнце и леденящий ветер. Они сели в поезд местной железнодорожной ветки, который помчал их к одной из цепей голубеющих холмов, далеким ореолом окружавших город. Вагон был переполнен; они сидели далеко друг от друга. Они не разговаривали. Анна была мрачна; накануне она, к удивлению Брауна, заявила, что не пойдет завтра к обеду. Первый раз в своей жизни она пропускала службу. Был ли это бунт? Кто мог бы сказать, какая борьба в ней происходила? Она пристально глядела на противоположную скамейку; она была бледна.

Они сошли с поезда. В начале прогулки неприязненная холодность все еще сковывала их. Они шли бок о бок; она шагала решительно, не глядя по сторонам, непринужденно размахивая руками; ее каблуки звонко постукивали по мерзлой земле. Мало-помалу лицо ее оживилось. От быстрой ходьбы бледные щеки зарумянились. Рот полуоткрылся, вдыхая свежесть воздуха. За поворотом извилистой дороги она вдруг стала карабкаться на холм — прямо вверх, как козочка; она пробиралась по краю каменистого откоса, цепляясь за кусты, чтобы не упасть. Кристоф следовал за нею. Она

взбиралась все быстрее, скользя и хватаясь за траву. Кристоф крикнул ей, прося остановиться. Она не отвечала и продолжала карабкаться на четвереньках. Пройдя сквозь туман, тянувшийся над долиной, как серебряная раздвигавшаяся о кусты вуаль, они очутились наверху под горячим солнцем. Взойдя на вершину, она обернулась; лицо ее было освещено, открытый рот жадно дышал. Она насмешливо поглядела на Кристофа, который все еще взбирался по склону, сняла с себя плащ, кинула его Кристофу в лицо и, не дожидаясь, пока он передохнет, продолжала свой бег. Кристоф погнался за нею. Они входили во вкус игры — воздух опьянял их. Она ринулась вниз по крутому склону; камни катились у нее из-под ног; она не спотыкалась — она скользила, прыгала, летела как стрела. Время от времени она оборачивалась, чтобы измерить, насколько она опередила Кристофа. Он настигал ее. Она кинулась в лес. Сухие листья хрустели у них под ногами; ветви, которые она раздвигала, хлестали его по лицу. Она споткнулась о корни дерева. Кристоф схватил ее. Она отбивалась руками и ногами, награждая его тумаками, стараясь повалить на землю; она кричала и смеялась. Прижимаясь грудью к его груди, она тяжело дышала; на мгновение щеки их соприкоснулись; он втягивал в себя испарину, покрывшую виски Анны; он вдохнул запах влажных ее волос. Сильным толчком она высвободилась и посмотрела на него без всякого смущения, вызывающим взглядом. Он был ошеломлен силой, которая таилась в ней и которую она никак не проявляла в повседневной жизни.

Они направились в ближайшую деревню, весело топчя сухое жнивье, которое топорщилось у них под ногами. Перед ними разлетались рыскавшие по полю вороны. Солнце палило, а холодный ветер резал лицо. Кристоф держал Анну под руку. На ней было легкое платье; он чувствовал сквозь ткань ее влажное и разгоряченное тело. Он предложил ей накинуть плащ; она отказалась и из озорства расстегнула ворот. Они сели за стол в маленьком трактире, с вывеской, изображавшей «дикаря» (Zum wilden Mann). У дверей росла елочка. Зал был украшен немецкими четверостишиями, двумя литографиями — одной сентиментальной: «Весною» («Im Frühling»),

другой библейской: «Битва святого Иакова», распятием и черепом у подножия креста. Анна ела с каким-то зверским аппетитом, которого Кристоф раньше за нею не знал. Они весело попивали легкое белое вино. После обеда они пустились в путь по полям, как добрые товарищи. Ни одной утаенной мысли. Они просто радовались быстрой ходьбе, крови, которая пела в их телах, хлеставшему их ветру. У Анны развязался язык. Она перестала дичиться: она говорила наобум все, что приходило ей в голову.

Она заговорила о своем детстве. Бабушка брала ее с собой к старой приятельнице, которая жила около собора; пока старухи беседовали, ее отправляли в большой сад, над которым нависала тень собора. Она садилась в уголку и не двигалась. Прислушивалась к шелесту листвы; следила, как копошились вокруг насекомые, и ей было радостно и жутко. Она умолчала о том, что боялась чертей: ее воображение было одержимо ими; ей говорили, будто они бродят вокруг церквей, не смея туда войти; и они мерещились ей в образе животных: пауков, ящериц, муравьев — маленьких уродливых существ, кишевших под листвою, на земле или в трещинах стен. Затем она рассказала о доме, в котором она жила, о своей комнате, куда не проникало солнце; она вспоминала о ней с удовольствием; там она проводила бессонные ночи, сочиняя разные истории.

— Какие истории?

— Глупые истории.

— Расскажите.

Она отрицательно покачала головой.

— Почему?

Она покраснела, потом засмеялась и прибавила:

— И днем тоже, во время работы.

На мгновение она задумалась, снова засмеялась и повторила:

— Это были глупые истории, скверные истории.

Он сказал шутя:

— Значит, вы не боялись?

— Чего?

— Быть осужденной на вечные муки?

Лицо ее сразу оледенело.



— Не надо говорить об этом, — сказала она.

Он переменял разговор. Он подивился той силе, которую она проявила в борьбе с ним. Лицо ее снова приняло доверчивое выражение, и она рассказала о своих детских подвигах. (Она называла их «мальчишескими», потому что, когда она была маленькой, ее всегда тянуло участвовать в играх и драках мальчишек.) Однажды, играя с маленьким товарищем, который на целую голову был выше ее, она вдруг ударила его кулаком, ожидая, что он даст сдачи. Но он удрал, крича, что она избивала его. В другой раз, в деревне, она взобралась на спину мирно пасущейся черной коровы; испуганное животное сбросило ее, и Анна так ударилась о дерево, что чуть не расшиблась насмерть. Она вздумала также выпрыгнуть из окна второго этажа — только чтобы узнать, сможет ли она на это решиться; по счастью, она отделалась только вывихом ноги. Когда ее оставляли дома одну, она придумывала странные и опасные упражнения, подвергая свое тело необыкновенным и разнообразным испытаниям.

— Кто поверил бы этому, — сказал он, — видя вас такой степенной и холодной?

— О! — возразила она. — Если бы вы меня видели иногда, когда я одна у себя в комнате!

— Как! И теперь еще?

Она засмеялась. Перескакивая с одной темы на другую, она спросила его, охотится ли он. Он с горячностью запротестовал. Она объявила, что однажды выстрелила в дрозда и попала. Кристоф возмущился.

— Вот еще! — сказала она. — Что ж тут такого?

— Стало быть, вы бессердечны?

— Право, не знаю.

— Разве вы не думаете, что животные такие же существа, как и мы?

— Думаю, — отвечала она. — Я как раз хотела вас спросить, верите ли вы, что у животных есть душа?

— Да, верю.

— Пастор говорит, что нет. А я думаю, что у них есть душа. К тому же, — добавила она очень серьезно, — я думаю, что в предшествующей жизни я была животным.

Он рассмеялся.

— Нечего смеяться, — сказала она. (Она тоже смеялась.) — Это одна из тех историй, которые я рассказывала себе в детстве. Я воображала себя кошкой, собакой, птицей, жеребенком, телкой. Я ощущала их желания. Мне хотелось побыть, хотя бы часок, в их шкуре или оперении; мне чудилось, что это так и было. Вам это непонятно?

— Вы — странный зверь. Но если вы чувствуете в себе родство с животными, так как же вы можете делать им больно?

— Всегда кому-нибудь делаешь больно. Одни заставляют страдать меня, а я мучаю других. Это в порядке вещей. Я не жалеюсь. В жизни нельзя быть такой неженкой! Я и сама себе часто делаю больно ради удовольствия!

— Сама себе?

— Ну, да. Поглядите. Однажды молотком я вбила себе гвоздь вот в эту руку.

— Зачем?

— Да просто так.

(Она не сказала о том, что хотела распять себя.)

— Дайте мне руку, — сказала она.

— Для чего она вам?

— Дайте.

Он протянул руку. Она схватила ее и стиснула так, что он чуть не вскрикнул. Они боролись и дурили, как крестьянская парочка, стараясь сделать больно друг другу. Они были счастливы без всякой задней мысли. Весь остальной мир, их житейские оковы, печали прошлого, опасения будущего, назревавшая в них гроза — все это куда-то исчезло.

Они уже прошли несколько миль, но совсем не чувствовали усталости. Внезапно Анна остановилась, бросилась наземь, растянулась на жнивье и замолчала. Лежа на спине, закинув руки за голову, она смотрела на небо. Какой покой! Какая ясность! В нескольких шагах от них прерывистой струйкой, как артерия, бьющаяся то сильнее, то слабее, пробивался скрытый родник. Горизонт был перламутровый. Над лиловой землей, на которой торчали голые черные деревья, поднимался

туман. Солнце поздней зимы, юное, бледнозолотистое, лениво дремлющее солнце. Птицы, точно сверкающие стрелы, пронизывали воздух. Ласковые голоса деревенских колоколов перекликались друг с другом, от села к селу. Сидя рядом с Анной, Кристоф разглядывал ее. Она как будто забыла о нем. Ее прекрасный рот безмолвно улыбался. Кристоф думал:

«— Вы ли это? Я вас не узнаю.

— Я тоже, я тоже. Мне кажется, будто я — другая. Я уже не боюсь; я уже не боюсь Его... Ах! Как Он душил меня, как Он заставлял меня страдать! Мне кажется, будто я лежала в заколоченном гробу... Теперь я дышу; это тело, это сердце — мои. Мое тело. Мое свободное тело, мое свободное сердце, моя сила, моя красота, моя радость! Я не знала их, я сама себя не знала! Что сделали вы со мною?..»

Ему чудилось, будто он слышит эти слова, когда она тихо вздыхала. Но она ни о чем не думала — разве о том, что она счастлива и что все хорошо.

Уже спускался вечер. Начиная с четырех часов, под завесами серо-лиловых туманов, устав жить, угасало солнце. Кристоф встал и подошел к Анне. Он склонился над нею. Она обратила к нему взгляд, еще опьяненный бесконечной глубиной неба. Прошло несколько мгновений, прежде чем она узнала Кристофа. Тогда глаза ее посмотрели на него в упор, с какой-то загадочной улыбкой, заразившей его тревогой. Чтобы избежать ее власти, он на мгновение закрыл глаза. Когда он снова открыл их, она все еще смотрела на него; и ему почудилось, что уже много дней они смотрят вот так друг на друга. Они читали друг у друга в душе. Но им не хотелось знать того, что они прочли.

Он протянул ей руку. Она молча взяла ее. Они вернулись в деревню, башни которой, похожие на пиковые тузы, возвышались вдали, в глубине долины. На верхушке одной из башен, крытой черепицей и поросшей мхом, точно шапка на голове, торчало пустое гнездо аиста. У самой деревни, на перекрестке двух дорог, они прошли мимо фонтана, на котором с протянутыми ру-

ками стояла деревянная фигура — католическая святая, Магдалина, грациозная и несколько жеманная. В ответ на ее жест Анна невольно протянула к ней руки и, поднявшись на край водоема, наполнила ладони красивой богини ветками дикого терновника и красными гроздьями рябины, уцелевшими от мороза и птиц.

По дороге им встречались группы по-праздничному одетых крестьян и крестьянок. Смуглолицые женщины с очень румяными щеками, с густыми заложенными за уши косами, в светлых платьях, в шляпах, украшенных цветами. У них были белые перчатки и красные руки. Они благодушно распевали чинные песни пронзительно и довольно фальшиво. Где-то в хлеву мычала корова. Водном из домов кашлял больной коклюшем ребенок. Издали доносились звуки гнусавого кларнета и корнет-а-пистона. На деревенской площади, между трактиром и кладбищем, плясали. Четверо музыкантов играли, примостившись на столе. Анна и Кристоф уселись перед трактиром и принялись смотреть на танцующих. Пары сталкивались и звонко перебранивались. Девушки взвизгивали просто ради удовольствия покричать. Трактирные посетители отбивали такт, стуча кулаками по столу. В другое время это грубое веселье было бы противно Анне, но в этот вечер она наслаждалась им; она сняла шляпу и наблюдала за танцами с оживленным лицом. Кристоф умирал со смеху от чопорной серьезности музыки и музыкантов. Он порылся в карманах, разыскал карандаш и на оборотной стороне трактирного счета стал набрасывать полоски и точки: он писал музыку для танцев. Листок скоро был заполнен; он попросил еще несколько листов, которые исписал, так же как и первый, крупным, нетерпеливым и неуклюжим почерком. Анна, прильнув щекой к его щеке, читала через его плечо, напевая вполголоса; она старалась угадать конец фразы и хлопала в ладоши, если угадывала или если ее догадки опровергались каким-нибудь неожиданным вывертом. Кончив, Кристоф отнес музыкантам то, что написал. Это были славные швабы, отлично знавшие свое ремесло; они, глазом не моргнув, все разобрали. Эти мотивы были полны сентиментального и забавного юмора, со спотыкающимися ритмами, как бы прерываемыми взрывами смеха.

Невозможно было устоять против их буйной удали: ноги плясали сами собой. Анна бросилась в хоровод, наугад схватила чьи-то руки; она кружилась, как сумасшедшая; черепаховая шпилька выскочила у нее из волос, кудри растрепались и рассыпались по щекам. Кристоф не спускал с нее глаз: он любовался этим прекрасным, сильным животным, которого безжалостная дисциплина до сих пор обрекала на безмолвие и неподвижность; она являлась ему такой, какой не видел ее никто, такой, какой она была на самом деле под не свойственной ей личиной: опьяненная своей силой вакханка. Она позвала его. Он подбежал и обнял ее. Они плясали до тех пор, пока, кружась, не стукнулись об стену. Они остановились ошеломленные. Была уже поздняя ночь. Передохнув минуту, они распростились со всей компанией. Анна, от застенчивости или от презрения обычно такая надменная с простым людом, ласково протянула руку музыкантам, хозяину, парням, рядом с которыми она плясала в хороводе.

Они снова счутились одни под сверкающим морозным небом, — им предстояло пройти по полю тем же путем, что утром. Анна все еще была полна оживления. Мало-помалу она стала говорить меньше, потом совсем умолкла, охваченная усталостью или таинственным волнением ночи. Она нежно опиралась на Кристофа. Спускаясь по склону, на который она карабкалась еще недавно, она вздохнула. Они пришли на станцию. У первого дома он остановился, чтобы поглядеть на нее. Она тоже взглянула на него и печально улыбнулась.

В поезде — такая же толпа, как и утром. Они не могли разговаривать. Сидя напротив нее, он не сводил с нее глаз. Глаза ее были опущены; она подняла их на него, потом отвела в сторону, и ему больше не удалось встретить ее взгляд. Она глядела в окно, в темноту. Смутная улыбка блуждала на ее губах, в уголках рта затаилась усталость. Потом улыбка исчезла. Лицо приняло хмурое выражение. Кристофу показалось, что она засыпает, убаюканная движением поезда, и он попробовал с нею заговорить. Она ответила холодно, односложно, не поворачивая головы. Он старался убедить себя, что причина этой перемены — усталость, но от-

лично знал, что причина — иная. Он видел, как по мере приближения к городу лицо Анны застывало, как потухала в нем жизнь, как это прекрасное, полное дикой грации тело замыкалось в свою каменную оболочку. Выходя из вагона, она уже не оперлась на его протянутую руку. Они вернулись домой в полном молчании.

Несколько дней спустя, под вечер, часа в четыре, они очутились вдвоем. Браун ушел. Город со вчерашнего дня окутан был бледнозеленым туманом. Ропот невидимой реки усиливался. Во мгле вспыхивали молнии электрических трамваев. Дневной свет постепенно угасал; он как будто был вне времени; наступил один из тех часов, когда теряется всякое сознание реальности, час вне веков. После резкого северного ветра предшествующих дней влажный воздух, внезапно смягчившись, стал теплым и нежным. Небо, казалось, набухало снегом и никло под его тяжестью.

Они были одни в гостиной, такой же холодной и чопорной, как сама хозяйка. Они не разговаривали. Он читал. Она шила. Он встал и подошел к окну; он прижался своим крупным лицом к стеклу и задумался. Этот тусклый свет, падавший с темного неба на синеватую землю, вызывал у Кристофа головокружение, и в мыслях у него была тревога; напрасно старался он сосредоточиться: они ускользали от него. Его охватила тоска, он чувствовал себя поглощенным ею, и в пустоте его души, из-под развалин, словно медленный вихрь поднимался палящий ветер. Кристоф стоял спиной к Анне. Она не видела его; она погружена была в свою работу, но легкий трепет пробегал по ее телу; несколько раз она укололась иглой и не почувствовала этого. Оба были заморожены приближением опасности.

Он вырвался из оцепенения и прошелся по комнате. Рояль притягивал и страшил его. Он избегал на него глядеть. Но, проходя мимо, он не удержался и коснулся рукою клавишей. Звук затрепетал, как голос. Анна вздрогнула и уронила работу. Кристоф уже сидел за роялем и играл. Он, не глядя, почувствовал, что Анна поднялась, что она идет к нему, что она уже рядом. Еще

не отдавая себе отчета в том, что он делает, он заиграл церковную и в то же время страстную мелодию, которую она пела в первый раз, когда раскрылась ее душа; он импровизировал на эту тему бурные вариации. Он не сказал ни слова, а она уже пела. Они утратили чувство окружающего. Священное безумие музыки унесло их в своих когтях...

О музыка, открывающая бездны души! Ты разрушаешь привычное равновесие ума. В обыденной жизни обыденные души — точно запертые комнаты. Там увядают нетронутые силы, добродетели и пороки, пользоваться которыми мы не решаемся; осторожный, практический разум, трусливый здравый смысл хранят ключи от этой комнаты. Они показывают лишь несколько аккуратно прибранных шкапов. Но музыка владеет волшебным жезлом, и от его прикосновения сами собой падают все затворы. Двери распахиваются. Демоны сердца вырываются наружу. И душа видит себя обнаженной... Пока поет сирена, укротитель взглядом своим властвует над дикими зверьми. Мощный дух музыканта зачаровывает раскованные им страсти, но, когда смолкает музыка, когда укротителя уже нет, страсти, ими пробужденные, рычат в сотрясаемой клетке и ищут добычи...

Мелодия кончилась. Молчание... Во время пения Анна положила руку на плечо Кристофа. Они не смели шевельнуться; они дрожали... Вдруг — это было точно молния — она склонилась к нему, он потянулся к ней, губы их встретились, он впивал ее дыхание...

Она оттолкнула его и убежала. Он продолжал неподвижно сидеть в темноте. Вернулся Браун. Они пошли в столовую. Кристоф не в состоянии был думать. Анна, казалось, отсутствовала; она глядела куда-то мимо. Вскоре после ужина она ушла к себе в комнату. Кристоф, не в силах оставаться наедине с Брауном, тоже удалился.

Около полуночи, когда доктор уже лег, его вызвали к больному. Кристоф слышал, как он спустился по лестнице и вышел. С шести часов вечера шел снег. Дома и улицы были занесены сугробами. Воздух был точно набит ватой. Ни шагов, ни стука колес не доносилось сна-

ружи. Город казался мертвым. Кристоф не спал. Он испытывал ужас, возраставший с каждой минутой. Пригвожденный к постели, лежа на спине с открытыми глазами, он не мог пошевелиться. Металлические отблески, исходившие от земли и белых крыш, скользили по стенам комнаты. Неуловимый шорох заставлял его вздрогнуть. Нужно было иметь настороженный слух, чтобы уловить его. Шелест по полу коридора. Кристоф приподнялся в постели. Легкий шум приблизился, замер, скрипнула половица. Кто-то был за дверью, ждал... Полная неподвижность в течение нескольких секунд, нескольких минут, быть может... Кристоф уже не дышал, он был весь в испарине. Хлопья снега, точно крылья птицы, задевали снаружи оконное стекло. Чья-то рука нащупала дверь, и она отворилась. На пороге показалась белая фигура; она медленно подошла; в нескольких шагах от кровати она остановилась. Кристоф ничего не различал, но он слышал ее дыхание и слышал, как билось его собственное сердце... Она подошла к постели. Снова остановилась. Их взгляды напрасно искали друг друга во мраке... Она упала к нему на грудь. Они обнялись в полном молчании, без единого слова, с какой-то яростью...

Час, два часа, целое столетие... Входная дверь хлопнула. Анна высвободилась из его объятий, соскользнула с постели и покинула Кристофа так же безмолвно, как и пришла. Он слышал удаляющийся шорох ее босых ног, быстро скользящих по паркету. Она вернулась в свою комнату, где Браун нашел ее уже в постели и, казалось, спящей. Так пролежала она всю ночь с открытыми глазами, затаив дыхание, неподвижная, в узкой постели, подле спящего Брауна. Сколько ночей провела она уже так!

Кристоф тоже не спал. Он был в отчаянии. Этот человек относился к вопросам любви и особенно брака с трагической серьезностью. Он ненавидел легкомыслие писателей, которые со смаком расписывают адюльтер. Прелюбодеяние внушало ему смерзение, и в этом сочеталась простонародная его грубость и нравственная высота. К женщине, принадлежащей другому, он чувствовал



одновременно благоговейное почтение и физическое отвращение. Собачьи связи, процветающие в высшем европейском обществе, вызывали в нем тошноту. Прелюбодеяние с согласия мужа — грязь; без ведома мужа — гнусная ложь подлого слуги, который исподтишка предает и позорит своего господина. Сколько раз Кристоф беспощадно осуждал тех, кого считал виновными в подобной низости! Он расходился с друзьями, которые бесчестили себя таким образом. И вот сам он заклеил себя тем же позором. Обстоятельства, сопровождавшие его преступление, делали его еще более отвратительным. Он пришел в этот дом больным и несчастным. Друг принял его, помог ему, утешил его. Ни разу доброта не изменила ему. Ничто не было ему в тягость. Он был обязан другу тем, что остался в живых. И вот в благодарность он украл у этого человека честь и счастье, его скромное семейное счастье! Он гнусно предал его, и с кем? С женщиной, которую он не знал, не понимал и не любил. Не любил? Вся кровь взбунтовалась в нем. Любовь — слишком бледное слово, чтобы выразить поток пламени, охватывавший его, как только он начинал о ней думать. Это не была любовь, это было в тысячу раз сильнее любви. Он провел ночь в смятении. Он вставал, смачивал лицо ледяной водой, он задышался и дрожал. Возбуждение кончилось приступом лихорадки.

Когда он встал, совсем разбитый, он подумал, что она, должно быть, подавлена стыдом гораздо больше, чем он. Он подошел к окну. На ослепительном снегу сверкало солнце. В саду Анна развешивала на веревке белье. Она была занята своей работой, и ничто, казалось, не волновало ее. В ее походке и движениях появилось какое-то новое величие и благородство, благодаря чему она, сама того не зная, приобретала пластичность статуи.

В полдень, за обедом, они встретились. Браун отлучился на весь день. Кристоф ни за что не вынес бы встречи с ним. Он хотел поговорить с Анной. Но они были не одни: служанка то и дело входила в комнату; они должны были следить за собой. Кристоф тщетно искал взгляда Анны. Она не глядела на него. Ни тени

смущения, и все время, в малейших ее движениях — несбыточная уверенность и благородство. После обеда он надеялся, что им удастся, наконец, поговорить, но служанка медлила убирать со стола; и, когда они перешли в соседнюю комнату, она устроила так, чтобы последовать за ними: ей то и дело надо было что-нибудь взять или принести; она шныряла по коридору, около полуоткрытой двери, которую Анна не торопилась затворить; можно было подумать, что она выслеживает их. Анна уселась у окна со своим вечным рукоделием. Кристоф, забившись в кресло, спиной к свету, сидел с раскрытой книгой в руках и не мог читать. Анна, взглянув на него искоса, сразу заметила, как измучено его лицо, обращенное к стене, и улыбнулась жестокой улыбкой. С крыши дома, с дерева в саду, позвякивая, капал на песок тающий снег. Издали доносился смех детей, играющих на улице в снежки. Анна, казалось, задремала. Молчание терзало Кристофа; ему хотелось кричать от муки.

Служанка спустилась, наконец, в нижний этаж и вышла из дому. Кристоф поднялся, обернулся к Анне и хотел было сказать: «Анна! Анна! Что мы сделали!»

Анна смотрела на него; глаза ее, только что упрямо опущенные, снова широко раскрылись. Они обожгли Кристофа своим всепожирающим огнем. Его точно ударило в грудь, он пошатнулся; все, что он собирался сказать, было забыто в одно мгновение. Они кинулись друг к другу и снова слились в объятии...

Разливалась вечерняя тень. Кровь их еще бурлила. Она лежала, вытянувшись на постели, платье с нее было сорвано, руки раскинуты, — она не сделала ни малейшего движения, чтобы прикрыть свое тело. Он стонал, зарывшись лицом в подушку. Она потянулась к нему и приподняла его голову, лаская пальцами его глаза, его рот; она приблизила к нему лицо, погрузила свой взгляд во взгляд Кристофа. В глазах ее была глубина озера; они улыбались, равнодушные к страданиям. Сознание померкло. Он умолк. Точно большие волны, их колыхали содрогания...

В эту ночь, наедине с собою, вернувшись в свою комнату, Кристоф подумал о самоубийстве.

На следующее утро, как только он встал, он принялся искать Анну. Теперь уже его глаза избегали ее взгляда. Едва лишь он встречал его, все, что он хотел сказать, исчезало из мыслей. Однако он сделал над собой усилие и начал говорить о низости их поступка. Как только она поняла его, она порывисто закрыла ему рот рукой. Она отстранилась от него, сдвинув брови, сжав губы, со злобой в лице. Он продолжал. Она швырнула на пол рукоделье, отворила дверь и хотела уйти. Он схватил ее за руку, снова затворил дверь, с горечью сказал, что она очень счастливая, если может вычеркнуть из мыслей сознание совершенного зла. Яростно вырываясь от него, она с гневом воскликнула:

— Замолчи! Трус! Разве ты не видишь, как я страдаю! Я не хочу, чтобы ты говорил. Оставь меня!

Ее лицо осунулось, глаза были злые и испуганные, как у зверя, которого мучают; она убила бы его взглядом, если бы только могла. Он отпустил ее. Чтобы укрыться от него, она бросилась в другой конец комнаты. У него не было охоты идти за ней. Сердце его сжалось от горечи и ужаса. Вернулся Браун. Они тупо поглядели на него. Вне их страдания ничто для них не существовало.

Кристоф вышел. Браун и Анна сели за стол. Посреди обеда Браун внезапно встал, чтобы распахнуть окно: Анна упала в обморок.

Кристоф под предлогом какой-то поездки на две недели исчез из города. Анна целую неделю, за исключением обеденных часов, провела взаперти у себя в комнате. Она снова была во власти угрызений совести, привычек всей своей прошлой жизни, от которых, казалось ей, она освободилась, но от которых не освобождаются никогда. Напрасно старалась она закрыть глаза. Тревога с каждым днем все дальше прокладывала себе путь, все глубже внедрялась в ее сердце, пока окончательно не водворилась в нем. В это воскресенье она опять отказалась идти в храм. Но в следующее воскресенье она вернулась к церкви и уже не покидала ее больше. Она вернулась туда не покорная, но побежденная. Бог был врагом — врагом, от которого она не могла избавиться.

Она шла к нему с глухой злобой раба, вынужденного повиноваться. Лицо ее во время богослужения не выражало ничего, кроме враждебной холодности, но в глубине ее души таилось дикое ожесточение и шла упорная борьба с карающим богом, преследующим ее своим укором. Она притворялась, будто не слышит его. Но она должна была слышать и со стиснутыми зубами, с резкой морщиной на лбу, с суровым взглядом упрямо препиралась с богом. О Кристофе она думала с ненавистью. Она не прощала ему, что он на мгновение вырвал ее душу из темницы и снова дал ей упасть туда, в руки палачей. Она перестала спать; днем и ночью ее терзали все те же мучительные думы; она не жаловалась; она бродила, упрямая, продолжая управлять всем домом и выполнять все свои обязанности, сохраняя до конца непоколебимость и упорство своей воли в повседневной жизни, в которой все дела она совершала с точностью машины. Она худела на глазах; ее, казалось, снедал какой-то внутренний недуг. Браун расспрашивал ее с беспокойной нежностью; он хотел было выслушать ее. Она яростно оттолкнула его. Чем больше она чувствовала себя виновной перед ним, тем суровее к нему становилась.

Кристоф решил не возвращаться. Он старался сломить себя усталостью. Он совершал большие поездки, делал трудные упражнения, он греб, ходил, карабкался по горам. Ничем не удавалось ему погасить огня.

Он был одержим страстью. У гениев страсть — неодолимая потребность природы. Даже наиболее целомудренным — Бетховену, Брукнеру — всегда необходимо было любить; все человеческие силы в них напряжены; и так как эти силы захвачены у них воображением, то мозг их вечно во власти страстей. По большей части это лишь мимолетные вспышки: одна разрушает другую, и все поглощаются пожаром творческого духа. Но едва лишь пламя горна перестает наполнять душу, — и беззащитная душа становится добычей страстей, без которых она не может обойтись, она их жаждет, она их создает; они должны пожирать ее. И, кроме того, наряду с властным желанием, терзающим плоть, есть потребность в нежности, толкающая утомленного и обманутого жизнью человека в материнские объятия утешительницы.

Великий человек более чем кто-либо похож на ребенка; его больше, чем других, тянет довериться женщине, уткнуться лбом в ладони нежных рук, в колени, в складки платья.

Но Кристоф не понимал этого. Он не верил в роковую силу страсти — глупую выдумку романтиков! Он верил, что должен и может бороться, — верил в силу своей воли. Его воля! Куда она девалась? От нее не осталось и следа. Он был одержим. Жало воспоминаний язвило его день и ночь. Запах тела Анны горячил его рот и ноздри. Он был точно тяжелый разбитый корабль без руля, носящийся по воле ветра. Напрасно выбивался он из сил, стараясь уплыть вдаль, — его неизменно отнесло на то же место, и он взывал к ветру:

— Сокруши меня! Чего ты от меня хочешь?

Почему, почему именно эта женщина? За что он любил ее? За сердечные и умственные качества? Он встречал немало женщин умнее, лучше ее. За ее тело? У него были другие любовницы, более привлекательные. Так что же? Что приковывало его к ней? «Любишь потому, что любишь». Да, но существует же какая-то причина, даже если она и не укладывается в обычные наши понятия! Безумие? Это ничего не объясняет. Почему именно такое безумие?

Потому что есть сокровенные тайны души, слепые силы, демоны, которые заточены в каждом человеке. Все усилия человечества, с тех пор как существует человек, были направлены к тому, чтобы противопоставить этому внутреннему морю плотины человеческого разума и человеческих верований. Но пусть только разыграется буря (а богато одаренные души более подвержены бурям) — и рухнут плотины, демоны вырвутся на волю и столкнутся с другими душами, истерзанными такими же демонами. Они бросаются друг к другу и сжимают друг друга в объятиях. Ненависть? Любовь? Ярость взаимного разрушения? Страсть — это хищный зверь.

После двух недель тщетных попыток бежать на край света Кристоф вернулся в дом Анны. Он не мог больше жить вдали от нее. Он задыхался.

Он продолжал, однако, бороться. В тот вечер, когда он вернулся, они нашли предлог, чтобы не видаться, чтобы не обедать вместе; ночью они опасливо заперлись на ключ, каждый в своей комнате. Но чувство оказалось сильнее их. Среди ночи она прибежала, босая, и постучалась к нему в дверь; он отворил; она легла к нему в постель и, вся похолодевшая, вытянулась подле него. Она тихонько плакала. Кристоф чувствовал, как текут по ее щекам слезы. Она старалась успокоиться, но, обессиленная страданием, зарыдала, прижавшись губами к шее Кристофа. Потрясенный ее горем, он позабыл свое собственное; он пытался успокоить ее нежными словами. Она стонала:

— Я так несчастна, я хотела бы умереть...

Эти жалобы пронзали ему сердце. Он хотел поцеловать ее. Она оттолкнула его.

— Я ненавижу вас! Зачем вы вернулись?

Она вырвалась из его объятий и откинулась на другой край кровати. Кровать была узкая. Несмотря на их старания избегать друг друга, они все-таки соприкасались. Анна лежала спиной к Кристофу и дрожала от бешенства и боли. Она смертельно ненавидела его. Кристоф, подавленный, молчал. В тишине Анна услышала его прерывистое дыхание; она внезапно обернулась, обвила его шею руками.

— Бедный Кристоф! — сказала она. — Ты страдаешь из-за меня...

В первый раз он уловил в ее голосе жалость.

— Прости меня, — промолвила она.

Он сказал:

— Простим друг другу.

Она приподнялась, точно не могла больше дышать. Сидя на постели, сгорбленная, подавленная, она сказала:

— Я погибла... Такова воля божья. Он от меня отступился... Я бессильна против него.

Так сидела она долго, потом снова легла и больше уже не двигалась. Слабый свет возвестил зарю. В сумраке Кристоф увидел скорбное лицо, касавшееся его лица. Он прошептал:

— Светает.

Она не шевельнулась.

Он сказал:

— Пусть! Не все ли равно?

Она открыла глаза и поднялась с выражением смертельной усталости. Сидя на краю постели, она глядела в пол. Она промолвила беззвучным голосом;

— Я думала убить его этой ночью.

Он содрогнулся от ужаса.

— Анна! — воскликнул он.

Она с мрачным видом уставилась в окно.

— Анна! — повторил он. — Ради бога! Только не его... Он лучший из нас!

Она повторила:

— Не его. Ты прав.

Они поглядели друг на друга.

Они уже давно понимали это. Они понимали, в чем для них единственный исход. Им невыносимо было жить во лжи. И ни разу они не допускали возможности бежать вдвоем. Им было ясно, что это не разрешило бы вопроса, ибо главная беда была не во внешних препятствиях, их разлучавших, а в них самих, в их несхожих душах. Им так же невозможно было жить вместе, как и жить врозь. Выхода не было.

С этого мгновенья они уже не прикасались друг к другу: над ними нависла тень смерти; они стали священные друг для друга.

Но они избегали назначать срок. Они думали: «Завтра, завтра...» И отводили взгляд от этого завтра. Могучая натура Кристофа противилась и возмущалась; он не соглашался признать поражение, он презирал самоубийство и не мог примириться с таким жалким и куцым завершением большой жизни. Что же до Анны, то как могла она допустить мысль о смерти, обрекающей ее душу на вечную погибель? Но убийственная необходимость надвигалась на них со всех сторон, и кольцо вокруг них мало-помалу сжималось.

В это утро, впервые после своей измены, Кристоф очутился наедине с Брауном. До сих пор ему удавалось избегать его. Эта встреча была для него нестерпима. Пришлось придумать предлог, чтобы не подать ему руки. Пришлось придумать предлог, чтобы не есть за одним

столом: куски застревали в горле. Пожимать ему руку, есть его хлеб — поцелуй Иуды! Ужаснее всего было не презрение к самому себе, а боль при мысли о страданиях Брауна, если бы тот все узнал. Эта мысль распинала Кристофа. Он слишком хорошо знал, что бедный Браун никогда не стал бы мстить, что у него, быть может, даже не хватило бы духа их возненавидеть. Но какое падение! Какими глазами стал бы он смотреть на друга! Кристоф чувствовал, что он не в силах выдержать укор его глаз. Ведь рано или поздно Браун неизбежно догадается обо всем. А разве теперь он ничего не подозревает? Увидя его вновь после двухнедельного отсутствия, Кристоф был поражен совершившейся в нем переменой: Браун стал совсем другим. Не то его веселость исчезла, не то в ней чувствовалась какая-то принужденность. За столом он украдкой поглядывал на Анну, которая не разговаривала, не ела и таяла, как свеча. С робкой и трогательной заботливостью попробовал он было поухаживать за нею; она резко оборвала его; тогда он уткнулся в тарелку и замолчал. Посреди обеда Анна, задыхаясь, швырнула салфетку на стол и вышла. Мужчины молча продолжали есть или делали вид, что едят, — они не смели поднять глаз. Когда обед кончился и Кристоф собрался уже уйти, Браун схватил его обеими руками за локоть.

— Кристоф! — сказал он.

Кристоф смущенно поглядел на него.

— Кристоф, — повторил Браун (голос его дрожал), — ты не знаешь, что с нею?

Кристофа словно кольнуло в самое сердце. Мгновенье он помедлил с ответом. Браун, робко взглянув на него, тотчас же стал извиняться:

— Ты часто видишь ее, она доверяет тебе...

Кристоф готов был целовать руки Брауна, просить у него прощения. Браун увидел потрясенное лицо Кристофа и тотчас же, ужаснувшись, не захотел видеть больше; умоляя его взглядом, он торопливо забормотал, зашептал:

— Нет, не правда ли? Ты ничего не знаешь?

Кристоф, подавленный, промолвил:

— Нет, не знаю.



Какое мученье, когда не можешь сознаться в своей вине, унизить себя, ибо это значило бы разбить сердце того, кому ты нанес оскорбление! Какое мучение, когда не можешь сказать правду, когда читаешь в глазах того, кто спрашивает о ней, что он не хочет, не желает знать правды!

— Хорошо, хорошо, благодарю, благодарю тебя... — промолвил Браун.

Он стоял, уцепившись обеими руками за рукав Кристофа, избегая его взгляда, как будто хотел и не решался спросить его еще о чем-то. Потом он отпустил его, вздохнул и ушел.

Кристоф был подавлен своей новой ложью. Он побежал к Анне. Рассказал ей, заикаясь от волнения, о том, что произошло. Анна угрюмо выслушала и сказала:

— Ну что же, пусть узнает! Не все ли равно?

— Как можешь ты так говорить? — возмутился Кристоф. — Ни за что, ни за что на свете я не хочу, чтобы он страдал!

Анна вспыхнула:

— А что из того, что он будет страдать! Разве я не страдаю? Пусть страдает и он!

Они наговорили друг другу много горьких слов. Он обвинял ее в том, что она любит только себя. Она упрекала его в том, что он думает о ее муже больше, чем о ней. Но минуто спустя, когда он сказал, что не может больше так жить, что он во всем сознается Брауну, она тоже обозвала его эгоистом, крича, что ей нет дела до совести Кристофа и что Браун ничего не должен знать.

Несмотря на свои жестокие слова, она думала о Брауне не меньше, чем Кристоф. Не чувствуя к мужу настоящей любви, она все-таки была к нему привязана. Она относилась с религиозным уважением к общественным узам и обязанностям, которые они налагают. Она не думала, быть может, что жена обязана быть доброй и любить своего мужа, но считала, что она должна добросовестно выполнять долг хозяйки и оставаться верной мужу. Ей казалось гнусным, что она не выполнила этого обязательства.

Она понимала лучше Кристофа, что Браун скоро узнает все. И немалой заслугой ее было то, что она

скрывала это от Кристофа, — либо потому, что не хотела увеличивать его смутнения, либо скорее всего из гордости.

Как ни замкнута была жизнь Брауна, как ни скрыта была семейная трагедия, разыгрывавшаяся в его доме, кое-что просочилось наружу.

Никто в этом городе не мог похвастаться тем, что держит свою жизнь в тайне. Удивительное дело! На улицах никто на вас не смотрит; двери и ставни домов закрыты. Но в углах окон подвешены зеркала, и, проходя мимо, слышишь сухой звук приотворяемых и затворяемых ставней. Никому нет дела до вас; кажется, что никто вас не знает, но очень скоро вы обнаруживаете, что ни одно ваше слово, ни одно движение не прошло незамеченным; знают, что вы сделали, что вы сказали, что вы видели, что вы ели; знают даже или воображают, что знают, о чем вы думали. Вас окружает какой-то тайный круговой надзор. Прислуга, поставщики, родные, друзья, посторонние, случайные прохожие — все по молчаливому соглашению участвуют в этом бессознательном соглядатайстве, разрозненные звенья которого каким-то образом соединяются. Следят не только за вашими поступками, — исследуют ваше сердце. Никто в этом городе не имеет права скрывать свое святая святых; но всякий имеет право влезть вам в душу, рыться в ваших сокровенных мыслях и, если они оскорбляют общественное мнение, требовать от вас отчета. Незримый деспотизм коллективной души тяготеет над личностью; она всю свою жизнь — опекаемое дитя; ничто присущее ей не принадлежит ей: она принадлежит городу.

Достаточно было Анне два воскресенья подряд не показаться в церкви, чтобы возбудить подозрение. В обычное время никто как будто не замечал ее присутствия на богослужении; она жила в стороне, и город, казалось, забывал об ее существовании. Но в вечер первого воскресенья, когда она не пришла, ее отсутствие было известно всюду и взято на заметку. В следующее воскресенье ни одна из благочестивых ханжей, следивших за святыми словами по евангелию или ловив-

ших их из уст пастора, как будто не отвлекалась от сосредоточенной молитвы, но ни одна из них не преминула отметить при входе и проверить при выходе, что место Анны оставалось пустым. На следующий день Анну стали навещать люди, которых она не видела в течение многих месяцев; гости приходили под различными предлогами: одни — опасаясь, не захворала ли она, другие — проявляя небывалый интерес к ее делам, к ее мужу, к ее дому; некоторые обнаруживали странную осведомленность о том, что происходит у нее; никто из них не позволил себе бестактно намекнуть на то, что она два воскресенья подряд пропускала богослужение. Анна сказалась больной, ссылаясь на свою занятость. Посетительницы внимательно выслушивали ее, поддакивали; но Анна знала, что они не верили ни одному ее слову. Их взгляды шныряли по всей комнате, шарили, примечали, отмечали. Гости держались деланно добродушно, шумно и жеманно болтали, но их глаза выдавали пожиравшее их нескромное любопытство. Две-три дамы с преувеличенным безразличием спросили между прочим, как поживает г-н Крафт.

Несколько дней спустя (это было во время отсутствия Кристофа) пришел сам пастор. Представительный мужчина, обладатель цветущего здоровья, приветливый, полный невозмутимого спокойствия, которое дается сознанием, что ты обладаешь истиной, всей истиной целиком. Он заботливо осведомился о здоровье своей прихожанки. Вежливо и рассеянно выслушал приведенные ею оправдания, хотя их и не спрашивал, соблаговолил выпить чашку чая, приятно пошутил насчет напитков, высказав мнение, что вино, упоминаемое в библии, не было спиртным напитком, привел несколько цитат, рассказал анекдот и, уходя, сделал смутный намек на опасность дурного общества, на некоторые прогулки, на дух неверия, на нечестивость пляски, на грязные вожделения. Казалось, он обращался к современным нравам вообще, а не к Анне. С минуту он помолчал, потом кашлянул, встал, поручил Анне передать Брауну почтительнейшее его приветствие, сострил по-латыни, поклонился и вышел. Анна похолодела от его намека. Да был ли это намек? Откуда мог он проведать об ее прогулке с Кристофом?

стофом? Они не встретили там никого, кто бы их знал. Но разве не все известно в этом городе? Музыкант с характерной внешностью и молодая женщина в черном, танцующие в трактире, обратили на себя внимание; приметы их были описаны; а так как слухи быстро распространяются, молва об этом дошла до города, и недоброжелательные святоши не преминули узнать Анну. Разумеется, это было только подозрение, но необыкновенно заманчивое; к нему еще присоединились сведения, доставленные служанкой Анны. Общественное любопытство было теперь настороже, выжидая, когда они скомпрометируют себя, выслеживая их тысячью невидимых глаз. Молчаливый и коварный город подстерегал их, как притаившаяся кошка.

Несмотря на опасность, Анна, быть может, и не сдавалась бы; быть может, ощущение этой подлой враждебности побудило бы ее бросить вызов, если бы в ней самой не укоренился фарисейский дух этого ненавистного ей общества. Воспитание поработило ее натуру. Сколько бы она ни осуждала тиранию и глупость общественного мнения, — она почитала его; она подчинялась его приговорам, даже когда они были обращены против нее; если бы они шли вразрез с ее совестью, она обвинила бы скорее свою совесть. Она презирала город, но презрение города она не могла бы вынести.

А между тем приближалась минута, когда общественному злословию должен был, наконец, представиться случай прорваться наружу. Близилось время карнавала.

Карнавал в этом городе в то время, когда разыгрывалась эта история (с тех пор все изменилось), хранил еще архаический характер разнузданности и жестокости. Верный древним традициям и, как встарь, являясь отдушиной для распушенности человеческого духа, добровольно или насильно подчиненного игу разума, карнавал никогда и нигде не был дерзновеннее, чем в те времена и в тех странах, над которыми наиболее тяготели обычаи и законы — блюстители разума. Потому-то родной город Анны должен был стать одним из его любимых мест. Чем больше нравственный ригоризм

связывал там движения и заглушал голоса, тем наглее были движения и вольнее голоса в дни карнавала. Все, что скоплялось в подонках души: зависть, тайная ненависть, бесстыдное любопытство, инстинкт недоброжелательства, присущий общественному животному, — все прорывалось наружу сразу, с треском, с радостью отмищения. Каждый имел право выйти на улицу и, умело замаскировавшись, пригвоздить к позорному столбу, на глазах у всех, того, кого он ненавидел, выложить перед прохожими все, что накопил за целый год кропотливых усилий, весь свой клад скандальных тайн, собранных капля по капле.

Один похвалялся ими, разъезжая на колеснице. Другой возил световые экраны, на которых в надписях и картинах развертывалась скандальная хроника города. Третий осмеливался даже надеть маску, изображающую его врага, настолько похожую, что уличные мальчишки громко называли его по имени. В течение этих трех дней выходили газеты сплетен. Люди из общества под шумок принимали участие в этой игре Пасквино<sup>1</sup>. Никакой цензуры не было, кроме как на выпады политического характера, ибо эти дерзкие намеки не раз служили причиной конфликтов между городским управлением и представителями иностранных держав. Но ничто не защищало граждан от их сограждан; и вечно висевшая над ними угроза публичного скандала немало способствовала сохранению в нравах того безукоризненного внешнего приличия, которым так гордился город.

Анна находилась под гнетом этого страха, в сущности не обоснованного. У нее лично мало было причин опасаться. Слишком ничтожное место занимала она в общественном мнении города, чтобы кому-нибудь пришлось в голову нападать на нее. Но полное одиночество, в котором она себя заточила, истощение и нервное возбуждение, вызванные несколькими неделями бессонницы, подготовили ее к самым безрассудным фантазиям и страхам. Она преувеличивала вражду тех, кто ее не лю-

---

<sup>1</sup> Пасквино — народное прозвище одной античной статуи в Риме, на пьедестале которой в средние века был обычай помещать всякого рода эпиграммы и шутки на злобу дня. Отсюда слово «пасквиль». — *Прим. ред.*

бил. Она внушала себе, что преследователи напали на ее след, что достаточно пустяка, чтобы погубить ее; а кто поручится, что это уже не совершилось? В таком случае ее ожидали оскорбления, безжалостные разоблачения, раскрытие тайны ее сердца, отданного на поругание прохожим; позор, такой жестокий, что, думая о нем, Анна умирала со стыда. Она слыхала, что несколько лет назад одна девушка, подвергшаяся такому гонению, принуждена была бежать из города вместе со своими родными. И ничем, ничем нельзя было защитить себя, никак нельзя было предотвратить этого, невозможно было даже узнать заранее, что именно должно произойти. Неизвестность ужасала ее еще больше, чем уверенность. Анна озиралась вокруг, как затравленный зверь. В собственном своем доме она чувствовала себя, точно в западне.

Служанке Анны перевалило за сорок; звали ее Бэби. Она была большая, тучная, с лицом, суженным у висков и у лба, широким и длинным книзу, с раздутыми щеками, точно сушеная груша; она беспрестанно улыбалась, и глаза у нее были острые, как буравчики, вдавленные, точно втянутые внутрь, под красными, без ресниц, веками. Ее не покидало выражение какой-то жеманной веселости. Она всегда была в восторге от своих хозяев, всегда во всем с ними согласна, всегда трогательно озабочена их здоровьем; она улыбалась, выслушивая приказания, улыбалась, когда ей делали выговор. Браун считал ее человеком испытанной преданности. Ее умильный вид представлял полный контраст с холодностью Анны. Во многом, однако, она была на нее похожа: как Анна — несловоохотливая, строго и опрятно одетая, как Анна — сугубо набожная; Бэби сопровождала хозяйку на все службы, точно соблюдала обряды и добросовестно исполняла свои хозяйственные обязанности: была чистоплотна, пунктуальна, безукоризненного поведения и превосходная стряпуха. Словом, она была примерной служанкой и идеальным образцом домашнего врага. Анна, чье женское чутье никогда не ошибалось относительно тайных мыслей других женщин, отлично знала ей цену. Они ненавидели друг друга, знали об этом и никак этого не проявляли.

В ночь после возвращения Кристофа, когда Анна, терзаясь тревогой, отправилась к нему, несмотря на принятое ею решение никогда больше его не видеть, она шла крадучись, ощупывая во мраке стены; она готова была уже войти в комнату Кристофа, как вдруг вместо обычного прикосновения гладкого и холодного паркета ощутила под босыми ногами какую-то теплую, мягко рассыпающуюся пыль. Она нагнулась, дотронулась до нее рукой и поняла: во всю ширину коридора, на протяжении двух или трех метров, тонким слоем рассыпана была зола. Это Бэби, сама того не подозревая, прибегла к старой хитрости, которой еще во времена бретонских средневековых сказаний пользовался карлик Фросин для того, чтобы уличить Тристана, крадущегося к ложу Изольды; это подтверждает, что для всех веков создано лишь ограниченное число характеров как добрых, так и злых. Веское доказательство мудрой скупости вселенной! Анна, не колеблясь, точно бросая вызов презренному врагу, продолжала свой путь. Она вошла к Кристофу и, несмотря на свое беспокойство, ничего ему об этом не сказала, но, уходя, она взяла метелку с камина и старательно, шаг за шагом, замела на золе свои следы. Поутру, когда Анна и Бэби встретились, то, как всегда, одна держалась холодно, другая же улыбалась угодливой улыбайкой.

К Бэби частенько заходил в гости ее родственник, немного постарше ее; он исполнял в храме обязанности сторожа; во время Gottesdienst<sup>1</sup> он стоял на часах у входа в церковь с белой, окаймленной черным перевязью на рукаве, украшенной серебряной кистью, опираясь на трость с изогнутой ручкой. По ремеслу он был гробовщик. Звали его Сами Витши. Он был очень высокого роста, тощий, сутуловатый; лицо у него было бритое и серьезное, как у старого крестьянина. Он был набожен и, как никто, знал всякие сплетни обо всех прихожанах своей церкви. Бэби и Сами собирались пожениться; они ценили друг в друге положительные качества, крепкую веру и злобу. Но они не спешили закончить дело: они настороженно наблюдали друг за другом. В последнее

---

<sup>1</sup> богослужения (нем.).

время посещения Сами участились. Он являлся в дом без ведома хозяев. Всякий раз, проходя мимо кухни, Анна видела в стеклянную дверь Сами, сидящего у печки, и Бэби в нескольких шагах от него с рукодельем в руках. О чем бы они ни говорили, ни одного слова не было слышно. Видны были оживленное лицо Бэби и ее шевелящиеся губы; большой суровый рот Сами, не открываясь, морщился кривой улыбкой: ни звука нельзя было разобрать; дом казался немым. Когда Анна входила в кухню, Сами почтительно поднимался и продолжал безмолвно стоять до тех пор, пока она не уходила. Бэби, как только отворялась дверь, подчеркнуто обрывала какой-нибудь безразличный разговор и, ожидая приказаний, с подобострастной улыбкой поворачивалась к Анне. Анна подозревала, что они говорили о ней, но она слишком презирала их, чтобы унизиться до подслушивания.

На следующий день после того, как Анна разрушила хитроумную ловушку с золой, первое, что бросилось ей в глаза, когда она вошла в кухню, была метелка в руках у Сами, та самая, которой она пользовалась ночью, чтобы замести следы своих босых ног. Анна взяла ее из комнаты Кристофа и только сейчас вдруг вспомнила, что забыла отнести обратно; она оставила ее в своей комнате, где пронизательные глаза Бэби тотчас же ее заметили. Пройдохи несомненно восстановили всю историю. Анна и глазом не моргнула. Бэби, следя за взглядом своей хозяйки, преувеличенно любезно улыбнулась и пустилась в объяснения:

— Метелка сломалась; я отдала ее Сами, чтобы он починил.

Анна не потрудилась даже опровергнуть эту грубую ложь; она как будто и не слышала ее; взглянув на шитье Бэби, она отдала распоряжения и вышла совершенно безучастная. Но, едва закрыв дверь, она утратила всякую гордость; она не могла удержаться, чтобы не подслушать, притаившись в углу коридора (она чувствовала себя униженной до глубины души тем, что прибегала к подобным средствам). Отрывистое хихиканье, потом шепот, такой тихий, что ничего нельзя было разобрать. Но Анне в ее смятении мерещилось, что она все



понимает; ужас нашептывал ей те слова, которые она боялась услышать; ей представилось, что они говорят о предстоящих маскарадах и каком-то шутовском концерте. Сомнения не было: они хотели включить в программу эпизод с золой. По всей вероятности, она ошибалась, но в том болезненном возбуждении, в котором она находилась, преследуемая в течение двух недель навязчивой мыслью о публичном позоре, она не только принимала недостоверное за возможное, но даже считала его несомненным.

И тогда она решилась.

Вечером того же дня (это было в среду, перед масленицей) Браун был вызван на консультацию километров за двадцать от города; он должен был вернуться только на следующий день утром. Анна не вышла к обеду и осталась у себя в комнате. Она выбрала эту ночь, чтобы привести в исполнение безмолвное обязательство, которое она дала себе. Но она решила выполнить его одна, ничего не сказав Кристофу. Она презирала его. Она думала: «Он обещал. Но он мужчина, он эгоист и лгун, у него есть его музыка, он скоро позабудет».

И потом в этом неистовом сердце, казалось не доступном доброте, нашлось, быть может, место жалости по отношению к товарищу. Но она была слишком сурова и слишком одержима страстью, чтобы сознаться себе в этом.

Бэби передала Кристофу, что госпожа велела извиниться перед ним, что ей нездоровится и она хочет отдохнуть. Итак, Кристоф поужинал один, под наблюдением Бэби, которая докучала ему своей болтовней, старалась вызвать его на разговор и восхваляла Анну с таким преувеличенным рвением, что Кристоф, несмотря на всю свою доверчивость к людям, насторожился. Он как раз рассчитывал воспользоваться этим вечером для окончательного разговора с Анной. Он тоже не мог больше медлить. Он не забыл решения, принятого ими обоими на рассвете того печального дня. Он готов был выполнить его, если Анна того потребует, хотя и пони-

мал нелепость этой двойной смерти, которая ничего не разрешала и должна была пасть горем и позором на того же Брауна. Он думал, что лучше всего было бы им порвать совсем, ему постараться еще раз уехать, если только хватит сил жить вдали от нее: он сомневался в этом после бесполезной недавней попытки, но он внушал себе, что, в случае невозможности вынести разлуку, никогда не поздно будет прибегнуть и одному к этому крайнему средству.

Он надеялся, что после ужина ему удастся улучшить минутку и подняться в комнату Анны. Но Бэби следовала за ним по пятам. Обычно она рано заканчивала свою работу, однако в этот вечер не было конца мытью кухни, и, когда Кристоф считал себя уже, наконец, избавленным от нее, она затеяла уборку шкапа в коридоре, ведущем в комнату Анны. Кристоф застал ее основательно расположившейся на табуретке; он понял, что она не уйдет отсюда до ночи. Он испытывал бешеное желание столкнуть ее вниз вместе со всей грудой тарелок, но сдержался и попросил ее сходить узнать, как чувствует себя барыня и нельзя ли навестить ее. Бэби пошла, вернулась и доложила, со злорадством наблюдая за ним, что барыне лучше, что ей хочется спать и она просит, чтобы никто не заходил к ней. Кристоф, расстроенный и раздраженный, попробовал было читать, но не смог и поднялся к себе в комнату. Бэби караулила, пока он не погасил лампу, и тоже отправилась к себе, решив бодрствовать всю ночь; она предусмотрительно оставила свою дверь полуоткрытой, чтобы слышать все шорохи в доме. На ее беду, стоило ей только лечь, как она тотчас же засыпала, и таким крепким сном, что ни гром, ни даже любопытство не способны были разбудить ее до рассвета. Сон этот ни для кого не был тайной. Эхо его разносилось по всему дому.

Как только Кристоф услышал знакомый храп, он отправился к Анне. Ему надо было поговорить с ней. Беспокойство терзало его. Он подошел к двери, повернул ручку — дверь была заперта. Он тихонько постучал: ответа не было. Он прижался ртом к замочной скважине, умоляя впустить его, сначала шепотом, потом все настойчивей — ни малейшего движения, ни звука. Как ни

уверял он себя, что Анна спит, им все-таки овладела тревога. Тщетно стараясь расслышать что-нибудь, он прислонился щекой к двери, и тут его поразил запах, казалось, просочившийся сквозь щели порога; он нагнулся и сразу понял: это был запах газа. Кровь застыла в его жилах. Он толкнул дверь, не думая о том, что может разбудить Бэби, — дверь не поддавалась... Он понял: в уборной Анны, примыкающей к спальне, была маленькая газовая печка; она открыла газ. Надо было вышибить дверь, но, несмотря на свое смятение, Кристоф отлично понимал, что Бэби ни под каким видом не должна этого слышать. Он всей тяжестью безмолвно навалился на одну из створок. Дверь, прочная и наглухо запертая, затрещала на петлях, но не поддавалась. Другая дверь соединяла комнату Анны с кабинетом Брауна. Кристоф бросился туда; она также была заперта, но здесь замок был снаружи. Он решил выломать его. Это было нелегко. Надо было вытащить четыре толстых, всажённых в дерево винта. У Кристофа был только перочинный нож, и он ровно ничего не видел, потому что не смел зажечь свечу: воспламенившийся газ мог бы взорвать весь дом. Ощупью он ввел, наконец, нож в прорезь одного винта, потом другого; лезвия обламывались, он поранил себе руки; ему казалось, что винты чертовски длинны, что ему так и не удастся вытащить их; и в то же время в лихорадочной спешке, обливаясь холодным потом, он вдруг вспомнил случай из своего детства: он увидел себя десятилетним мальчиком, запертым в наказание в темной комнате; он выломал тогда замок и убежал из дому. Последний винт поддался. Замок выпал, шурша опилками. Кристоф кинулся в комнату, подбежал к окну и распахнул его. Ворвалась струя холодного воздуха.

Кристоф, наткаясь на мебель, разыскал в темноте кровать, обшарил ее, наткнулся на тело Анны, дрожащими руками ощупал сквозь простыню неподвижные ноги до самого пояса, — Анна сидела на постели и дрожала. Она не успела еще испытать первых симптомов удушья: комната была высокая, в щели плохо пригнанных дверей и в окна проникал воздух. Кристоф обнял ее, Она яростным движением высвободилась и крикнула:

— Уходи! Ах, что ты наделал!

Она ударила его, но тотчас же, обессиленная волнением, упала на подушку, горько рыдая:

— О! О! Опять начинать все сначала!

Кристоф взял ее за руки, принялся целовать, упрекая, говоря ей нежные и суровые слова:

— Умереть! И одной, без меня!

— Да, без тебя! — с горечью сказала она.

Тон ее достаточно ясно говорил: «Ты, ты хочешь жить!»

Он прикрикнул на нее, желая насильно сломить ее волю.

— Сумасшедшая! — воскликнул он. — Разве ты не понимаешь, что ты могла взорвать дом!

— Этого-то я и хотела, — мрачно ответила она.

Он попытался пробудить в ней религиозный страх — он нащупал верную струну. Едва он коснулся ее, как Анна начала кричать, умоляя, чтобы он замолчал. Он продолжал убеждать ее без всякой жалости, думая, что это единственное средство вернуть ей волю к жизни. Она умолкла, у нее началась судорожная икота. Когда он замолчал, она сказала ему со сдержанной ненавистью:

— Доволен ты теперь? Ты добился своего! Довел меня до полного отчаяния. А теперь что мне делать?

— Жить, — сказал он.

— Жить! — воскликнула она. — Да разве ты не понимаешь, что это невозможно? Ты ничего не знаешь! Ты ничего не знаешь!

— В чем дело? — спросил он.

Она пожала плечами:

— Слушай!

Краткими, отрывистыми фразами рассказала она ему обо всем, что до сих пор скрывала: о шпионстве Бэби, о зоме, о сцене с Сами, о карнавале, о неминуемом позоре. Рассказывая, она уже не могла различить, что было создано ее страхом и чего она могла опасаться на самом деле. Он слушал, удрученный, пораженный, еще менее, чем она, способный отличить в ее рассказе действительную опасность от воображаемой. Ему и в голову не приходило, что их подкарауливают. Он силился

понять и ничего не мог посоветовать: против таких врагов он был безоружен. Он чувствовал только слепую ярость, желание драться. Он спросил:

— Почему ты не прогнала Бэби?

Она не удостоила его ответом. Бэби, выгнанная из дому, была бы еще ядовитее, чем Бэби, оставленная в доме, и Кристоф понял нелепость своего вопроса. Мысли его путались; он не знал, на что решиться, как выйти из положения. Он прошептал, сжимая кулаки:

— Я их убью.

— Кого? — спросила она, исполненная презрения к этим пустым словам.

Силы покинули его. Он чувствовал себя погибшим в этой сети темных измен, где ничего нельзя было распутать, где все были соумышленниками.

— Подлецы! — в отчаянии воскликнул он.

Он рухнул на колени перед постелью, прижимаясь лицом к телу Анны. Оба умолкли. Она испытывала смешанное чувство презрения и жалости к этому человеку, не умеющему защитить ни ее, ни себя. Он чувствовал у своей щеки дрожащие от холода ноги Анны. Окно осталось распахнутым, а на дворе морозило: на гладком, как зеркало, небе зябко дрожали заледеневшие звезды.

Убедившись с горькой радостью, что он так же подавлен и разбит, как она сама, Анна проговорила суровым и усталым голосом:

— Зажгите свечу!

Он зажег. Анна сидела, стуча зубами, скорчившись, прижав руки к груди, согнув колени так, что они касались подбородка. Он затворил окно. Сел на постель. Взял в руки холодные, как лед, ноги Анны и принялся согревать их руками, губами. Она была растрогана.

— Кристоф! — прошептала она.

Она жалобно глядела на него.

— Анна! — сказал он.

— Что нам делать?

Он посмотрел на нее и сказал:

— Умереть.

Она вскрикнула от радости.]

— О! Ты, значит, этого хочешь? Ты тоже хочешь?  
Ты не оставишь меня одну!

Она поцеловала его.

— Неужели ты думала, что я тебя покину?

Она шепотом ответила:

— Да.

Он только теперь почувствовал, сколько она выстрадала.

Несколько мгновений спустя он взглядом спросил ее. Она поняла.

— В бюро, — сказала она. — Справа. Нижний ящик.

Он встал и пошел искать. На самом дне ему попался револьвер. Браун купил его, будучи еще студентом. Он ни разу не пользовался им. В разорванной коробке Кристоф нашел несколько патронов. Он принес их к постели. Анна взглянула и тотчас же отвела глаза к стене. Кристоф подождал, потом спросил:

— Ты раздумала?

Анна быстро обернулась:

— Нет... Скорей!

Она думала: «Ничто уже не спасет меня от вечной гибели. Немногим больше, немногим меньше, все равно будет все то же».

Кристоф неловко зарядил револьвер.

— Анна, — сказал он дрожащим голосом, — один из нас увидит, как умирает другой.

Она вырвала у него из рук оружие и эгоистически сказала:

— Сперва я.

Они снова поглядели друг на друга. Увы! Даже в этот миг, решившись умереть друг за друга, они чувствовали себя такими далекими... Каждый из них с ужасом думал: «Да что же я делаю? Что делаю?»

И каждый читал это в глазах у другого. Нелепость этого поступка особенно поражала Кристофа. Вся его жизнь оказывалась бесполезной; бесполезна его борьба, бесполезны страдания, бесполезны надежды; все брошено на ветер, все пошло на смарку; один жалкий жест должен был уничтожить все... В нормальном состоянии он вырвал бы из рук Анны револьвер, выбросил бы его за окно, он крикнул бы: «Нет! Я не хочу!»

Но восемь месяцев страданий, сомнений и мучительной тоски, а в довершение всего этот шквал безумной страсти разрушили его силы, сломали его волю; он чувствовал, что ничто уже от него не зависит, что он сам себе уже не хозяин... Ах, да не все ли равно в конце концов?

Анна, убежденная в своей вечной гибели, всем своим существом хваталась за эти последние минуты жизни: скорбное лицо Кристофа, освещенное мерцающей свечой, тени на стене, шум шагов на улице, холодная сталь в ее руке... Она цеплялась за эти ощущения, как утопающий за щепку, идущую вместе с ним ко дну. Дальше все — сплошной ужас. Почему же не продлить ожидания? Но она повторила про себя:

«Так надо...»

Она простилась с Кристофом без всякой нежности, с торопливостью путешественника, который спешит и боится опоздать на поезд; она расстегнула рубашку, нащупала сердце и приставила дуло револьвера. Кристоф стоял на коленях, уткнувшись лицом в постель. Прежде чем спустить курок, она вложила левую руку в руку Кристофа. Жест ребенка, боящегося идти в темноте...

Затем прошло несколько страшных мгновений. Анна не стреляла. Кристоф хотел поднять голову, хотел схватить ее за руку и боялся, как бы именно это движение не заставило ее выстрелить. Он ничего уже не слышал, он терял сознание... Послышался стон... Кристоф выпрямился. Он увидел искаженное ужасом лицо Анны. Револьвер лежал на постели подле нее. Она жалобно повторяла:

— Кристоф! Осечка!..

Он взял оружие; от длительного бездействия оно заржавело, хотя механизм был в исправности. Быть может, в патрон проник воздух, и он отсырел. Анна протянула руку к револьверу.

— Довольно! — взмолился он.

— Патроны! — приказала она.

Он передал их ей. Она осмотрела их, выбрала один, не переставая дрожать, зарядила, снова приложила дуло к груди и нажала курок. Револьвер снова дал осечку,

Анна швырнула его на пол.

— Ах! Это уж слишком! Это слишком! — воскликнула она. — Он не хочет, чтобы я умерла!

Она корчилась на постели; она точно обезумела. Кристоф хотел подойти к ней; она с воплем оттолкнула его. Наконец, с нею сделался нервный припадок. Кристоф оставался подле нее до утра. В конце концов она успокоилась, но лежала бездыханная, с закрытыми глазами; выступающие скулы и крутой лоб, обтянутые мертвенно-бледной кожей, придавали ей вид покойницы.

Кристоф оправил смятую постель, спрятал револьвер, вставил выломанный замок, прибрал все в комнате и ушел: было уже семь часов и скоро должна была явиться Бэби.

Утром, вернувшись домой, Браун нашел Анну все в той же прострации. Он отлично понял, что произошло нечто необычайное, но ничего не мог добиться ни от Бэби, ни от Кристофа. За весь день Анна не пошевелилась, не раскрыла глаз; пульс ее был так слаб, что его едва было слышно, порою он совсем останавливался, и в иные минуты Браун с ужасом думал, что сердце уже перестало биться. Любовь заставляла его сомневаться в своих знаниях; он побежал к другому врачу и привел его. Они оба осмотрели Анну и не могли решить, что это — начинающаяся горячка или случай истерического невроза; нужно было держать больную под постоянным наблюдением. Браун не отходил от изголовья Анны. Он отказался от пищи. К вечеру пульс Анны показал, что у нее не лихорадка, а только большая слабость. Браун попытался влить ей в рот несколько ложек молока; она не могла их проглотить. Тело ее беспомощно повисало на руках мужа, как разбитая кукла. Браун провел ночь, сидя подле нее, ежеминутно вставая, чтобы прислушаться к ней. Бэби, которую ничуть не взволновала болезнь Анны, отказалась лечь и бодрствовала вместе с Брауном, так как была все же человеком долга.

В пятницу Анна открыла глаза. Браун заговорил с нею; она не заметила его присутствия. Она лежала неподвижно, устремив глаза в одну точку на стене. Около полудня Браун увидел, что по впалым ее щекам текут



крупные слезы; он ласково вытер их, слезы продолжали катиться одна за другой. Браун снова попытался заставить ее принять немного пищи. Она безвольно покорилась ему. Вечером она начала говорить какие-то бессвязные слова. Речь шла о Рейне; она хотела утопиться, но было слишком мало воды. Она металась в бреду, пытаясь покончить самоубийством, изобретая странные виды смерти; смерть всегда ускользала от нее. Порой она спорила с кем-то; тогда лицо ее принимало выражение гнева и страха; она обращалась к богу и упрямо доказывала ему, что во всем виноват он. Или глаза ее вспыхивали страстью, и она произносила бесстыдные слова, которых, казалось, и знать-то не могла. На мгновение она заметила Бэби и дала ей вполне отчетливое распоряжение относительно застрашенной стирки. Ночью она задремала. Потом вдруг приподнялась; Браун подбежал к ней. Она странно поглядела на него, бормоча что-то нетерпеливо и неразборчиво. Он спросил ее:

— Анна, дорогая, чего ты хочешь?

Она резко приказала:

— Сходи за ним!

— За кем? — спросил он.

Она поглядела на него опять, все с тем же выражением, внезапно расхохоталась, потом провела рукою по лбу и застонала:

— О, боже мой! Забыть!..

После этих слов она уснула и проспала спокойно до утра. На рассвете она пошевелинулась; Браун приподнял ей голову и дал пить; она покорно сделала несколько глотков и, склонившись к рукам Брауна, поцеловала их. Потом опять задремала.

В субботу утром больная проснулась около девяти часов. Не говоря ни слова, она спустила ноги с постели и хотела встать. Браун бросился к ней, пытаясь снова уложить ее. Она заупрямилась. Он спросил ее, чего она хочет. Она ответила:

— Пойти в церковь.

Он старался уговорить ее, напомнить, что сегодня не воскресенье, что храм заперт. Она молчала, но, сидя на стуле, около постели, дрожащими руками натягивала на себя одежду. Вошел доктор, друг Брауна. Он присоеди-

нился к его уговорам; потом, видя, что она не уступает, осмотрел ее и в конце концов согласился. Он отвел Брауна в сторону и сказал, что заболевание его жены кажется ему чисто психическим и сейчас не следует перечить ей. Он не видит опасности в том, чтобы она вышла, лишь бы только Браун сопровождал ее. Браун сказал Анне, что пойдет с нею. Она отказалась и хотела идти одна. Но при первых же шагах по комнате споткнулась. Тогда, не говоря ни слова, она взяла Брауна под руку, и они вышли. Несколько раз он спрашивал ее, не вернуться ли домой. Она продолжала идти. Дойдя до церкви, они нашли ее, как и предупреждал Браун, запертой. Анна села на скамью у входа и, вся дрожа, просидела до тех пор, пока не пробило двенадцать. Тогда она снова взяла Брауна под руку, и они молча вернулись домой. Но вечером она захотела опять пойти в церковь. Все мольбы Брауна были напрасны. Пришлось снова идти.

Кристоф провел эти два дня в одиночестве. Браун был слишком озабочен, чтобы думать о нем. Один только раз, в субботу утром, стараясь отвлечь Анну от навязчивого желания выйти, он спросил ее, не хочет ли она видеть Кристофа. Лицо ее выразило такой ужас и отвращение, что Браун был поражен, и имя Кристофа с тех пор уже не произносилось.

Кристоф заперся у себя в комнате. Тревога, любовь, укоры совести, целый хаос страданий бушевал в нем. Он винил себя во всем. Он изнемогал от отвращения к себе. Несколько раз он порывался пойти и сознаться во всем Брауну, но его тотчас же останавливала мучительная мысль, что так будет только еще одним несчастным больше. Страсть не давала ему пощады. Он бродил по коридору перед комнатой Анны и, едва заслышав у двери приближающиеся шаги, убегал к себе.

Когда Анна и Браун под вечер вышли из дому, он подкараулил их, спрятавшись за занавеской своего окна. Он увидел Анну. Она, всегда такая прямая и гордая, шла теперь сгорбленная, с опущенной головой; лицо ее стало желтым; постаревшая, точно придавленная тяжестью плаща и шали, в которые укутал ее муж, она была безобразна. Но Кристоф не видел ее безобразия,

он видел только, что она несчастна, и сердце его переполнилось жалостью и любовью. Ему хотелось кинуться к ней, пасть перед нею в грязи на колени, целовать ее ноги, ее сломленное страстью тело, вымаливая у нее прощение. И он думал, глядя на нее: «Дело рук моих! Вот оно!»

Но взгляд его встретил в зеркале собственное изображение; он увидел на лице своем ту же опустошенность; он увидел на себе тот же отпечаток смерти, что и на ней, и подумал: «Дело рук моих? Нет. Это дело рук жестокого владыки, который сводит с ума и убивает».

Дом был пуст. Бэби вышла, чтобы посудачить с соседями о событиях этого дня. Время уходило. Пробило пять часов. Ужас охватил Кристофа при мысли об Анне, которая скоро должна вернуться, и о приближающейся ночи. Он чувствовал, что у него не хватит сил оставаться в эту ночь под одной кровлей с нею. Разум его изнемогал под гнетом страсти. Он не знал, что он сделает, не знал, чего он хочет, — он знал только, что хочет Анну. Любой ценой. Он подумал об этом жалком создании, которое недавно прошло мимо его окна, и сказал себе: «Спаси ее от меня!»

Порыв воли налетел на него, как шквал. Кристоф собрал в охапку кипы разбросанных на столе бумаг, перевязал их, взял шляпу, плащ и вышел. В коридоре у дверей Анны, охваченный страхом, он ускорил шаги. Внизу он окинул последним взглядом пустынный сад. Он убежал, как вор. Ледяной туман точно иглами пронизывал кожу. Кристоф крался вдоль стен, боясь встретить кого-нибудь из знакомых. Он отправился на вокзал. Сел в поезд, уходящий в Люцерн. С первой же станции отправил Брауну письмо, где сообщал, что неотложное дело отзывало его на несколько дней из города, и сокрушался, что должен оставить его в такую минуту; он просил писать по адресу, который тут же указывал. В Люцерне он сел в сен-готардский поезд и ночью вылез на какой-то маленькой станции между Альторфом и Гешененом. Он не знал ее названия и так и не узнал никогда. Он вошел в первую попавшуюся гостиницу около вокзала. Огромные лужи преграждали дорогу. Дождь лил как из ведра; дождь шел всю ночь; дождь шел весь следующий день.

Из лопнувшего желоба с шумом водопада падала вода. Небо и земля были затоплены, они расплывались, как мысли Кристофа. Он лег на влажные, пахнущие железно-дорожным дымом простыни, но не мог лежать. Мысль об опасностях, угрожающих Анне, слишком поглощала его, чтобы он мог думать о своих собственных муках. Надо было обмануть злобные подозрения общества, направить их по ложному следу. В том состоянии лихорадочного возбуждения, в котором он находился, ему пришла в голову странная мысль: он придумал написать одному из немногих музыкантов, с которыми сошелся в городе, — Кребсу, органисту-кондитеру. Он намекнул ему, что сердечные дела влекут его в Италию, что эта страсть заполонила его еще до того, как он приехал и поселился у Брауна, что он тщетно пытался от нее избавиться, но она оказалась сильнее его. Все это в выражениях достаточно ясных, чтобы Кребс понял, и достаточно туманных, чтобы он мог прикрасить отсебятиной. Кристоф просил Кребса сохранить все в тайне. Он знал, что этот человек отличается болезненной болтливостью, и рассчитывал — вполне правильно, — что, едва получив известие, Кребс побежит разглашать его по всему городу. Чтобы окончательно отвлечь подозрения общества, Кристоф закончил письмо несколькими весьма холодными словами о Брауне и о болезни Анны.

Остаток ночи и следующий день Кристоф провел все более и более одержимый своей навязчивой идеей. Анна... Анна... Он снова день за днем переживал последние месяцы, проведенные с нею, видя ее сквозь мираж своей страсти. Он всегда создавал ее по образу своей фантазии, своих желаний, наделяя ее нравственным величием, мучительно обостренной совестью, чтобы еще сильнее любить ее. Эта ложь, порожденная страстью, становилась еще убедительнее теперь, когда присутствие Анны не могло ее опровергнуть. Она представлялась ему здоровой и свободной от природы, но угнетенной женщиной, которая рвалась из своих оков, стремилась к прямой и широкой дороге, к вольному простору, а затем, испугавшись, боролась со своими инстинктами потому, что они не согласовались с ее жизнью и делали ее участь еще более мучительной. Она взывала к нему: «На по-

мощь!» Он снова обнимал ее прекрасное тело. Воспоминания терзали его; он находил убийственное наслаждение, мучая себя и бередея свои раны. По мере того как угасал день, чувство утраты становилось настолько ужасным, что он уже не мог больше дышать.

Сам не зная, что делает, он встал, вышел, расплатился в гостинице и сел в первый поезд, отправлявшийся в город, где жила Анна. Он прибыл поздней ночью и пошел прямо к дому. Стена отделяла переулок от сада, смежного с садом Брауна. Кристоф взобрался на стену, спрыгнул в чужой сад, прокрался оттуда в сад Брауна. Он очутился перед домом. Все тонуло во тьме, только слабый свет ночника желтоватым отблеском окрашивал одно из окон — окно Анны. Там была Анна. Там она страдала. Достаточно ему было сделать шаг, чтобы войти. Он протянул руку к ручке двери. Потом поглядел на свою руку, на дверь, на сад; вдруг отдал себе отчет в своем поступке и, пробудившись от владевшего им в течение семи-восьми часов наваждения, содрогнулся. Резким движением он стряхнул с себя оцепенение, приковавшее его ноги к земле; он кинулся к стене, снова перелез через нее и убежал.

В ту же ночь он вторично покинул город и на следующий день укрылся в какой-то горной деревушке, под снежными вихрями. Похоронить свое сердце, усыпить свою мысль, забыть, забыть!..

«E però leva su, vinci l'ambascia  
con l'animo che vince ogni battaglia,  
se col suo grave corpo non s'accascia...»

Leva' mi allor, monstrandomi fornito  
meglio di lena ch'io non mi sentia;  
e dissi: «Va, ch'io son forte ed ardito».

*«Встань, победи томленье, нет побед,  
Запретных духу, если он не вянет,  
Как эта плоть, которой он одет!..»*

Тогда я встал; я показать хотел,  
Что я дышу свободней, чем на деле,  
И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»

Данте, «Божественная комедия», «Ад»,  
песнь XXIV.

«Господи, что сделал я тебе? За что сокрушаешь ты меня? С самого детства ты дал мне в удел страдание, борьбу. Я боролся, не жалуясь. Я любил свое страдание. Я старался сохранить чистой душу, которую ты мне дал, сберечь огонь, который ты вложил в меня... Владыка, это ты, ты с ожесточением разрушаешь то, что создал, ты погасил это пламя, ты запятнал эту душу, ты отнял у меня все, чем я жил. Два соколовища было у меня на свете: мой друг и моя душа. У меня ничего больше нет, ты все взял у меня. Одно только существо было моим в пустыне мира — ты похитил его у меня. Наши сердца слились воедино, ты разлучил их; ты для того дал нам познать сладость встречи, чтобы мы лучше познали ужас взаимной утраты. Ты создал пустоту вокруг меня и во мне. Я был разбит, немогущ, безволен, безоружен, как ребенок, плачущий в ночи. Ты избрал этот час, чтобы сразить меня. Ты тихонько подкрался ко мне, сзади, как предатель, и нанес мне удар в спину; ты выпустил на меня лютого своего пса — страсть; я был без сил, — ты это знал, — и я не мог бороться; она свалила меня, она все опустошила во мне, все осквернила, все разрушила... Я отвратителен сам себе. Если бы я мог по крайней мере выплакать, высказать свою боль, свой позор! Или забыть их в потоке творящей силы! Но сила моя сломлена, творчество мое иссякло. Я — мертвое дерево...

Мертвое... О, зачем я не мертв! Господи, освободи меня, разбей это тело и эту душу, оторви меня от земли, вырви меня с корнем из жизни, спаси меня, вытащи меня из бездны! Я взываю о пощаде... Убей меня!»

Так взывала скорбь Кристофа к богу, в которого разум его не верил.

Кристоф нашел себе убежище на уединенной ферме, в Швейцарской Юре. Дом, задней своей стеной обращенный к лесу, скрывался в одной из ложин высокого холмистого плоскогорья. Неровности почвы охраняли его от северных ветров. Спереди простирались луга, тянулись лесистые склоны; скала внезапно обрывалась отвесной кручей, искривленные ели цеплялись за ее края; ветвистые буки стояли, точно отпрянув назад. Угасшее небо. Исчезнувшая жизнь. Какое-то отвлеченное пространство со смутными очертаниями. Все спало под снегом. Только лисицы по ночам лаяли в лесу. Был конец зимы. Запоздалой зимы. Бесконечной зимы. Каждый раз, когда казалось, что она уже кончилась, она начиналась сызнова.

Но вот уже с неделю старая оцепеневшая земля почувствовала, как возрождается в ней жизнь. Ранняя обманчивая весна проникала в воздух и под ледяную кору. С буковых ветвей, распростертых подобно парящим крыльям, капал тающий снег. Сквозь белый плащ, покрывавший луга, уже пробивались редкие нежнозеленые травинки; вокруг их тоненьких иголок через прорехи снега, точно через маленькие рты, дышала влажная и черная земля. В дневные часы журчала вода, еще сонная под своим ледяным покровом. В обнаженных лесах несколько птиц уже насвистывало свои звонкие, еще робкие песни.

Кристоф ничего не замечал. Для него все оставалось неизменным. Он без конца шагал взад и вперед по комнате или бродил вокруг дома. Невозможно было сидеть на месте: душу его терзали вселившиеся в нее демоны. Они вырывали ее друг у друга. Подавленная страсть продолжала бешено биться о стены дома. Отвращение к страсти было не менее яростным; оба эти чувства хва-

тали друг друга за горло и в своей жестокой схватке раздирали сердце на части. И тут же — воспоминание об Оливье, отчаянье, вызванное его смертью, не находившая себе выхода неотвязная потребность творчества, гордость, встававшая на дыбы перед зияющей пустотой небытия. Все дьяволы ада бушевали в Кристофе. Ни минуты передышки. А если и наступало обманчивое затишье, если вздымающиеся волны и опадали на мгновение, то он снова оставался одиноким и покинутым и уже не узнавал сам себя: мысль, любовь, воля — все было убито.

Творить! Это был единственный исход. Отдать на волю волн разбитый челн своей жизни. Броситься вплавь в спасительные грезы искусства! Творить! Он жаждал этого... И не мог.

Кристоф никогда не умел работать методически. Пока он был сильным и здоровым, его скорее смущал избыток творческого вдохновения, чем мысль, что оно может оскудеть; он поддавался своим прихотям, работал, как ему вздумается, в зависимости от случайных обстоятельств, не подчиняясь никаким правилам. В действительности он работал всюду и всегда; мозг его непрерывно был занят. Не раз Оливье, менее одаренный и более расудительный, предупреждал его:

— Берегись. Ты слишком доверяешься своей силе. Ты словно горный поток. Сегодня он полон, завтра, быть может, иссякнет. Художник должен направлять свой гений, не позволять ему распыляться по воле случая. Введи свою силу в русло. Подчини себя привычкам, гигиене ежедневной работы в определенные часы. Они так же необходимы художнику, как военная выправка и маршировка солдату, которому предстоит сражаться. Когда наступают критические минуты (а они всегда наступают), эти железные доспехи не дают человеку упасть. Я-то это хорошо знаю! И если я до сих пор не умер, то только потому, что они спасали меня.

Но Кристоф возражал, смеясь:

— Все это хорошо для тебя, мой дорогой. А мне не грозит опасность потерять вкус к жизни. У меня слишком хороший аппетит.

Оливье пожимал плечами:



— Избыток влечет за собой оскудение. Нет опаснее больных, чем слишком здоровые люди.

Слова Оливье теперь оправдались. После смерти друга родник, питавший внутренний огонь, иссяк не сразу, он стал течь с какими-то перебоями: то внезапными струйками пробивался наружу, то терялся под землею. Кристоф не обращал на это внимания — не все ли ему было равно? Скорбь и зарождавшаяся страсть поглощали его мысли. Но когда миновала буря и он снова стал разыскивать родник, чтобы напиться, он не нашел ничего. Пустыня. Ни капли воды. Душа высохла. Тщетно пытался он рыть песок, заставить бить ключом подпочвенные воды, творить во что бы то ни стало, — механизм мысли отказывался работать. Он не мог призвать на помощь привычку, верную союзницу, которая, когда мы утрачиваем всякий смысл жизни, одна остается подле нас; преданная и упорная, без единого лишнего слова, без единого жеста, с застывшим взором и сомкнутыми устами, твердой, недрогнувшей рукой она ведет нас по опасным теснинам до тех пор, пока снова не блеснет дневной свет и не появится вкус к жизни. Кристоф оставался без помощи, и рука его не встречала ничьей руки в окружавшей его тьме. Он не мог уже выйти на дневной свет.

Это было последнее испытание. Он почувствовал себя на грани безумия. Порою — нелепая и сумасшедшая борьба с собственным мозгом, навязчивые идеи, какая-то одержимость числами: он пересчитывал доски на полу, деревья в лесу; цифры и аккорды, в которых ему не удавалось разобраться, сражались в его голове в полном боевом порядке. Порою он впадал в состояние прострации, точно уже умер.

Никто не заботился о нем. Он жил в уединенном флигеле, на отшибе. Сам убирал комнату, и убирал не каждый день. Пищу ему оставляли внизу; он не видел ни одного человеческого лица.

Хозяин его, старый крестьянин, сумрачный, черствый, не интересовался им. Ел ли Кристоф, не ел ли — это его не касалось. Разве что вечером проверит, вернулся ли он. Однажды Кристоф заблудился в лесу, увяз почти по пояс в снегу; еще немного — и он бы не смог

вернуться. Он старался доконать себя усталостью, чтобы не думать. Это ему не удавалось. Только изредка — несколько часов сна, вызванного полным изнурением.

Одно лишь живое существо, казалось, было привязано к нему — старый сенбернар, который подходил к нему и клал свою большую голову с налитыми кровью глазами ему на колени, когда Кристоф сидел на скамейке перед домом. Они подолгу смотрели друг на друга. Кристоф не отталкивал его. Его не смущали эти глаза, как смущали когда-то больного Гёте. Ему не хотелось крикнуть: «Уйди! Как ни старайся, злой дух, тебе меня не спавать!»

Он рад был бы ответить этим умоляющим, сонным глазам, рад был бы прийти им на помощь: он чувствовал в них плененную, просящую его о чем-то душу.

В эту пору, размягченный страданием, живьем вырванный из жизни, лишенный человеческого эгоизма, он видел мучения беззащитных жертв человека, видел бранное поле, на котором, убивая других существ, торжествует человек, и сердце Кристофа разрывалось от жалости и ужаса. Даже в счастливые свои дни он любил животных; он не мог выносить жестокости по отношению к ним; к охоте у него было отвращение, которого он не решался высказывать, боясь показаться смешным; быть может, это чувство было тайной причиной его необъяснимого отчуждения от некоторых людей: никогда не мог бы он подружиться с человеком, убивающим животных ради удовольствия. Тут не было сентиментальности: он лучше, чем кто-либо, знал, что жизнь основана на безмерных страданиях и беспредельной жестокости; нельзя жить, не причиняя страданий. Нельзя просто закрывать глаза и утешаться словами. Нельзя отречься от жизни и хныкать, как ребенок. Нет. Надо убивать, чтобы жить, если в данное время нет иного способа жить. Но тот, кто убивает ради удовольствия убить, — негодяй. Бессознательный негодяй, разумеется. Но все же негодяй. Все усилия человека должны быть постоянно направлены на то, чтобы уменьшить количество страданий и жестокости: это его первый долг.

В обычных условиях мысли эти лежали у Кристофа под спудом, в самой глубине сердца. Он не хотел об

этом думать. К чему? Чем он может помочь? Он должен быть Кристофом, должен осуществить свое призвание, жить во что бы то ни стало, жить за счет более слабых. Не он создал вселенную. Не надо, не надо думать об этом...

Но после того как несчастье отбросило и его в ряды побежденных, ему все же пришлось об этом подумать. Когда-то он порицал Оливье, погруженного в бесплодные угрызения и тщетное сочувствие горестям, которые люди испытывают и сами причиняют другим. Теперь он даже превзошел его; с пылкостью, свойственной могучей натуре, он проникал в самую глубь мировой трагедии; он страдал всеми муками мира, с него словно содрали кожу. Он не мог больше без тоскливого содрогания думать о животных. Он читал в их взглядах, он прозревал их душу, подобную своей, душу, не умеющую высказаться, но глаза кричали вместо нее: «Что я вам сделал? За что вы мучаете меня?»

Самое обыденное зрелище, которое он видел сотни раз, раздирало ему сердце: вот маленький теленок, посаженный в решетчатый ящик, жалобно мычит — у него большие черные глаза навывкате с голубоватым белком, розовые веки, белые ресницы, белый курчавый клок на лбу, лиловатое рыльце, узловатые колени; вот ягненок с болтающейся головой, которого крестьянин несет, держа за связанные ноги, — он старается вырваться, стонет, как ребенок, и блеет, вытягивая серый язык; вот куры, втиснутые в корзинку; вот слышится в отдалении визг закалываемой свиньи; вот потрошат на кухонном столе рыбу... Кристоф не мог больше выносить этого. У него сжималось сердце от несказанных пыток, которым подвергает человек эти невинные существа. Наделите животное проблеском разума; представьте себе, каким ужасным сном является для него наш мир: равнодушные, слепые и глухие люди, которые убивают его, вспарывают ему живот, режут его на куски, свежуют, варят живьем, забавляются его предсмертными судорогами. Возможно ли найти что-нибудь страшнее среди африканских людоедов? Для людей свободной совести в страдании животных есть что-то еще более невыносимое, чем в человеческих страданиях. Здесь по крайней

мере признано, что страдания — это зло и что тот, кто причиняет их, преступен. Но тысячи зверей убивают каждый день зря, без всякой тени раскаяния. Кто намекнул бы на это, вызвал бы насмешки. А ведь это непростительное преступление. Одно оно уже оправдывает все уготованные человеку страдания. Оно вызывает об отщеплении роду человеческому. Если бог существует и терпит это, то оно вызывает об отщеплении к самому богу. Если существует милосердный бог, ничтожнейшее из этих живых созданий должно быть спасено. Если бог милосерден только к сильным, если нет справедливости для несчастных, для низших существ, принесенных в жертву человечеству, то нет в мире доброты, нет справедливости...

Увы! Убийства, совершаемые человеком, занимают такое ничтожное место в мировой бойне! Животные пожирают друг друга. Мирные растения, безмолвные деревья — лютые звери друг для друга. Безмятежный покой лесов — излюбленная тема для риторики литераторов, знающих природу только по книгам! В лесу, расположенном в нескольких шагах от дома Кристофа, происходили грозные битвы. Буки-убийцы набрасывались на сосны с их прекрасным розоватым телом, обвивали их стройный стан, подобный древним колоннам, и душили их. Они наваливались на дубы, ломали их, делали из них для себя подпорки. Буки, эти сторукие Бриареи, по десяти деревьев в одном! Они распространяли вокруг себя смерть. Когда же, за неимением врагов, они встречались друг с другом, то в бешенстве сцеплялись в рукопашном бою, пронзая друг друга, срастаясь, сплетаясь, как допотопные чудовища. Пониже, в лесу, засевшие в засаде акации вторгались на поляну, нападали на ельник, хватали и цапалали вражеские корни, отравляли их своими выделениями. Борьба насмерть, в которой победитель овладевал одновременно и местом и останками побежденного. А потом крошечные существа завершали дело больших чудовищ. Пробившиеся между корнями грибы высасывали соки из большого дерева, мало-помалу опустошая его. Черные муравьи разъедали гниющий ствол. Миллионы невидимых насекомых грызли, сверлили,

обращали в прах то, что было когда-то жизнью... О, безмолвие лесных битв! О, покой природы — трагическая маска, прикрывающая страдальческое и жестокое лицо Жизни!

Кристоф шел ко дну. Но он был не из тех, кто тонет, не пытаясь бороться, держа руки по швам. Как ни хотелось ему умереть, он делал все, что только мог, чтобы выжить. Он был из тех, кто, как говорил Моцарт, «хочет действовать до тех пор, пока, наконец, не останется никакой возможности что-либо делать». Он чувствовал, что погибает, и, падая, простирает руки во все стороны, ища опоры, за которую мог бы зацепиться. Ему показалось было, что он нашел ее. Он вдруг вспомнил о ребенке Оливье и тотчас же сосредоточил на нем всю свою волю к жизни; он ухватился за него. Да, он должен разыскать его, вытребовать к себе, воспитать, любить, заменить ему отца, возродить Оливье в его сыне. Как мог он в своем эгоистическом страдании не подумать об этом? Он написал Сесили, на попечении которой оставался ребенок. Он лихорадочно ждал ответа. Все существо его тянулось к одной этой мысли. Он принуждал себя к спокойствию: у него оставалась возможность надеяться. Он верил, зная доброту Сесили.

Пришел ответ. Сесиль писала, что через три месяца после смерти Оливье к ней явилась какая-то дама в трауре и сказала:

— Верните мне моего ребенка.

Это была та, что покинула когда-то своего ребенка и Оливье, — Жаклина, но настолько изменившаяся, что трудно было ее узнать. Ее любовное безумие длилось недолго. Она охладела к любовнику раньше, чем он к ней. Она вернулась разбитая, пресыщенная, постаревшая. Слишком громкий скандал, вызванный ее похождениями, закрыл перед нею двери многих домов. Наименее щепетильные оказались наиболее строгими. Даже ее мать выказала ей такое оскорбительное презрение, что Жаклина не могла у нее остаться. Она увидела насквозь лицемерие «света». Смерть Оливье окончательно сразила ее. Она казалась такой пришибленной, что Сесиль почувствовала

себя не вправе отказать в ее просьбе. Было, конечно, тяжело отдавать маленькое существо, которое уже привык считать своим. Но еще тяжелее быть жестоким с человеком, у которого больше прав, чем у тебя, и который несчастнее тебя. Она хотела было написать Кристофу, спросить у него совета. Но Кристоф ни разу не ответил на ее письма; она не знала даже, жив он или умер... Радость приходит и уходит. Что делать? Надо смириться. Главное, чтобы ребенок был счастлив и любим...

Письмо пришло вечером. Запоздалый возврат зимы снова укрыл все снегом. Он падал всю ночь. В лесу, где уже распустились листочки, под тяжестью его трещали и ломились деревья. Это походило на пушечную пальбу. Кристоф, один у себя в комнате, без огня, посреди фосфоресцирующего мрака, прислушивался к лесной трагедии, вздрагивая при каждом выстреле; и он сам похож был на одно из этих согбленных под тяжестью, скрипящих деревьев. Он говорил себе:

«Теперь все кончено».

Прошла ночь, вернулся день; дерево не сломалось. Весь этот день и следующую ночь и все последующие дни и ночи дерево продолжало гнуться и скрипеть, но оно не сломалось. Кристофу уже незачем было жить, а он жил. Ничто уже не побуждало его к борьбе, а он боролся в рукопашной схватке с невидимым врагом, дробящим ему позвоночник. Точно Иаков с ангелом! Он ничего не ждал от борьбы, ничего не ждал, кроме конца, и все же продолжал бороться. И он взывал:

— Сокруши же меня! Почему ты меня не сокрушаешь?

Прошло всего несколько дней. Кристоф вышел из битвы опустошенным. Он все-таки упорно держался на ногах, выходил, бродил. Счастливы те, кого здоровая порода поддерживает в минуты жизненных затмений! Ноги отца и деда носили готовое уже рухнуть тело сына; семя могучих предков поддерживало разбитую душу, точно мертвого всадника, которого уносит конь.

Кристоф шел по гребню холма между двумя оврагами, спускаясь узкой тропинкой, усеянной острыми камнями и оплетенной узловатыми корнями малорослых дубков, — шел, сам не зная куда, но более уверенный в своем пути, чем если бы им руководила ясная воля. Он давно не спал. За последние дни он почти ничего не ел. В глазах у него стоял туман. Он спускался в долину. Была пасхальная неделя. Все тонуло в дымке. Последний натиск зимы был отбит. Назревала жаркая весна. Из нижних сел доносился звон колоколов. Сперва из одного — гнездившегося в углублении у подножья горы с пестрыми, черно-желтыми соломенными крышами, которые словно бархатом покрыты были густым мхом. Затем из другого — невидимого, на другом склоне холма. Потом из тех, что на равнине, по ту сторону реки. И, наконец, дальний звон большого колокола из города, затерявшегося в тумане. Кристоф остановился. Сердце его изнемогало. Голоса эти, казалось, говорили ему:

«Приди к нам! Здесь покой. Здесь угасает страдание. Угасает вместе с мыслью. Мы так сладко убаюкиваем душу, что она засыпает у нас на руках. Приди и отдохни, ты больше не проснешься...»

Каким он чувствовал себя усталым! Как хотелось ему уснуть! Но он покачал головой и сказал:

«Не покоя ищу я, а жизни».

Он снова пустился в путь. Сам того не замечая, он прошел несколько миль. В бредовом состоянии, в котором он находился, самые простые ощущения вызывали неожиданную реакцию. Мысль его отбрасывала на землю и в воздух причудливые отблески. Какая-то непонятная тень, бежавшая перед ним по белой, пустынной, залитой солнцем дороге, заставила его вадрогнуть.

Выйдя из лесу, он очутился у незнакомого села. Он повернул обратно: вид людей был ему тягостен. Но все-таки он не мог миновать одинокого дома, стоявшего в стороне над поселком; дом этот прилепился к выступу горы и похож был на санаторий; его окружал большой открытый солнечным лучам сад; какие-то фигуры неверными шагами бродили по усыпанным песком дорожкам. Кристоф не обратил на них внимания, но на повороте

тропинки он оказался лицом к лицу с одним из них. У незнакомца были тусклые глаза и жирное лицо; сидя на скамье под сенью двух тополей, он неподвижно смотрел куда-то перед собой. Рядом с ним сидел другой человек; оба молчали. Кристоф прошел мимо. Но, сделав четыре шага, остановился: глаза эти были ему знакомы. Он оглянулся. Человек не пошевелился — он продолжал пристально смотреть прямо перед собой. Но спутник его обернулся к Кристофу, который знаком подозвал его к себе. Человек подошел.

— Кто это? — спросил Кристоф.

— Это больной из дома умалишенных, — сказал человек, указывая на строение.

— Мне кажется, что я его знаю, — сказал Кристоф.

— Возможно, — ответил тот. — Он был очень известным писателем в Германии.

Кристоф назвал имя. Да, имя было то самое. Он встречал его раньше, в те времена, когда писал в мангеймовской газете. Тогда они были врагами; Кристоф только начинал, а тот был уже знаменит. Это был сильный и уверенный в себе человек, презиравший всех, кроме себя, замечательный романист, чье реалистическое и чувственное творчество стояло много выше посредственных произведений современности. Кристоф, при всей своей ненависти, не мог не восхищаться совершенством этого искусства, вещественного, искреннего, но ограниченного.

— Это с ним стряслось год назад, — сказал санитар. — Его лечили, думали, что он выздоровел; отпустили домой. А потом началось все сызнова; как-то вечером он выбросился из окна. Первое время он был буйным, раздражался, кричал. Теперь он успокоился. Он проводит дни, сидя на одном месте, вот как сейчас.

— На что это он смотрит? — спросил Кристоф.

Он подошел к скамье. Он с жалостью разглядывал бледное лицо побежденного, тяжелые, нависшие на глаза веки; один глаз был почти закрыт. Сумасшедший, казалось, не замечал присутствия Кристофа. Кристоф назвал его по имени, взял его руку, мягкую и влажную руку, беспомощную, точно мертвую; у него не хватило смелости задержать ее в своей. Человек на мгновенье



поднял на Кристофа свои блуждающие глаза, потом снова устоялся прямо перед собой с бессмысленной улыбкой. Кристоф спросил:

— На что вы смотрите?

Человек, не двигаясь, прсмолвил вполголоса:

— Я жду.

— Чего?

— Воскресения.

Кристоф вздрогнул. Потом поспешно удалился. Слово пронзило его точно огненной стрелой.

Он углубился в лесную чащу, снова поднялся на гору и направился обратно к дому. В смятении своем он сбился с дороги и очутился среди большого елового леса. Мрак и тишина. Несколько светлорыжих солнечных пятен, проникших неизвестно откуда, падали в самую гущу тени. Кристофа завораживали эти блики. Все вокруг казалось тьмою. Он шел по ковру из сухих еловых игл, спотыкаясь о корни, выпиравшие, точно набухшие жилы. У подножья деревьев — ни былинки, ни мха. В ветвях — ни единого птичьего голоса. Нижние ветки засохли. Вся жизнь перекочевала наверх, туда, где солнце. Скоро и эта жизнь угасла. Кристоф вошел в чащу, подтачиваемую каким-то таинственным недугом. Длинные и тонкие, как паутина, лишай опутывали своей сетью ветви красных елей, связывали их до самой вершины, перекидывались с одного дерева на другое, душили лес. Точно подводные водоросли с невидимыми щупальцами. А вокруг было безмолвие морских глубин. Наверху бледнело солнце. Туманы, коварно пробравшиеся вглубь мертвого леса, обступили Кристофа. Все погрузилось в сумрак, все исчезло. В течение получаса Кристоф бродил наугад в пелене белого тумана, которая постепенно становилась плотнее, темнела, проникала ему в грудь; ему казалось, что он идет прямо, на самом же деле он все кружил под гигантскими паутинами, свисавшими с задущенных елей; туман, проходя сквозь них, оставлял на них дрожащие студенья капли. Наконец, петли поределели, образовался просвет, и Кристофу удалось выбраться из подводного леса. Он снова увидел живые деревья и молчаливую борьбу елей и буков. Но всюду была та же неподвижность. Тишина, нарастав-

шая в продолжение многих часов, томила. Кристоф оставался, чтобы прислушаться к ней...

И вдруг вдали — надвигающийся ропот. Ветер-предвестник вырвался из глубины леса. Как мчащийся во весь опор конь, налетел он на верхушки деревьев, и они заколыхались. Так пролетает в смерче бог Микеланджело. Он пронесся над головой Кристофа. Лес и сердце Кристофа содрогнулись. Это был предтеча...

Снова водворилась тишина. Кристоф, охваченный священным ужасом, с подкашивающимися ногами, тревожно вернулся домой. На пороге он тревожно оглянулся, как человек, которого преследуют. Природа казалась мертвой. Леса, покрывавшие склоны горы, спали, отягченные гнетущей печалью. В неподвижном воздухе стояла какая-то волшебная прозрачность. Ни звука. Только погребальная музыка потока — воды, гложущей камень, — звучала как похоронный звон земли. Кристоф прилег; его лихорадило. В соседнем хлеву, встревоженные, как и он, волновались животные...

Ночь. Он задремал. В тишине снова послышался дальний ропот. Ветер возвращался на этот раз уже ураганом — весенний ветер, согревающий жарким своим дыханием зябкую, еще спящую землю, ветер, растапливающий льды и собирающий живительные дожди. Он грохотал, как гром, в лесах по ту сторону оврага. Он приблизился, разросся, промчался вверх по склонам, и вся гора взревела. В хлеву заржала лошадь, замычали коровы. Кристоф, приподнявшись на кровати, слушал; волосы у него встали дыбом. Буря налетела, заулюлюкала, захлопала ставнями, заскрипела флюгерами, сорвала черепицы с крыши, сотрясая весь дом. Горшок с цветами упал и разбился. Неплотно закрытое окно Кристофа с шумом распахнулось, и в комнату ворвался горячий ветер. Он ударил Кристофа прямо в лицо и в обнаженную грудь. Кристоф, задыхаясь, с открытым ртом, соскочил с кровати. В его пустую душу точно ворвался живой бог. Воскресение!.. Воздух наполнял его грудь, поток новой жизни проникал в него до самых недр. Он чувствовал, что вот-вот задохнется; ему хотелось кричать, кричать от боли и радости, но с уст его слетали одни только нечленораздельные звуки... Он спо-

тыкался, он колотил в стену руками, он метался среди бумаг, подхваченных ворвавшимся в комнату вихрем. Он упал на пол посреди комнаты, крича:

— О, ты, ты! Наконец-то ты вернулся!

— Ты вернулся, ты вернулся! О, ты, кого я утратил!.. Зачем ты покинул меня?

— Чтобы выполнять возложенную на меня миссию, от которой ты отрекся.

— Какую миссию?

— Борьбу.

— К чему тебе бороться? Разве ты не властелин всего мира?

— Я не властелин.

— Разве ты не все сущее?

— Я не все сущее. Я Жизнь, борющаяся с Небытием. А не Небытие. Я — Огонь, горящий в Ночи. А не Ночь. Я — вечная Борьба, а над борьбой нет вечного рока. Я — свободная Воля, вечно борющаяся свободная Воля. Борись и гори вместе со мной.

— Я побежден. Я более ни на что не годен.

— Ты побежден? Тебе кажется, что все потеряно? Другие будут победителями. Не думай о себе, думай о своей армии.

— Я один, у меня никого нет, кроме самого себя, и нет у меня армии.

— Ты не один, и ты не принадлежишь себе. Ты — один из моих голосов, одна из моих рук. Говори и рази за меня. Но если рука сломана, если голос заглох, я все-таки сражаюсь стойко. Я продолжаю бороться другими голосами, другими руками. Побежденный, ты все же принадлежишь к армии, вовеки непобедимой. Помни это — и ты пребудешь победителем и в самой смерти.

— Владыка, я так страдаю!

— А я, ты думаешь, не страдаю? Уже века преследует меня смерть и подстерегает небытие. Только битвами, только победами прокладываю я себе путь. Река жизни обагрена моей кровью.

— Бороться, вечно бороться?

— Надо вечно бороться. Бог тоже борется. Бог — завоеватель. Он — лев пожирающий. Небытие обступает бога, и бог повергает его во прах. И ритм этой борьбы создает высшую гармонию. Гармония эта — не для твоего смертного слуха. Достаточно тебе знать, что она существует. Делай свое дело с миром; остальное предоставь богам.

— У меня нет больше сил.

— Пой для тех, кто силен.

— Голос мой умолк.

— Молись.

— Сердце мое осквернено.

— Вырви его. Возьми мое.

— Владыка, нетрудно забыть себя, отбросить свою мертвую душу. Но могу ли я отбросить моих мертвецов, могу ли забыть любимых?

— Брось своих мертвецов вместе с мертвой своей душой. Ты снова обрешь их живыми вместе с моей живой душой.

— О, ты, покинувший меня, покинешь ли ты меня снова?

— Да, покину снова. Не сомневайся в этом. Это ты не должен покидать меня.

— Но если жизнь моя угасает?

— Зажги другие жизни.

— Но если во мне смерть?

— Жизнь вне тебя. Иди отвори ей двери. Безумец, запирающийся в своем разрушенном доме! Выйди наружу. Есть другие жилища.

— О жизнь, о жизнь! Вижу... Я искал тебя в себе, в своей пустой и замкнутой душе. Душа моя распадается; в окна ран моих хлынул воздух; я дышу, я снова нашел тебя, о жизнь!

— И я нашел тебя снова... Молчи и слушай,

И Кристоф услышал, словно журчание родника, закипающую в нем песню жизни. Высунувшись из окна, он увидел лес, вчера мертвый, а теперь кипевший на ветру и на солнце и вздымавшийся, как море. По

хребту деревьев радостной дрожью пробежали волны ветра; и согнутые ветви простирали свои ликующие руки к ослепительному небу. А поток звенел, как праздничный колокол. Тот же пейзаж, вчера покоившийся в могиле, воскрес, к нему вернулась жизнь, так же как любовь вернулась в сердце Кристофа. Чудо души, которой коснулась благодать! Она пробуждается к жизни! И все оживает вокруг нее. Сердце вновь начинает биться. Вновь струятся иссякшие ключи.

И Кристоф снова вступил в священную битву. Но как теряется его собственная борьба, так теряется борьба всего человечества в этой гигантской схватке, где падают солнца, словно снежные хлопья, сметаемые вихрем! Он обнажил свою душу. Точно во сне, он витал в пространстве, он реял над самим собой, он видел себя с высоты, в совокупности явлений, и сразу же открылся ему смысл его страданий. Его борьба была частью великой космической битвы. Его поражение было лишь мимолетным эпизодом, тотчас же исправленным другими. Он боролся за всех, все боролись за него. Они разделяли его горести, он разделял их славу.

«Товарищи, враги, шагайте через меня, топчите меня, пусть пройдут по моему телу колеса пушек, которым суждено победить! Я не думаю о железе, терзающем мою плоть, не думаю о стопе, попирающей мою голову, я думаю о Мстителе, о Владыке, о Вожде бесчисленной армии. Кровь моя — цемент грядущей победы...»

Бог не был для него бесстрастным творцом, Нероном, созерцающим с высоты своей бронзовой башни пожар в им же зажженном городе. Бог страдает, бог борется. Со всеми, кто борется, и за всех, кто страдает. Ибо он — Жизнь, капля света, которая, канув во тьму, расплывается и поглощает ночь. Но ночь безгранична, и божественная борьба никогда не прекращается, и никому не дано знать, каков будет ее исход. Героическая симфония, где даже сталкивающиеся друг с другом и сливающиеся диссонансы образуют светлую гармонию. Как буковый лес яростно сражается среди безмолвия, так среди вечного мира воюет Жизнь.

Эти битвы, этот мир звучали в сердце Кристофа. Он был раковиной, в которой шумит океан. Трубные зовы, вихри звуков, героические клики проносились на крыльях властных ритмов. Ибо все становилось музыкой в его музыкальной душе. Она воспевала свет. Она воспевала ночь. И жизнь. И смерть. Она пела для того, кто был победителем. Для него самого, побежденного. Она пела. Все пело. И вся она была песней.

Подобно весенним дождям, струились потоки музыки в сухую почву, растрескавшуюся от зимней стужи. Стыд, скорбь, горечь обнаруживали теперь свое таинственное предназначение: они разрыхлили землю и оплодотворили ее; сошник страдания, раздирая сердце, открыл новые источники жизни. Степь зацветала снова. Но это уже не были цветы прошлой весны. Родилась другая душа.

Она рождалась каждый миг. Ибо она еще не окостенела, как души, достигшие своего предельного роста, как души, которым суждено умереть. Это была не статуя, а расплавленный металл. Каждое мгновение создавало из нее новую вселенную. Кристоф не пытался намечать ее границы. Он отдавался радости человека, который, сбросив бремя прошлого, отправляется в дальнейшее путешествие с обновленной кровью, с легким сердцем вдыхает морской воздух и думает, что странствию его не будет конца. Он снова был захвачен разлитой в мире творческой силой, и богатство мира наполняло его восторгом. Он любил, он ощущал своего ближнего как самого себя. И все было ему «ближним», начиная с травы, которую он попирает ногами, и кончая рукой, которую он пожимал. Дерево, тень облака на горе, дыхание лугов, разносимое ветром, улей ночного неба, гудящий роями солнц... какой-то вихрь в крови... Он не пытался ни говорить, ни думать... Смеяться, плакать, раствориться в этом живом чуде! Писать — к чему писать? Разве можно выразить невыразимое? Но, возможно это или нет, он должен был писать. Таков был его удел. Мысли поражали его, точно молния, где бы он ни находился. Ждать было невозможно. Тогда он писал, чем попало и на чем попало. Часто он и сам не мог бы сказать, что означают эти бьющие ключом мелодии; и пока он писал, новые мысли приходили ему в голову, а за ними другие...

Он писал, писал на манжетах, на подкладке шляпы; как ни быстро он писал, мысль его текла еще быстрее, и ему приходилось чуть ли не стенографировать...

Это были лишь беспорядочные записи. Трудности начались тогда, когда он попробовал отлить свои мысли в обычные музыкальные формы. Он обнаружил, что ни одна из прежних форм не годится для них; если он хотел точно запечатлеть свои видения, то прежде всего должен был забыть все, что до сих пор слышал и писал, покончить с заученным формализмом, традиционной техникой, отшвырнуть костыли бессильного духа, эту готовую постель для ленивых, для тех, кто, избегая труда мыслить самостоятельно, укладывается в мысли других людей. Некогда, считая себя достигшим зрелости и в жизни и в искусстве (на самом деле он подходил к концу только одной из своих жизней), он изъяснялся на языке, существовавшем до рождения его мысли; чувство его покорялось заранее установленной логике развития, которая подсказывала ему иные фразы и вела его, послушного, проторенными дорогами к пределу, принятому публикой. Ныне перед ним не было никакой дороги; чувству представлялось самому прокладывать ее, уму оставалось лишь следовать за ним. Ныне его роль состояла даже не в том, чтобы изобразить страсть, — он должен был слиться с нею воедино и постараться воспринять внутренний ее закон.

Одновременно рушились противоречия, среди которых, не желая в этом сознаться, уже давно бился Кристоф. Ибо, несмотря на то, что он был подлинным художником, он все же часто примешивал к искусству задачи, ему чуждые; он приписывал ему некую социальную миссию. И не замечал, что в нем самом было два человека: художник, который творит, не заботясь ни о каких моральных выводах, и человек действия, рассуждающий и стремящийся сделать свое искусство высокоморальным и общественным. Подчас они ставили друг друга в весьма затруднительное положение. Теперь, когда любая творческая мысль со своим органически присущим ей законом представлялась ему высшей реальностью, он был вырван из рабства практического разума. Разумеется, он, как и прежде, презирал вялую безнравственность своего вре-

мени; разумеется, он продолжал думать, что нездоровое, развращенное искусство есть низшая ступень искусства, ибо оно представляет собою болезнь, грибок, растущий на гнилом стволе, но если искусство ради забавы есть протитутуируемое искусство, то Кристоф все же не противопоставлял ему пошлого утилитаризма искусства ради морали, этого бескрылого Пегаса, впряженного в плуг. Высшее искусство, единственно заслуживающее этого имени, стоит над законами и требованиями дня: оно — словно комета, брошенная в беспредельность. Полезна ли эта сила, или кажется нам бесполезной и даже опасной с практической точки зрения, но она — сила, она — пламень, она — молния, брызнувшая с неба; и тем самым она священна, тем самым она благодатна. Блага ее случайно могут принести пользу, но истинная ее божественная благодать принадлежит, как и вера, к явлениям сверхъестественным. Она подобна солнцу, от которого произошла. Солнце ни нравственно, ни безнравственно. Оно — начало всего сущего. Оно побеждает тьму вселенной. Таково и искусство.

Отдавшись во власть искусства, Кристоф с изумлением заметил, как возникают в нем неведомые силы, о которых он раньше не подозревал: нечто совсем иное, чем его страсти, его печали, сознательная его душа, — новая незнакомая душа, равнодушная ко всему, что он любил и чем болел, ко всей его жизни, душа радостная, взбалмошная, дикая, непостижимая... Она взнуздавала его, ударами шпор раздираала ему бока. И в редкие минуты, когда ему удавалось вздохнуть свободно, он спрашивал себя, перечитывая только что написанное: «Как могло это, вот это, возникнуть во мне?»

Он был одержим умственной лихорадкой, знакомой каждому гению, чужой волей, не зависимой от его воли, «той неизъяснимой загадкой мира и жизни», которую Гёте называл «чертовщиной», и хотя был всегда вооружен против нее, однако нередко ей подчинялся.

И Кристоф все писал и писал. Целыми днями, неделями. Бывают периоды, когда оплодотворенный дух может питаться исключительно собою и продолжает творить почти беспредельно. Достаточно легкого прикосновения цветочной пыльцы, занесенной ветром, чтобы воз-



шли и расцвели внутренние всходы, мириады всходов. Кристофу не хватало времени думать, не хватало времени жить. На развалинах жизни царил творческая душа.

Потом все оборвалось. Кристоф вышел из этого испытания разбитый, опаленный, постаревший на десять лет, — но вышел, спасся. Кристоф отошел от себя и приблизился к богу.

В его черных волосах неожиданно появились седые пряди, как осенние цветы, сентябрьской ночью внезапно расцветающие на лугах. Новые морщины бороздили его щеки. Но глаза обрели прежнее спокойствие, и складки у рта выражали смирение. Кристоф был умиротворен. Теперь он понимал. Он понимал тщету своей гордыни, тщету гордыни человеческой под угрожающим кулаком Силы, приводящей в движение миры. Никто не может быть уверен, что он властен над собой. Надо всегда бодрствовать. Ибо, если заснуть, Сила ворвется в нас, унесет нас... в какие бездны? Или же поток отхлынет и оставит нас в своем высохшем русле. Недостаточно даже хотеть, чтобы бороться. Надо смириться перед неведомым богом, который *flat ubi vult*<sup>1</sup>, который насыляет, когда ему вздумается и куда ему вздумается, — любовь, смерть или жизнь. Человеческая воля бессильна без его воли. Ему достаточно одного мига, чтобы уничтожить целые годы труда и напряжения. И, если ему угодно, он из праха и грязи может вызвать к жизни вечное. Никто не чувствует себя в его власти так, как художник творец, ибо, если он поистине велик, он говорит только то, что подсказывает ему дух.

И Кристоф понял мудрость старого Гайдна, преклонявшего колени каждое утро перед тем, как взяться за перо... *Vigila et ora*. Бодрствуйте и молитесь. Молитесь богу, чтобы он не оставил вас. Пребывайте в любовном и благоговейном общении с Духом жизни!

К концу лета один из парижских друзей, проезжая по Швейцарии, открыл убежище Кристофа. Он посетил его. Это был музыкальный критик, который всегда вы-

<sup>1</sup> веет, где хочет (лат.).

казывал себя лучшим ценителем его сочинений. Его сопровождал известный живописец, выдававший себя за меломана и поклонника Кристофа. Они сообщили о большом успехе его произведений: их исполняли повсюду в Европе. Кристоф проявил мало интереса к этому известию: прошлое умерло для него; прежние произведения для него уже не существовали. По просьбе гостя, он показал ему то, что недавно написал. Тот ничего не понял. Он подумал, что Кристоф сошел с ума.

— Ни мелодии, ни ритма, ни разработки тем; какое-то жидкое ядро, расплавленная, еще не остывшая материя, принимающая любые формы и не имеющая ни одной; это ни на что не похоже; какие-то проблески в хаосе.

Кристоф улыбнулся.

— Это почти так и есть, — сказал он. — «Глаза хаоса, мерцающие сквозь покрывало порядка...»

Но тот не понял слов Новалиса.

(«Исписался», — подумал он про себя.)

Кристоф и не старался, чтобы его поняли.

Когда гости распрощались, он проводил их немного, чтобы показать им красоты своих гор. Но прошел с ними не очень далеко. По поводу любого пейзажа музыкальный критик вспоминал декорации парижского театра, а живописец отмечал тона, беспощадно критикуя их неумелые сочетания, которые, по его мнению, напоминали торт с начинкой из ревеня в швейцарском вкусе, — кислое со сладким, в стиле Годлера; помимо того, он всячески подчеркивал свое равнодушие к природе, в сущности не совсем притворное. Он прикидывался, что не знает ее.

— Природа! Что это такое? Понятия не имею! Цвет, светотень — это другое дело! А природа — плевать мне на нее...

Кристоф пожал им руки и расстался с ними. Все это уже не трогало его. Они были по ту сторону оврага. И это было хорошо. Никому он не сказал бы: «Чтобы добраться до меня, идите вон той дорогой».

Творческий огонь, которым он горел целыми месяцами, погас. Но в сердце Кристофа сохранялось его благодотворное тепло. Он знал, что огонь этот возродится

если не в нем, то в ком-нибудь другом. Где бы он ни вспыхнул, он так же будет любить его, это будет все тот же огонь. На склоне этого сентябрьского дня Кристоф чувствовал его разлитым во всей природе.

Он направился к себе домой. Недавно прошла гроза. А теперь светило солнце. Луга дымились. С яблонь на сырую траву падали спелые плоды. Паутины, растянутые на ветках елей, еще блестящие от дождя, походили на архаические колеса микенских колесниц. На опушке влажного леса отрывистым смехом заливался зеленый дятел. И мириады маленьких ос, плясавших в солнечных лучах, наполняли лесные своды непрерывным и глубоким гудением органа.

Кристоф очутился на поляне, в глубине горной расщелины, в замкнутой маленькой долине правильной овальной формы, затопленной лучами заходящего солнца: красная земля, посредине — золотистое поле, переспелые хлеба и тростники цвета ржавчины. А вокруг — пояс зреющих под осенним небом лесов: медно-красные буки, белокурые каштаны, коралловые гроздья рябины, огненные язычки пламенеющих вишневых деревьев, заросли вереска с оранжевыми, лимонными, темнокоричневыми, цвета жженого трута, листьями. Точно Неопалимая купина. И из сердцевины этой пламенной чащи взлетел опьяневший от зерна и солнца жаворонок.

И душа Кристофа была, как этот жаворонок. Он знал, что вскоре опять упадет и будет падать еще много раз. Но он знал также, что снова будет неустанно взлетать ввысь к солнцу, заливаясь трелью, воспевая для тех, кто внизу, лучезарные небеса.

**Книга десятая**  
**ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ**

Перевод  
*М. РОЖИЦИНОЙ*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОСЛЕДНЕЙ КНИГЕ

Я написал трагедию уходящего поколения, ничего не утаив. Я показал все: пороки и добродетели, гнетущую скорбь и внезапные вспышки гордости, героические усилия и изнеможение под тяжким бременем сверхчеловеческой задачи перестроить мир во всей его совокупности: мораль, эстетику, веру — создать новое человечество. Таковы были мы.

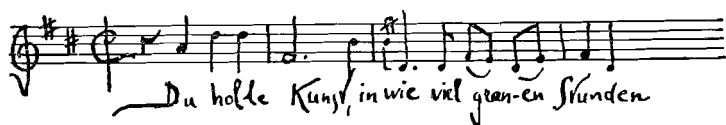
Люди сегодняшнего дня, молодежь, настал ваш черед! Пусть тела наши будут для вас ступенями — шагайте по ним вперед. Будьте выше и счастливее нас...

Я же прощаюсь со своей отжившей душой, отбрасываю ее, как пустую оболочку. Жизнь — чередование смертей и возрождений. Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!

*Р. Р.*

*Октябрь 1912 г.*





Жизнь проходит. Тело и душа иссякают, как поток. В сердцевине ствола стареющего дерева отмечаются года. Все в мире умирает и возрождается. Только ты, Музыка, не бренна, ты одна бессмертна. Ты — внутреннее море. Ты глубока, как душа. Суровый лик жизни не отражается в твоих ясных зрачках. Словно гряда облаков, проносится вдали от тебя вереница быстротечных знойных, ледяных, лихорадочных дней, подгоняемых беспокойством. Только ты одна не бренна. Ты вне мира. У тебя свой собственный мир. У тебя свои законы, свое солнце, свои приливы и отливы. Ты владеешь безмолвием звезд, проводящих в ночных просторах светящиеся борозды, — подобно серебряному плугу, управляемому уверенной рукой невидимого пахаря.

Музыка, светлый друг, как сладостен твой лунный свет для глаз, утомленных резким сиянием земного солнца! Душа, которая отвернулась от общего водопоя, где люди, чтобы напиться, месят тину ногами, торопится

---

<sup>1</sup> Искусство милое, как часто в мрачные часы... (нем.)



припасть к твоей груди и пьет из свежего родника мечты. Музыка, девственная мать, носящая все страсти в своем непорочном лоне, вмещающая добро и зло в озере своих глаз цвета камыша, цвета бледноизумрудной струи, стекающей с ледников, ты превыше добра, ты превыше зла. Нашедший в тебе прибежище живет вне веков. Цепь его дней покажется ему одним только днем, а всепожирающая смерть ломает на нем свои зубы.

Музыка, убаюкавшая мою страдавшуюся душу, Музыка, вернувшая мне ее сильной, спокойной и радостной, моя любовь и мое сокровище, — я целую твои чистые уста, я зарываюсь лицом в твои медовые волосы, я прижимаю горящие веки к мягким ладоням твоих рук. Мы молчим, глаза наши закрыты, но я вижу невыразимый свет твоих глаз, я пью улыбку твоего безмолвного рта и, прильнув к твоему сердцу, слушаю биение вечной жизни.

## Часть первая

Кристоф не считает больше убегающих лет. Капля по капле уходит жизнь. Но его жизнь уже не здесь. У нее нет больше собственной истории. История его жизни — произведения, которые он создает. Неумолчное пение бьющей ключом музыки переполняет душу и делает ее недоступной для мирской сутолоки.

Кристоф победил. Имя его получило признание. Года идут. Волосы его поседали. Но это нисколько не тревожит Кристофа. Сердце его попрежнему молодо, он не растерял своей силы, не отрекся от своей веры. Кристоф снова обрел спокойствие, но уже иное, чем до того, как он прошел через Неопалимую купину. В глубине его души еще живут отголоски пронесшейся грозы и воспоминание о бездне, которую разверзло перед ним разбушевавшееся море. Он знает — без соизволения бога, управляющего битвами, никто не смеет похвалиться, что он господин своей судьбы. В его душе обитают две души. Одна — высокое плоскогорье, исхлестанное ветрами и дождями. Другая — господствующая над ней, — покрытая снегами вершина, залитая лучами солнца. Жить там нельзя, но если продрогнешь от ползущих снизу туманов, то находишь путь к солнцу. Кристоф не одинок; когда его душа окутана туманом, он чувствует подле себя присутствие невидимой, но надежной подруги — святой Цецилии, с большими и ясными глазами, устремленными к небу, которая, подобно апостолу Павлу на картине Рафаэля, молча размышляет, опираясь на меч. Кристоф уже не возмущается, не думает о битвах; он мечтает и созидает свою мечту.

В ту пору своей жизни он писал преимущественно произведения для фортепиано и камерную музыку. Здесь больше простора для дерзаний, здесь меньше посредников между мыслью и ее воплощением, и она не успевает оскудеть в пути. Куперен, Фрескобальди, Шуберт и Шопен своим дерзновением, своей выразительностью, своим стилем на полвека опередили революционеров оркестровой музыки. Из месива созвучий, замешенного сильными руками Кристофа, получились сплетения неведомых гармоний, вереницы головокружительных аккордов, имевших лишь самое отдаленное родство со звуками, доступными восприятию современников. Они окуtywали сознание священными чарами. Но публике нужно время, чтобы привыкнуть к завоеваниям большого художника, который бесстрашно ныряет на дно океана. Лишь немногим были доступны последние смелые творения Кристофа. Славой он был обязан своим ранним произведениям. Чувство, что никто его не понимает, гораздо более тягостное при творческих удачах, чем при неудачах, ибо тогда все казалось ему непоправимым, еще усиливало, после смерти единственного друга, болезненное стремление Кристофа к одиночеству.

Между тем доступ в Германию был снова открыт для Кристофа. Трагическая схватка во Франции была предана забвению. Он мог ехать, куда хотел. Но его страшили воспоминания, связанные с Парижем. И хотя он несколько месяцев провел в Германии и время от времени наезжал туда, чтобы дирижировать своими произведениями, все же он не поселился на родине. Слишком многое оскорбляло его. Правда, все это было характерно не для одной только Германии, а встречалось и в других странах. Но к своей родине всегда предъявляешь большие требования и больше страдаешь от ее недостатков. И действительно, самое тяжелое бремя грехов Европы падало на Германию. Победитель несет ответственность за свою победу; он в долгу перед побежденными; он молча берет на себя обязательство идти впереди, указывая им путь. Победитель Людовик XIV, принес Европе блеск французского ума. Какой свет подарила миру Германия после Седана? Сверкание штыков? Бескрылую мысль, лишенную великодушия дея-

тельность, грубый реализм, который нельзя было даже назвать здоровым; насилие и корысть — дух Марсаккоминьяжера. Сорок лет плелась Европа во тьме, под гнетом страха. Каска победителя заслонила солнце. Если побежденные, слишком слабые, чтобы сбросить этот гасильник, имеют право лишь на жалость в сочетании с некоторым презрением, то какое же чувство вызывает человек в каске?

Но с некоторых пор начал возрождаться день, свет стал пробиваться сквозь щели. Чтобы одним из первых увидеть восходящее солнце, Кристоф выбрался из тени, отбрасываемой каской, и охотно вернулся в страну, вынужденным гостем которой он был когда-то, — в Швейцарию. Подобно многим умам того времени, жаждавшим свободы, которые задыхались в железном кольце враждующих народов, он искал уголка на земле, где легко дышится, высоко над Европой. Прежде, во времена Гёте, Рим, вольный город пап, был тем островом, куда, подобно птицам от бурь, укрывалась мысль всех народов. Где же найти убежище теперь? Остров затоплен морем. Рима больше нет. Птицы разлетелись с Семи Холмов. Им остались только Альпы. Среди алчной Европы еще уцелел (надолго ли?) островок из двадцати четырех кантонов. Правда, он не чарует поэтическими образами вечного города; в его воздухе нет аромата богов и героев, но от голой земли исходит могучая музыка; в очертаниях гор ощущаются героические ритмы; и здесь больше, чем где-либо, чувствуешь близость к первобытным силам природы. Кристоф приехал сюда не в погоне за романтическими впечатлениями. Его вполне удовлетворило бы поле, два-три дерева, ручеек и небесный свод. Спокойный пейзаж его родной земли был ему ближе, чем величественные нагромождения Альп. Однако Кристоф не мог забыть, что здесь он снова обрел свою силу; здесь явился ему господь в Неопалимой купине. И всякий раз, возвращаясь сюда, он испытывал трепет, благодарность и надежду. И не один только он. Сколько борцов, изломанных жизнью, вновь обрели на этой земле энергию, необходимую для того, чтобы верить и продолжать борьбу!

Живя в этой стране, он научился ее понимать. Большинство из тех, кто мимоходом бывает здесь, видят одни лишь недостатки: гостиницы, словно пятна проказы, уродующие прекрасные черты этой могучей земли; города, битком набитые иностранцами, напоминающие чудовищные рынки, куда съезжаются толстосумы всего мира покупать здоровье; обжорство за табльдотом — груды мяса, бросаемого в логово диким зверям; крикливая музыка казино вперемежку с шумом игры в «лошадки»<sup>1</sup>; гнусавые итальянские скоморохи, завыванье которых заставляет млеть от восторга богатых, изнывающих от скуки идиотов; дурацкие витрины магазинов, где деревянные медведи, домики, нелепые безделушки — все одно и то же, одно и то же — повторяются с удручающим однообразием; почтенные книгопродавцы, торгующие порнографическими брошюрами, — словом, всю моральную грязь этих мест, куда ежегодно стекаются миллионы пресыщенных, праздных людей, неспособных придумать ни более возвышенных, ни даже просто более веселых развлечений по сравнению с простонародьем.

Они ничего не знают о жизни того народа, у которого они гостят. Они не подозревают о запасах моральной силы и стремлении к гражданской свободе, в течение веков скопившихся в нем, ни об искрах пожара, зажженного Кальвином и Цвингли, которые тлеют еще под пеплом, ни о могучем демократическом духе, которого никогда не знала республика Наполеона, ни о простоте здешних учреждений и размахе общественной деятельности, ни о примере, который подают миру эти Соединенные Штаты трех главных рас Запада — Европа будущего в миниатюре. И уж, конечно, они не подозревают о Дафне, что скрывается под грубой оболочкой, об искрящейся и необузданной мечте Бёклина, о грубом героизме Годлера, о ясном восприятии и здоровой непосредственности Готфрида Келлера, о сохранившихся поныне традициях народных праздников и о весенних соках, которыми наливаются леса. Все это — еще молодое искусство: оно то набивает оскомину на язык, подобно терпким плодам дикой груши, то приторно сладко, как

---

<sup>1</sup> *Petits chevaux* — азартная игра. — *Прим. ред.*

черника или голубика, но зато от него исходит здоровый запах земли. Его создали самоучки, которых архаическая культура не отделяет от народа и которые вместе с народом читают одну и ту же книгу бытия.

Кристоф чувствовал симпатию к этим людям, которые хотели не казаться, а быть, и под свежим налетом ультрасовременного германо-американского индустриализма сохранили еще некоторые наиболее положительные черты старинной сельской и буржуазной Европы. Он завел среди них двух-трех добрых друзей, степенных, серьезных и верных, которые жили уединенно и замкнуто, предаваясь горьким сожалениям о прошлом. Эти седые старцы с великой душой созерцали с каким-то фатализмом верующих и кальвинистским пессимизмом медленное, постепенное исчезновение старой Швейцарии. Кристоф редко встречался с ними. Его давние раны зарубцевались только снаружи — они были слишком глубоки. Он боялся возобновлять связи с людьми. Боялся снова надеть на себя ярмо привязанностей и скорбей. Отчасти поэтому он и чувствовал себя хорошо в стране, где легко было жить в уединении, иностранцем среди толпы иностранцев. К тому же он редко засиживался на одном месте: он часто менял свое гнездо, как старая перелетная птица, которой необходим простор и для которой родина — воздух. «Mein Reich ist in der Luft»<sup>1</sup>.

Летний вечер.

Кристоф гулял в горах, высоко над деревней. Он шел, держа шляпу в руке, по извилистой, поднимающейся в гору тропинке. За поворотом она разветвлялась и пролегла дальше в тени, между двумя склонами, окаймленными елями и кустами орешника. Это был как бы маленький замкнутый мирок. На обоих склонах тропа словно обрывалась, как бы встав на дыбы над пропастью. Впереди расстилались голубые светящиеся дали. Вечерний покой спускался капля по капле, как струйка воды, журчащей под мхом...

Она появилась внезапно, за поворотом тропинки. Она

---

<sup>1</sup> Мое царство в воздухе (нем.).

была в черном, ее силуэт отчетливо выделялся на ясном небе; позади нее двое детей — мальчик лет шести и девочка лет восьми — резвились и рвали цветы. На расстоянии нескольких шагов они узнали друг друга. Только глаза выдавали волнение, но у них не вырвалось ни единого возгласа, лишь едва неуловимый жест! Он был очень взволнован, она... губы ее слегка дрожали. Они остановились. Почти шепотом он произнес:

— Грация!

— Вы здесь!

Они поздоровались и продолжали стоять молча. Грация первая, сделав над собой усилие, прервала молчание. Она сказала, где живет, и спросила, где поселился он. Машинально они задавали вопросы, почти не слыша ответов, — они вспомнят их потом, когда расстанутся; они были поглощены созерцанием друг друга. Подбегали дети. Грация познакомила их с Кристофом. Он почувствовал к ним враждебность, недружелюбно взглянул на них и ничего не сказал; он был полон ею, жадно всматривался в ее прекрасное, чуть страдальческое и постаревшее лицо. Ее смущал этот взгляд. Она сказала:

— Не зайдете ли вы сегодня вечером?

Она назвала гостиницу.

Кристоф спросил, где ее муж. Она указала на свой траур. Кристоф был слишком взволнован, чтобы продолжать разговор. Он неловко простился с нею. Но, пройдя два шага, вернулся к детям, собиравшим землянику, порывисто обнял их, поцеловал и убежал.

Вечером Кристоф пришел в гостиницу. Он застал Грацию на застекленной веранде. Они уселись в уголке. Народу было немного: две-три пожилых особы. Их присутствие вызывало глухое раздражение в Кристофе. Грация смотрела на него. Он смотрел на Грацию, шепотом повторяя ее имя.

— Не правда ли, я очень изменилась? — спросила она.

Он был глубоко взволнован.

— Вы страдали, — произнес он.

— Вы тоже, — с участием сказала она, вглядываясь в его лицо, на котором горе и страсти оставили неизгладимый след.

Они умолкли, не находя слов.

— Прошу вас, пойдемте куда-нибудь в другое место, — сказал он через минуту. — Неужели нельзя поговорить где-нибудь наедине?

— Нет, мой друг, останемся, останемся здесь, тут хорошо. Разве кто-нибудь обращает внимание на нас?

— Я не могу разговаривать свободно.

— Тем лучше.

Он не понимал, почему. Позже, вспоминая этот разговор, он подумал, что она не доверяла ему. Но Грация просто испытывала инстинктивный страх к чувствительным сценам; не отдавая себе в этом отчета, она пыталась оградить себя от неожиданных сердечных порывов, ей даже нравилось, что обстановка гостиной отеля мешает их интимности и помогает ей скрывать тайное смятение.

Вполголоса, с частыми паузами они рассказали друг другу самые важные события своей жизни. Граф Берени был убит на дуэли несколько месяцев назад, и Кристоф понял, что она была не очень счастлива с ним. Она потеряла также ребенка, своего первенца. Грация не любила жаловаться. Она перевела разговор на Кристофа, стала расспрашивать его и с глубоким участием выслушала рассказ об его испытаниях.

Звонили колокола. Был воскресный вечер. Жизнь словно замерла...

Грация попросила его зайти послезавтра. Кристофа огорчало, что она не очень торопится снова увидеться с ним. Стрдание и счастье переплетались в его сердце.

На следующий день под каким-то предлогом она написала ему, чтобы он пришел. Это банальное приглашение привело его в восторг. На этот раз она приняла его у себя в гостиной. Дети были тут же. Кристоф глядел на них еще с опаской, но уже с большой нежностью. Он находил, что девочка — старшая — похожа на мать; он не спросил, на кого похож мальчик. Они говорили о Швейцарии, о погоде, о книгах, лежащих на столе, но глаза их вели иной разговор. Кристоф надеялся, что ему удастся поговорить с Грацией более чистосердечно. Но пришла знакомая — соседка по гостиной. Кристоф видел, как приветливо и любезно Грация принимала эту чужую даму. Казалось, для нее не существует разницы



между ним и гостьей. Он был огорчен этим, но не сердился. Грация предложила пойти погулять всей компанией; он согласился, но общество той, другой, хотя она была молода и привлекательна, стесняло Кристофа, и день для него был испорчен.

Кристоф снова увидел Грацию только через два дня. В течение всего этого времени он жил предстоящей встречей. Однако и на этот раз ему не удалось поговорить с нею. Грация обращалась с Кристофом ласково, но попрежнему была сдержанна. Кристоф способствовал этому своими сентиментальными немецкими излияниями, которые смущали ее и заставляли настораживаться.

Кристоф написал Грации письмо, которое растрогало ее. Жизнь так коротка, писал он, а наша жизнь уже клонится к закату! Быть может, нам осталось не так уж много времени для встреч; жалко, почти преступно не воспользоваться случаем и не поговорить откровенно.

Грация ответила теплым письмом: она просила извинения за то, что невольно проявляет некоторую недоверчивость с той поры, как жизнь ранила ее; она не может отрешиться от сдержанности, и любое слишком сильное проявление даже настоящего чувства отталкивает и пугает ее. Но она сознает цену вновь обретенной дружбы и так же счастлива, как и он. Она просила его прийти вечером к обеду.

Сердце Кристофа было преисполнено благодарности. Лежа на кровати в своей комнате, он уткнулся в подушки и зарыдал. Это была разрядка после десяти лет одиночества. Ведь с той поры, как умер Оливье, он был одинок. Это письмо возрождало его изголодавшееся по нежности сердце. Нежность! Кристоф думал, что уже отказался от нее навсегда, — так долго он обходился без нее! Теперь он чувствовал, как ему не хватало нежности и сколько любви скопилось в его сердце.

Они провели вместе спокойный и блаженный вечер. Несмотря на их намерение ничего не скрывать друг от друга, он говорил с ней только на отвлеченные темы. Но сколько отрадного и сокровенного сказал он ей, сидя за роялем, куда она пригласила его взглядом, чтобы дать ему возможность высказаться. Она была потрясена, видя смилившееся сердце этого человека, которого она

знала прежде гордым и необузданным. При прощании, в молчаливом пожатии рук, они почувствовали, что обрели друг друга и никогда больше не потеряют. Было тихо, ни малейшего дуновения, падал дождь. Сердце Кристофа пело.

Грации оставалось пробыть здесь всего несколько дней, она не отложила своего отъезда ни на час, а Кристоф не посмел ни просить об этом, ни роптать. В последний день они гуляли вместе с детьми. Был миг, когда Кристоф, преисполненный любви и счастья, хотел сказать ей об этом, но мягко, ласково улыбаясь, Грация остановила его:

— Молчите! Я знаю все, что вы хотите сказать.

Они сели на повороте дороги — там, где встретились в первый раз. Продолжая улыбаться, Грация смотрела на долину, расстилавшуюся внизу, но не видела ее. Кристоф же смотрел на нежное лицо со следами страданий; в ее густые черные волосы вплелись белые нити. Его охватило обожание, жалость и страсть к этой плоти, пропитавшейся страданиями души... Во всех этих ранах, нанесенных временем, была видна душа. И тихим, дрожащим голосом, как высшей милости, он попросил, чтобы она подарила ему... один седой волос.

Она уехала. Кристоф не мог понять, почему Грация не хотела, чтобы он сопровождал ее. Он не сомневался в ее дружбе, но сдержанность Грации озадачивала его. Ни одного дня он не мог оставаться в этих краях и уехал в другую сторону. Он пытался отвлечься путешествиями, работой. Он писал Грации. Она ответила ему недели через две-три; в ее коротких письмах ощущалась спокойная привязанность, без нетерпения и тревоги. Они причиняли ему страдание, и вместе с тем он любил их. Он не считал себя вправе упрекать ее. Их чувство было еще слишком молодо, слишком недавно возродилось! Он содрогался при мысли, что может потерять Грацию. Между тем каждое ее письмо дышало безмятежным покоем, который должен был бы вселить в него уверенность. Но ведь они были такие разные!

В конце осени они условились встретиться в Риме. Не будь надежды на встречу с Грацией, это путешествие мало прельщало бы Кристофа. Долго длившееся одиночество сделало его домоседом. Он не испытывал больше склонности к бесполезным переездам с места на место, в которых черпали удовольствие суетливые бездельники его времени. Он боялся нарушать свои привычки — это опасно для правильной работы мысли. К тому же Италия нисколько не привлекала его. Кристоф знал ее только по отвратительной музыке «веристов» и ариям теноров, которыми родина Вергилия периодически вдохновляет путешествующих литераторов. Он чувствовал к ней враждебность и недоверие передового художника, которому надоели ссылки на Рим из уст самых худших поборников академической рутины. И, наконец, в нем еще бродила старая закваска — инстинктивная неприязнь, которую ощущают в глубине души все северяне к южанам или по крайней мере к тому легендарному типу болтливого хвастунишки, какими представляются северянам все обитатели юга. При одной только мысли о них Кристоф презрительно морщился... Нет, у него не было ни малейшего желания знакомиться с этим народом, не имеющим музыки. (Можно ли принимать всерьез, на фоне современной музыки, брэнчанье на мандолине и выкрики в болтливых мелодрамах?) Но ведь к этому народу принадлежала Грация. Какими путями, какими дорогами не пошел бы Кристоф, чтобы снова обрести ее! Нужно только закрыть глаза и ничего не видеть до той поры, пока он не встретится с Грацией.

Уже давно у него выработалась привычка закрывать глаза. В течение стольких лет он держал за ставнями свою внутреннюю жизнь! Теперь, этой поздней осенью, это было особенно необходимо. Три недели непрерывно лили дожди. А потом серая шапка непроницаемых облаков нависла над долинами и городами промокнувшей, дрожащей от холода Швейцарии. Глаза утратили воспоминание о благодатном солнечном свете. Чтобы снова обрести в себе всю силу энергии, нужно было сначала создать абсолютный мрак, а потом, сомкнув веки, опу-

ститься в глубину шахты, в подземные галереи мечты. Там среди пластов угля спало солнце мертвых дней. Но тот, кто проводит жизнь под землей и, согнувшись, вырубает уголь, выходит наверх обожженный, с онемевшим позвоночником и коленями, с изуродованными руками и ногами, полуоцепеневший, с тусклым, как у ночной птицы, взглядом. Сколько раз приносил Кристоф со дна шахты с трудом добытый огонь, который согревал похолодевшие сердца! Но северные мечты отдают жаром печи и закупоренной комнаты. Этого не подозреваешь, когда живешь там, любишь это удушливое тепло, этот полумрак и заветные мечты, скопившиеся в отяжелевшей голове. Любишь то, что имеешь. Приходится этим довольствоваться!

Когда поезд вышел из теснин альпийских гор и Кристоф, дремавший в углу своего вагона, увидел безоблачное небо и солнце, заливающее склоны гор, ему показалось, что это сон. По ту сторону горной стены он только что оставил погасшее небо, сумеречный день. Эта перемена была так неожиданна, что в первую минуту Кристоф скорее удивился, чем обрадовался. Прошло некоторое время, пока его оцепеневшая душа отошла немного, пока растаяла сковывавшая ее кора, пока сердце освободилось от теней прошлого. Но по мере того как наступал день, мягкий свет обволакивал его, и, забыв обо всем, он жадно упивался и наслаждался тем, что видел.

Миланские равнины. Дневное светило отражается в голубых каналах, сеть их вен бороздит рисовые поля, покрытые пушком. Четко вырисовываются тонкие и гибкие силуэты осенних деревьев с пучками рыжего мха. Горы да Винчи — снежные, мягко сверкающие Альпы — выделяются резкой линией на горизонте, окаймляя его красной, оранжевой, золотисто-зеленой и бледнолазурной бахромой. Вечер опускается над Апеннинскими. Извилистые склоны небольшой крутой горной цепи вьются, как змея, сплетаясь и повторяясь, словно в ритме фарандолы. И вдруг, в конце спуска, как поцелуй, доносится дыхание моря и аромат апельсиновых рощ. Море, латинское море! В его опаловом свете замерли и дремлют стаи лодок, сложивших свои крылья...

На берегу моря, у рыбацкой деревушки, поезд остановился. Путешественникам объявили, что из-за сильных дождей в туннеле между Генуей и Пизой произошел обвал и все поезда запаздывают на несколько часов. Кристоф, который взял билет прямого сообщения до Рима, был в восторге от этой задержки, вызвавшей негодование его спутников. Он выскочил на перрон и воспользовался остановкой, чтобы подойти к морю, которое манило его. Оно увлекло Кристофа настолько, что часа через два, когда раздался гудок уходящего поезда, Кристоф, сидя в лодке, крикнул ему вслед: «Счастливого пути!» Он плыл в светящейся ночи, отдаваясь баюканью светящегося моря, вдоль благоухающего берега, огибая утесы, окаймленные молодыми кипарисами. Кристоф поселился в деревушке и провел там пять дней, непрерывно восторгаясь. Он напоминал долго постившегося человека, который набросился на пищу. Всеми своими изголодавшимися чувствами он впитывал яркий солнечный свет. Свет, кровь вселенной, ты разливаешься в пространстве подобно реке жизни и через глаза, губы, ноздри, сквозь поры нашей кожи проникаешь вглубь нашего тела. Свет, более необходимый для жизни, чем хлеб, — тот, кто увидел тебя без твоих северных покрывал — чистым, жгучим, обнаженным, — невольно задает себе вопрос, как он мог жить прежде, не зная тебя, и чувствует, что больше не сможет жить, не обладая тобой...

Пять дней предавался Кристоф опьянению солнцем. Пять дней впервые в жизни Кристоф забыл, что он музыкант. Музыка его существа превратилась в свет. Воздух, море и земля — великолепная симфония, исполняемая оркестром солнца. И с каким врожденным искусством умеет Италия пользоваться этим оркестром! Другие народы едят с натуры; итальянец же творит вместе с природой, он пишет солнцем. Музыка красок. Здесь все музыка, все поет. Простая стена у дороги, красная с золотыми трещинками, над ней два кипариса с курчавой кроной; а вокруг бездонное голубое небо. Белая мраморная лестница, прямая и узкая, поднимается между розовых стен, к голубому фасаду храма. Разноцветные домики, словно абрикосы, лимоны, цитроны, светятся среди оливковых рощ и кажутся восхитительными

спелыми плодами в листве. Итальянский пейзаж возбуждает чувственность: глаза наслаждаются красками, подобно тому как язык — ароматными, сочными фруктами. Кристоф набросился на это новое лакомство с жадной и наивной прожорливостью; он вознаграждал себя за серые, аскетические пейзажи, которые вынужден был созерцать до сих пор. Его богатая натура, придавленная судьбой, внезапно осознала свою способность наслаждаться, до сих пор не использованную. Им завладели, словно добычей, запахи, краски, музыка голосов, колоколов и моря, ласкающих воздух, теплые объятия солнца, в которых возрождается одряхлевшая и утомленная душа. Кристоф ни о чем не думал. Он пребывал в состоянии сладостного блаженства, нарушая его лишь для того, чтобы поделиться со всеми встречными своей радостью: с лодочником — старым рыбаком в красной шапочке венецианского сенатора, из-под которой глядели живые глаза в сети мелких морщинок; со своим единственным сотрапезником — апатичным и сонным миланцем, который, поглощая макароны, ворочал черными, как у Отелло, свирепыми от ненависти глазами; с официантом из ресторана, который, подавая блюда, вытягивал шею, изгибал руки и торс, подобно ангелу Бернини; с маленьким Иоанном Крестителем, который, строя глазки, просил милостыню на дороге и предлагал проходим апельсин на зеленой ветке. Кристоф окликал возчиков, которые, растянувшись на спине на дне своих повозок, выкрикивали с перемежающимся воодушевлением тысячу и один куплет гнусавой, тягучей и непристойной песни. Он поймал себя на том, что напевает «Cavalleria rusticana»<sup>1</sup>. Цель его путешествия была совершенно забыта. Он забыл, как торопился, как спешил поскорее увидеть Грацию...

Так продолжалось до того дня, пока образ возлюбленной снова не ожил в нем. Что его вызвало? Быть может, взгляд, перехваченный на дороге, или переливы низкого и певучего голоса, Кристоф не знал. Но настал час, когда отовсюду — из кольца холмов, покрытых маслиновыми рощами, из высоких гладких гребней Апен-

<sup>1</sup> Опера Масканьи «Сельская честь». — Прим. ред.

нии, вырисовывавшихся в ночном мраке и при ярком солнечном свете, и из апельсиновых рощ, отягощенных цветами и плодами, из глубокого дыхания моря — на него смотрело улыбающееся лицо подруги. Бесчисленными глазами глядели на него с неба глаза Грации. Она расцветала на этой земле, как роза на розовом кусте.

Тогда Кристоф спохватился. Снова сел в поезд, отправляющийся в Рим, и уже нигде больше не останавливался. Ничто не интересовало его — ни итальянские памятники, ни старинные города, ни знаменитые произведения искусства. Он не видел и не стремился что-либо увидеть в Риме, а то, что он успел заметить, проезжая мимо, — новые, лишенные всякого стиля, кварталы, квадратные здания, — не внушало ему желания осматривать этот город.

Тотчас же по приезде он отправился к Грации. Она спросила у него:

— Какой дорогой вы ехали? Вы останавливались в Милане, во Флоренции?

— Нет, — отвечал он, — К чему?

Она рассмеялась.

— Прекрасный ответ! А какое впечатление на вас произвел Рим?

— Никакого, — сказал он, — я ничего не видел.

— Но все-таки?

— Никакого. Я не видел ни одного памятника. Прямо из гостиницы я пришел к вам.

— Довольно пройти и десять шагов, чтобы увидеть Рим. Взгляните на эту стену, напротив... Смотрите! Какое освещение!

— Я вижу только вас, — сказал он.

— Вы варвар, вы видите только то, что создано вашим воображением. А когда вы выехали из Швейцарии?

— Неделю назад.

— Что же вы делали столько времени?

— Сам не знаю. Я остановился случайно в деревушке на берегу моря. Не помню даже, как она называется. Я спал целую неделю. Спал с открытыми глазами. Не знаю, что видел, не знаю, о чем грезил. Кажется, мечтал о вас. Знаю только, что это было прекрасно. Но самое прекрасное, что я все забыл...

— Благодарю! — сказала она.

Он не слушал ее.

— ...Все, — продолжал он, — все, что было тогда, что было прежде. Я словно вновь рожденный человек, только начинающий жить.

— Это верно, — сказала она, глядя на него смеющимися глазами. — Вы переменялись с нашей последней встречи.

Он тоже глядел на нее и находил, что она не похожа на ту Грацию, которая осталась в его памяти. Она не изменилась за эти два месяца, но он смотрел на нее совершенно другими глазами. Там, в Швейцарии, образ минувших дней, легкая тень юной Грации стояла перед его взором, заслоняла его нынешнюю подругу. А теперь, под солнцем Италии, растаяли северные мечты; он видел при дневном свете подлинную душу и подлинное тело любимой. Как непохожа она была на дикую козочку, пленницу Парижа, как непохожа на молодую женщину с улыбкой святого Иоанна, которую он снова обрел как-то вечером, вскоре после ее замужества, чтобы тут же потерять! Маленькая умбрийская мадонна расцвела, превратилась в прекрасную римлянку.

*Color verus, corpus solidum et succi plenum*<sup>1</sup>.

Ее черты приобрели гармоническую округлость; ее тело дышало благородной томностью. От нее исходил покой. Она воплощала напоенную солнцем тишину, безмолвное созерцание, наслаждение мирной жизнью, — все то, чего никогда полностью не познают северяне. От прежней Грации сохранилась главным образом безграничная доброта, которой были насыщены все ее чувства. Но в ясной улыбке Грации можно было прочесть много нового: печальную снисходительность, легкую усталость, умение разбираться в людях, мягкую иронию, спокойную рассудительность. Годы как бы сковали Грацию ледком, ограждая ее от сердечных заблуждений; она редко раскрывала свою душу; и ее нежность, ее зоркая улыбка были всегда настороже против порывов страсти, которые с трудом подавлял Кристоф. В то же время у нее были свои слабости, беспомощность в жизненных испы-

---

<sup>1</sup> Живой румянец, крепкое, полное жизненных соков тело (лат.).



таниях, кокетливость, над которой она сама посмеивалась, но не пыталась преодолеть. Она не умела бороться ни с обстоятельствами, ни с собой, покорный фатализм был присущ этой бесконечно доброй и немного усталой душе.

Грация принимала у себя многих и без особого разбора — так по крайней мере казалось на первый взгляд; но ее друзья принадлежали в большинстве своем к тому же миру, что и она, дышали тем же воздухом, приобрели те же привычки; это общество представляло довольно гармоническое целое, резко отличавшееся от того, что Кристоф наблюдал в Германии и во Франции. Большинство из этих людей принадлежало к старинным итальянским фамилиям, оздоровленным браками с иностранцами; среди них царил внешний космополитизм — сочетание четырех главных языков и интеллектуального багажа четырех великих наций Запада. Каждый народ вносил туда свой личный вклад: евреи — свое беспокойство, англосаксы — свою флегму, но все это тотчас же расплавлялось в итальянском тигле. Когда векаладычества баронов-грабителей высекают в расе такой надменный и алчный профиль хищной птицы, то, как бы ни менялся металл, оттиск остается неизменным. Некоторые из этих лиц, казавшихся типично итальянскими, — улыбка Луини, сладострастный и спокойный взгляд Тициана, цветы Адриатики или ломбардских равнин, — расцвели в действительности на северных деревьях, пересаженных в древнюю латинскую почву. Какие бы краски ни были растерты на палитре Рима, основным тоном всегда будет римский.

Кристоф не способен был разобраться в своих впечатлениях, но он восхищался вековой культурой, древней цивилизацией, которой дышали эти люди, зачастую довольно ограниченные, а иногда даже более чем посредственные. Едва уловимый аромат, проявляющийся в мелочах, грациозная обходительность, мягкие манеры, доброжелательность, не лишенная насмешливости, сознание собственного достоинства, острый взгляд и улыбка, живой и беспечный ум, скептический, непринужденный

и притом разносторонний. Ничего резкого, грубого. Ничего книжного. Здесь можно было не бояться встречи с каким-нибудь психологом из парижских салонов, подстерегающим вас за стеклами своего пенсне, ни с каприальскими повадками какого-нибудь немецкого доктора. Это были просто люди, и люди очень человеческие, подобно друзьям Теренция и Сципиона Эмилиана!

*Ното сум...*<sup>1</sup>

Красивый фасад! Жизнь была скорее кажущейся, чем реальной. А под этим фасадом скрывалось неисправимое легкомыслие, свойственное светскому обществу всех стран. Но характерной национальной особенностью эдешнего общества была лень. Французское легкомыслие сопровождается лихорадочной нервозностью — непрерывная деятельность мозга, даже когда он работает на холостом ходу. Итальянский мозг умеет отдыхать. Пожалуй, даже слишком часто. Сладостно дремать в жаркой тени, на теплой подушке мягкого эпикурейства и иронического ума, очень гибкого, довольно любознательного и весьма безразличного по существу.

У всех этих людей не было твердых убеждений. С одинаковым дилетантством они вмешивались и в политику и в искусство. Среди них попадались обаятельные натуры, прекрасные лица итальянских патрициев, с тонкими чертами, умным и мягким взглядом, спокойными манерами, изысканным вкусом и чувствительным сердцем, которые любили природу, старинную живопись, цветы, женщин, книги, хороший стол, свою родину и музыку... Они любили все, ничему не отдавая предпочтения. Порою казалось, что они ничего не любят. Любовь, однако, занимала большое место в их жизни, но при условии, чтобы она не нарушала их покоя. Любовь их была так же апатична и ленива, как они сами, даже страсть легко приобретала характер супружеских отношений. Их хорошо развитый и гармоничный ум приспособился к инертности, благодаря чему противоположные мнения сталкивались, не задевая друг друга, спокойно уживаясь, сглаженные, притупленные, ставшие

---

<sup>1</sup> Я — человек (лат.),

безобидными. Они боялись твердых убеждений, крайних партий, предпочитая половинчатые решения и половинчатые мысли. Они придерживались консервативно-либеральных взглядов. Им нужны были политика и искусство, стоящие где-то посредине, наподобие тех климатических станций, где не рискуешь получить одышку или сердцебиение. Они узнавали себя в ленивых персонажах Гольдони или в ровном и рассеянном свете Мандзони. Однако это не нарушало их очаровательной беспечности. Они не могли бы сказать, как их великие предки: «*Primum vivere*»<sup>1</sup>, а скорее «*Darprima, quieto vivere*»<sup>2</sup>.

Жить спокойно. Таково было тайное желание всех, даже самых энергичных, даже тех, кто руководил политикой. Любой из этих маленьких Макиавелли, повелевающих собой и другими, с трезвым и скупающим умом, с сердцем столь же холодным, как и голова, умеющих и дерзающих пользоваться всеми средствами для достижения своей цели, готовых пожертвовать друзьями во имя своего честолюбия, способен был пожертвовать своим честолюбием ради одного: священного *quieto vivere*. Они испытывали потребность в длительных периодах прострации. Когда это состояние проходило, они чувствовали себя свежими и деятельными, как после хорошего сна; эти степенные мужи, эти бесстрастные мадонны вдруг ощущали нестерпимую жажду поговорить, повеселиться, предаться кипучей деятельности: им необходимо было найти разрядку в потоке слов и жестов, в парадоксальных остротах, в забавных шутках, — они разыгрывали оперу-буфф. Среди этой галереи итальянских портретов редко попадались люди с переутомленным умом, с металлическим блеском зрачков, с изможденными от напряженной умственной работы лицами, какие встречаются на севере. Однако здесь, как и всюду, не было недостатка в людях, которые страдали и скрывали свои раны, стремления, заботы под личиной равнодушия и с наслаждением погружались в оцепенение. Не говоря уже о тех, чьи странные, причудливые и непо-

---

<sup>1</sup> Прежде всего жить (лат.).

<sup>2</sup> Прежде всего жить спокойно (итал.).

нятные выходки свидетельствовали о некоторой неуравновешенности, свойственной очень древним расам, подобно трещинам, избородившим почву римской Кампаньи.

Томная загадочность этих душ, спокойные и насмешливые глаза, где таилась скрытая трагедия, были не лишены очарования. Но Кристоф не желал замечать этого. Он бесился, видя, что Грация окружена пустыми и остроумным светскими людьми. Он злился на них и злился на нее. Он дулся на нее так же, как и на Рим. Он стал бывать у нее реже, он собрался уезжать.

Кристоф не уехал. Помимо своей воли, он начал ощущать влечение к итальянскому обществу, которое вначале так раздражало его.

Теперь он уединился. Он бродил по Риму и его окрестностям. Небо Рима, висячие сады, Кампанья, залитое солнцем море, опоясывающее ее наподобие золотого шарфа, открыли ему мало-помалу тайну этой волшебной земли. Он поклялся, что и шагу не сделает для осмотра мертвых памятников, притворяясь, что презирает их; он ворчливо заявлял, что подождет, пока они сами придут к нему. И они пришли; он встретил их случайно, во время своих прогулок по Городу Холмов. Он увидел, не ища его, и Форум, рдеющий на закате солнца, и полуразрушенные арки Палатина, в глубине которых сверкает лазурь бездонного голубого неба. Он бродил по несбывшей Кампанье, по берегу красноватого Тибра, засоренного илом и похожего на топь, — вдоль разрушенных акведуков, напоминающих гигантские остовы допотопных чудовищ. Густые скопища черных туч ползли в голубом небе. Крестьяне, верхом на лошадах, палками гнали через пустынную Кампанью стада огромных серых буйволов с длинными рогами; а по древней дороге, прямой, пыльной и голой, молча шли, сопровождая вереницу низкорослых ослиц и ослят, пастухи, похожие на сатиров, с мохнатыми шкурами на бедрах. В глубине, на горизонте, разворачивались олимпийские линии Сабинской горной цепи, а на другом краю небесного свода вырисовывались городские стены и черные

силуэты пляшущих статуй, увенчивающих фасад храма святого Иоанна. Тишина... Огненное солнце... Ветер пронесся над равниной. На безголовой, поросшей пучками травы статуе с перекинутым через руку плащом неподвижно лежала ящерица; она мерно дышала, наслаждаясь ярким светом. И Кристоф, у которого звенело в ушах от солнца (а порой и от кастельского вина), улыбаясь, сидел подле разбитого мрамора на черной земле, сонный, окутанный забвением, упиваясь спокойной и могучей силой Рима. И так до сумерек. Тогда сердце его вдруг охватывала тоска, и он бежал из мрачного одиночества пустыни, где угасал трагический свет... О земля, пламенная земля, страстная и безмолвная земля! В твоей тревожной тишине я слышу еще трубы легионов. Как неистово бушует жизнь в твоей груди! Как ты жаждешь пробуждения!

Кристоф нашел людей, в которых тлели еще головешки векового огня. Они сохранились под могильным пеплом. Казалось, что этот огонь угас вместе с глазами Мадзини. Теперь он разгорался. Все такой же. Многие желали его видеть. Он нарушал покой спящих. Это был яркий и резкий свет. Молодые люди, которые несли его (самому старшему еще не было и тридцати пяти лет), — избранники, пришедшие со всех концов мира, свободомыслящие, различные по темпераменту, воспитанию, убеждениям и верованиям, — все они объединились в культе этого огня новой жизни. Партийные ярлыки, различия мировоззрений не имели для них значения, — главное «мыслить смело». Быть искренними, дерзать в мыслях и делах. Они беспощадно встряхивали свой спящий народ. После политического возрождения Италии, воскресшей из мертвых по зову героев, после ее еще совсем недавнего экономического возрождения они решили вырвать из могилы итальянскую мысль. Их оскорбляла и причиняла страдание трусливая и ленивая расслабленность избранного общества, его духовное малодушие и пустословие. Их голоса громко звучали в тумане риторики и морального рабства, скопившегося в течение веков в душе родины. Они вдохнули в нее свой беспощадный реализм и неподкупную честность. Со всем пылом

они стремились к ясному пониманию, за которым следует энергичное действие. Способные при случае пожертвовать своими личными склонностями во имя долга, во имя дисциплины, которая подчиняет отдельного человека интересам народа, они сохранили тем не менее высокий идеал и чистые стремления к истине. Они любили ее пылко и благоговейно. Один из вождей этой молодежи<sup>1</sup>, когда противники оскорбили его, оклеветали и угрожали ему, ответил с величавым спокойствием:

«Уважайте истину! Я не злопамятен и обращаюсь к вам с открытым сердцем. Я забыл зло, причиненное вами, как и то, что я, быть может, причинил вам. Будьте правдивы! Нет совести, нет жизненного величия, нет уменья жертвовать собою, нет благородства там, где свято, строго и сурово не уважают истину. Выполняйте этот трудный долг. Ложь развращает того, кто ею пользуется, гораздо раньше, чем губит того, против кого она направлена. Какой прок в том, что этим вы быстро добьетесь успеха? Корни вашей души повиснут в пустоте, в почве, изъеденной ложью. Я говорю с вами не как противник. Мы затронули вопрос, стоящий выше наших разногласий, даже если вы прикрываете свои страсти именем родины. Есть нечто более великое, чем родина, — человеческая совесть. Есть законы, которые вы не смеете нарушать, если не хотите стать плохими итальянцами. Перед вами только человек, ищущий истину; вы должны услышать его зов. Перед вами только человек, который страстно жаждет увидеть вас великими и чистыми и хочет трудиться вместе с вами. Ибо независимо от того, хотите вы или нет, мы будем трудиться сообща со всеми, кто трудится в союзе с истиной. Все, что мы создадим (и чего мы даже не можем предвидеть), будет отмечено нашей общей печатью, если только действовать согласно истине. Главное в человеке — его чудесная способность искать истину, любить ее, видеть ее и жертвовать собою во имя ее. Истина, изливающая волшебное дыхание своего могучего здоровья на всех, кто владеет тобою!...»

---

<sup>1</sup> Джузеппе Преццоллини, который вместе с Джiovанни Папини руководил тогда группой «Ля Воче» («Голос»). — Р. Р.

Когда Кристоф впервые услышал эти слова, они показались ему эхом его собственного голоса; он почувствовал, что эти люди братья ему. Быть может, когда-нибудь случайности борьбы народов и различие идей заставят их вступить в ожесточенный бой, но, друзья или враги, они принадлежат, они будут принадлежать к одной человеческой семье. Они это знали, как и он. Они знали это даже раньше, чем он. Они знали его еще до того, как он узнал их, ибо они были друзьями Оливье. Кристоф обнаружил, что произведения его друга (несколько томиков стихов и критические очерки), известные в Париже лишь немногим, были переведены этими итальянцами, и они любили их так же, как и сам Кристоф.

Позже Кристофу пришлось обнаружить, какая непроходимая пропасть отделяла этих людей от Оливье. В своих суждениях о других они оставались только итальянцами, не способными сделать усилие и выйти за ограниченные рамки мышления своего народа. Откровенно говоря, они находили в произведениях иностранцев только то, что стремился обнаружить их национальный инстинкт; зачастую они брали лишь то, что сами подсознательно вкладывали туда. Посредственные критики и плохие психологи, они были чересчур заняты самими собой и поглощены своими страстями, даже когда больше всего стремились к истине. Итальянский идеализм не способен к самозабвению; его отнюдь не интересуют отвлеченные мечтания Севера; он сводит все к себе, к своим желаниям, к своей расовой гордости, к стремлению возродить величие нации. Сознательно или нет, но он всегда работает на *terza Roma*<sup>1</sup>. Нужно признать, что на протяжении веков он не слишком утруждал себя, чтобы осуществить эту мечту! Красивые итальянцы, созданные для деятельности, действуют лишь в порыве страсти и быстро устают, но когда в них бурлит страсть, она возносит их над всеми другими народами; они доказали это на примере своего *Risorgimento*<sup>2</sup>. Это

<sup>1</sup> третий Рим (итал.).

<sup>2</sup> «Рисорджименто» — эпоха борьбы за освобождение и политическое объединение Италии в середине девятнадцатого века. — Прим. ред.

был могучий вихрь, который подхватил итальянскую молодежь всех партий — националистов, социалистов, неокатоликов, свободных идеалистов — всех неукротимых итальянцев, преисполненных надежд и стремлений быть гражданами императорского Рима, властелина вселенной.

Сначала Кристоф замечал только их благородный пыл и общие антипатии, объединявшие его с ними. Они легко сговаривались, когда речь шла о презрении к светскому обществу, к которому Кристоф питал злобу из-за предпочтения, отдаваемого ему Грацией. Они ненавидели гораздо больше, чем Кристоф, это благоразумие, эту апатию, эти компромиссы, шутовство, половинчатость высказываний, двуличность, ловкое маневрирование между всеми возможностями, боязнь решиться на что-нибудь, эти красивые фразы и вкрадчивость. Крепыши-самородки, всем обязанные только себе, не имевшие ни средств, ни времени окончательно отшлифовать себя, они охотно утрировали свою природную грубость и свой несколько резкий тон неотесанных *contadini*<sup>1</sup>. Им хотелось, чтобы их услышали. Им хотелось, чтобы с ними дрались. Что угодно, только не безразличие! Чтобы пробудить энергию своей расы, они с радостью согласились бы стать ее первыми жертвами.

А пока их не любили, и они ничего не сделали, чтобы их полюбили. Кристоф потерпел неудачу, задумав рассказать Грации о своих новых друзьях. Они были неприятны ее спокойной, уравновешенной натуре. Пришлось согласиться с ней, что присущая им манера защищать самые благородные идеи вызывала зачастую враждебное к ним отношение. Они были насмешливы и задиристы, и их суровая критика граничила с оскорблением, даже по отношению к людям, которых они вовсе не хотели обижать. Они были слишком самоуверенны, слишком скоры на выводы и категоричные утверждения. Они занялись общественной деятельностью, еще не достигнув зрелого развития, и потому бросались от одного увлечения к другому, всегда проявляя одинаковую нетерпимость. С искренним пылом, не щадя сил, целиком отдаваясь делу, они сгорали от избытка рассудочности,

---

<sup>1</sup> крестьян (итал.).



от преждевременно изнуряющей работы. Молодой, едва вылупившейся мысли вредно находиться под ярким солнцем. Оно обжигает душу. Все подлинное и полезное требует времени и тишины. А им не хватало ни времени, ни тишины. В этом несчастье многих итальянских талантов. Торопливая и бурная деятельность — точно алкоголь. Вкусившему его уму трудно потом отвыкнуть, и нормальное развитие подвергается риску быть извращенным и искаженным навсегда.

Кристоф ценил терпкую свежесть этой резкой прямоты, особенно по контрасту с пошлостью людей золотой середины (*vie di mezzo*), которые вечно боятся скомпрометировать себя и ловко ухитряются не говорить ни да, ни нет. Но вскоре ему пришлось убедиться, что спокойный ум и обходительность светских людей тоже имеют свои преимущества. Постоянная ожесточенная борьба, в которой жили его друзья, утомляла. Кристоф считал своим долгом бывать у Грации, чтобы защищать их. Иногда же он шел к ней, чтобы забыть о них. Разумеется, у него было сходство с ними. Пожалуй, даже слишком большое. Они теперь были такими, как Кристоф в двадцать лет. А течение жизни не идет вспять. В глубине души Кристоф прекрасно сознавал, что сам он распрощался с неистовством юности и стремится к покою, тайной которого, казалось, владели глаза Грации. Почему же это возмущало его в ней? Да просто в силу эгоизма, присущего любящим. Кристоф хотел один наслаждаться этим покоем. Ему было нестерпимо, он не мог примириться с тем, что Грация щедро расточает свое тепло на первых встречных, что она всех оделяет своим чарующим радушием.

Грация читала в его душе и, с присущей ей милой откровенностью, как-то сказала Кристофу:

— Вы сердитесь, что я такая? Не нужно идеализировать меня, мой друг. Я женщина, и не лучше других. Я не ищу общества, но, признаться, оно мне приятно — точно так же, как иногда мне доставляют удовольствие не слишком хорошие спектакли, посредственные книги, — все то, что вы презираете; меня же это забавляет и успокаивает. Я не умею ни в чем себе отказывать.

— Как вы можете выносить этих дураков?

— Жизнь научила меня быть снисходительной. Не нужно предъявлять к ней слишком больших требований. Уверяю вас, когда имеешь возможность встречаться с хорошими людьми, не злыми, в меру доброжелательными, то это уже много. (Разумеется, при условии, если ничего от них не ждешь! Я знаю, что, обратиться я к ним за помощью, около меня останется не бог весть сколько людей.) Все-таки они привязаны ко мне; а когда я встречаю капельку настоящего чувства, я не обращаю внимания на остальное. Вы сердитесь на меня, не правда ли? Простите, что я такая посредственность. Но я по крайней мере умею различать, что во мне плохо, что хорошо. И вам принадлежит лучшее.

— Я хотел бы иметь все, — сердито сказал Кристоф.

Но он прекрасно понимал, что она права. Он был настолько уверен в ее чувстве, что как-то после колебаний, длившихся несколько недель, спросил:

— Неужели вы никогда не захотите?..

— Чего?

— Быть моей.

Он тотчас же поправился:

— ...чтобы я был вашим?

Она улыбнулась.

— Но ведь вы и так принадлежите мне, мой друг.

— Вы прекрасно знаете, что я хочу этим сказать.

Она чуть-чуть смутилась, но взяла его за руку и посмотрела прямо в глаза.

— Нет, мой друг, — нежно сказала она.

Он умолк. Она видела, что сильно огорчила его.

— Простите, я причинила вам боль. Я знала, что вы заговорите со мной об этом. Мы должны объясниться начистоту, как добрые друзья.

— Как друзья, — грустно сказал он. — И ничего больше?

— Неблагодарный! Чего же вы еще хотите? Женись на мне? А вспомните прошлое, когда вы были целиком поглощены моей прелестной кузиной? Мне было грустно тогда, что вы не догадываетесь о моем чувстве. Вся наша жизнь могла бы сложиться по-иному. Теперь

я думаю, что так лучше. Лучше не подвергать нашу дружбу испытанию совместной жизни, той повседневной жизни, которая опошляет все самое чистое...

— Вы говорите так, потому что теперь любите меня меньше.

— О нет, я всегда любила вас одинаково.

— Я в первый раз слышу это.

— Мы не должны больше ничего скрывать друг от друга. Видите ли, я не очень верю в брак. Мой, правда, не может служить примером. Но я наблюдала и размышляла. Счастливые браки очень редки. Это даже чутьточку противоестественно. Нельзя сковать воли двух существ, не искалечив одну из них, а быть может, и обе; притом это отнюдь не те страдания, которые обогащают душу.

— А вот мне, — сказал он, — напротив, кажется, что нет ничего прекраснее, чем эта жертва, союз двух сердец, слившихся воедино!

— Это прекрасно в мечтах. На самом же деле вы страдали бы больше, чем кто-либо.

— Как! Вы думаете, что у меня никогда не будет жены, семьи, детей? Не говорите этого! Я бы так любил их! Вы считаете, что это счастье недоступно мне?

— Не знаю, не думаю. Впрочем, может быть, с хорошей женой, не слишком умной, не слишком красивой, которая будет предана вам и не будет вас понимать...

— Какая же вы злая! Но вы напрасно насмехаетесь. Хорошая жена, даже если она и не слишком умная, — это прекрасно.

— Разумеется! Хотите я подыщу вам?

— Умоляю, замолчите. Вы огорчаете меня. Как вы можете так говорить?

— Что же я такого сказала?

— Значит, вы совсем не любите меня, если можете думать о том, чтобы женить на другой?

— Наоборот, именно потому что я люблю вас, я была бы рада сделать вас счастливым.

— Тогда, если это правда...

— Нет, нет, не нужно об этом. Говорю вам, это было бы несчастьем для вас,

— Обо мне не беспокойтесь. Клянусь, я буду счастлив. Но скажите прямо: вы думаете, что были бы несчастны со мной?

— Несчастлива? О нет, мой друг. Я уважаю вас и слишком восхищаюсь вами, я никогда не могла бы быть с вами несчастной... и потом, знаете, я убеждена, что теперь меня уже ничто не могло бы сделать несчастной в полном смысле этого слова. Я слишком много пережила, я стала философом... Но, говоря откровенно (вы ведь этого требуете, не правда ли? Вы не рассердитесь на меня?)... видите ли, я знаю свои слабости; возможно, через несколько месяцев я оказалась бы настолько глупой, что почувствовала бы себя не совсем счастливой с вами; а этого я не желаю, именно потому, что питаю к вам самое святое чувство и не хочу омрачать его ничем.

Он печально сказал:

— Да, вы говорите так, чтобы смягчить удар. Я вам не нравлюсь. Во мне есть что-то отталкивающее.

— Нет, нет, уверяю вас! Не надо так сгорчаться. Вы хороший и дорогой мне человек.

— Тогда я ничего не понимаю. Почему же мы не подходим друг другу?

— Потому что мы слишком разные, у нас обоих слишком ярко выраженные, слишком эгоистичные характеры.

— За это я вас и люблю.

— Я тоже. Но именно потому столкновение неизбежно.

— Нет, нет!

— Это несомненно. А может случиться и так: зная, что вы стоите выше меня, я буду упрекать себя в том, что стесняю вас своей ничтожной особой; тогда я начну подавлять себя, буду молча страдать.

Слезы навернулись на глаза Кристофа.

— О! Этого я не хочу. Нет, нет! Я предпочту любое несчастье, только бы вы не страдали по моей вине, из-за меня.

— Не огорчайтесь, мой друг... Знаете, говоря так, возможно, я льщу себе, переоцениваю себя. Может быть, я и не способна пожертвовать собой ради вас.

— Тем лучше!

— Но тогда я принесу в жертву вас и буду мучиться... Вот видите, это неразрешимо, как ни поверни. Пусть все остается попрежнему. Разве может быть что-нибудь лучше нашей дружбы?

Он покачал головой и улыбнулся не без горечи.

— Да, все это потому, что в сущности вы недостаточно меня любите.

Она тоже грустно улыбнулась и сказала со вздохом:

— Может быть. Вы правы. Я уже не очень молода, мой друг. Я устала. Жизнь изнашивает, не все так сильны, как вы... О! Когда я гляжу на вас, мне иной раз кажется, что вам восемнадцать лет.

— Увы! А моя седая голова, морщины, старое лицо!

— Я хорошо знаю: вы страдали столько же, если не больше, чем я. Я вижу это. Но вы глядите на меня иногда глазами юноши, и я чувствую, как в вас бьет ключом молодая жизнь. А я, я угасла. Подумать только, куда девался мой былой пыл! То были, как говорится, хорошие времена, хотя я была в ту пору очень несчастна! А теперь у меня даже нет сил, чтобы быть несчастной! Жизнь во мне течет слабой струйкой. У меня уже не хватит безрассудства, чтобы отважиться на такое испытание, как брак. А когда-то, когда-то! Если бы некто, кого я хорошо знаю, только сделал мне знак...

— Говорите, говорите же...

— Нет, не стоит...

— Итак, если бы тогда я... О боже!

— Что, если бы вы? Я ничего не сказала.

— Я понял. Вы очень жестоки.

— Ну, а тогда — тогда я была безумной, вот и все.

— Но ужаснее всего, что вы говорите это.

— Бедный Кристоф! Я слова не могу вымолвить, чтобы не причинить ему страдания. Я замолчу.

— Нет, нет! Говорите... скажите что-нибудь.

— Что?

— Что-нибудь хорошее.

Она рассмеялась.

— Не смейтесь.

— А вы не будьте грустным.

— Как же я могу не грустить?

— У вас нет для этого причин, уверяю вас.

— Почему?

— Потому что у вас есть подруга, которая очень любит вас.

— Правда?

— Как, вы не верите? Вы не верите моим словам?

— Повторите еще!

— Тогда вы перестанете грустить? Вы не будете слишком жадным? Вы сумеете довольствоваться нашей драгоценной дружбой?

— Придется!

— Неблагодарный, неблагодарный! А еще говорите, что любите! Право, я думаю, что люблю вас больше, чем вы меня.

— О, если бы это было возможно!

Он произнес это в таком порыве влюбленного эгоизма, что она рассмеялась. Он тоже. Он продолжал настаивать:

— Скажите!

С минуту Грация молча смотрела на него, затем вдруг приблизила свое лицо к лицу Кристофа и поцеловала его. Это было так неожиданно! У него перехватило дыхание. Он хотел сжать ее в объятьях. Но она тут же вырвалась. Стоя у двери маленькой гостиной, она посмотрела на него, приложила палец к губам, произнесла: «Тс!» — и исчезла.

С этого дня Кристоф не говорил больше Грации о своей любви, и его отношения с ней стали более непринужденными. Вместо натянутого молчания, чередующегося с едва подавляемыми вспышками резкости, пришла простая и сдержанная дружба. Таковы благодетельные плоды откровенности. Нет больше полунамеков, иллюзий, опасений. Каждый знал сокровенные мысли другого. Когда Кристоф вместе с Грацией находился в обществе чужих людей, раздражавших его своим равнодушием, и начинал нервничать, слушая, как Грация ведет с ними пустую, светскую болтовню, она тотчас же замечала это и, улыбаясь, бросала на него взгляд. Этого было достаточно — он сознавал, что они вместе, и мир водворялся в его душе.

Присутствие любимой женщины вырывает из воображения отравленное жало; лихорадка страсти утихает; душа погружается в целомудренное обладание возлюбленной. К тому же Грация излучала на всех окружающих спокойное очарование своей гармонической натуры. Всякая, даже невольная, утрировка, жест, интонация оскорбляли ее, как нечто искусственное и некрасивое. Так она постепенно влияла на Кристофа. Вначале он грыз удила, обуздывая свои порывы, но мало-помалу научился владеть собой, и это стало его силой, ибо он перестал растрачивать себя в бесплодных вспышках.

Их души слились. Грация, погруженная в полудремоту, с улыбкой вкушавшая сладость жизни, начала пробуждаться при соприкосновении с нравственной энергией Кристофа. Она стала проявлять более живой и непосредственный интерес к духовным ценностям. Она, которая почти не читала, а больше лишь перечитывала до бесконечности одни и те же старые любимые книги, начала ощущать любопытство, а вскоре и интерес к свежим мыслям. Богатый мир новых идей, о котором она знала, но куда не имела ни охоты, ни отваги вступать в одиночестве, не пугал ее теперь, когда у нее был спутник, готовый вести ее. Незаметно для себя она начала понимать, хотя и не без сопротивления, ту молодую Италию, чей боевой пыл так долго отталкивал ее.

Но это слияние душ оказалось особенно благотворным для Кристофа. В любви часто бывает, что наиболее слабым из двоих является тот, кто больше дает, не потому, что другой любит меньше, а просто у более сильного больше требования. Так Кристоф уже обогатился умом Оливье. Но его новый духовный союз был гораздо плодотворнее, так как Грация принесла ему в приданое редчайшее сокровище, которым никогда не обладал Оливье, — радость. Радость в душе и в глазах. Солнечный свет. Улыбку латинского неба, которая прикрывает безобразие самых уродливых вещей, украшает цветами камни старых стен и даже печали сообщает свое спокойное сияние.

Возрождающаяся весна была союзницей Грации. Мечта новой жизни созревала в теплом неподвижном воздухе. Молодая зелень сплеталась с серебристо-серыми

оливами. Под темнокрасными арками разрушенных акведуков стояли усыпанные белыми цветами миндальные деревья. В проснувшейся Кампанье волновались потоки трав, вспыхивали триумфальные огни маков. На лужайках перед виллами разлились ручьи розовато-лиловых анемонов и расстилались скатерти фиалок. Глицинии карабкались по стволам зонтообразных сосен, а ветер, пронесившийся над городом, был напоен ароматом роз Палатина.

Они гуляли вдвоем. Грация выходила порою из оцепенения, присущего восточным женщинам, в которое она погружалась на много часов, и становилась совсем другой; она любила гулять; высокая, с длинными ногами, с крепким и гибким станом, она походила на статую Дианы Приматиччо. Чаще всего они отправлялись на одну из вилл, которые напоминали обломки кораблекрушения, — остатки блестящего времени Рима *settecento*<sup>1</sup>, потонувшего в волнах пьемонтского варварства. Особой их любовью пользовалась вилла Маттеи, этот утес древнего Рима, у подножья которого, словно плещущие волны, обрывались холмы пустынной Кампаньи. Они шли дубовой аллеей с высоким сводом, обрамляющим мягкие, слегка вздымающиеся, подобно бьющемуся сердцу, синие очертания Альбанских гор. Сквозь листву видны выстроившиеся вдоль дороги гробницы римских супругов, их печальные лица и навеки сплетенные руки. Кристоф и Грация садились в конце аллеи, в беседке из вьющихся роз, прислонившись спиной к белому саркофагу. Ни души. Глубокий покой. Шелест фонтана, бьющего слабой, как бы изнемогающей от истомы струйкой. Они беседовали вполголоса. Грация доверчиво смотрела на своего друга. Кристоф говорил о жизни, о борьбе, о пережитых страданиях; во всем этом уже не было грусти. Рядом с ней, под ее взглядом все было просто, все было таким, как должно быть. Она тоже рассказывала Кристофу о себе. Он едва слушал ее, но ни одна из ее мыслей не ускользала от него. Он обручился с ее душой. Он смотрел на все ее глазами. Всюду он видел ее глаза — ее спокойные глаза, горевшие глубоким огнем: он видел

---

<sup>1</sup> восемнадцатого века (итал.).



их в прекрасных чертах полуразрушенных античных статуй, в их немом, загадочном взгляде; он видел их в небе Рима, которое влюбленно улыбалось пушистым кипарисам, и среди листьев *lessi*<sup>1</sup>, черных, блестящих, словно пронзенных стрелами солнца.

Глазами Грации Кристоф воспринял латинское искусство, оно стало доступно его сердцу. До сих пор он оставался равнодушным к творчеству итальянцев. Этот варвар-идеалист, огромный медведь, забредший сюда из германских лесов, не научился еще наслаждаться прелестью прекрасных мраморных статуй, золотящихся подобно медовым сотам. К древностям Ватикана он относился с откровенной враждебностью. Он испытывал отвращение к этим тупым лицам, к женоподобным или слишком громоздким фигурам, к банальной округлости форм, ко всем этим Гитонам и гладиаторам. Только несколько портретных скульптур снискали его благоволение, но этот жанр не интересовал его. Не большую снисходительность проявил он и к мертвенно-бледным, гримасничающим флорентинцам, к страждущим, немощным мадоннам, к малокровным, чахоточным, манерным и истощенным Венерам прерафаэлитов. А животное-тупые скульптуры воинов и красных потных атлетов, распространившиеся по всему миру с фресок Сикстинской капеллы, казались ему пушечным мясом. К одному лишь Микеланджело он питал тайное благоговение за его трагические страдания, за его божественное презрение и за суровое целомудрие его страстей. Он любил чистой и варварской любовью, как и великий мастер, строгую наготу его юношей, его диких и пугливых девственниц, напоминающих затравленных зверей, скорбную Аврору, мадонну с иступленными глазами и младенцем, припавшим к груди, и прекрасную Лию, которую он не прочь был бы взять в жены. Но в истерзанной душе героя он находил лишь отражение своей собственной души.

Грация распахнула перед ним двери в мир нового искусства. Он познал величавое спокойствие Рафаэля и Тициана. Он оценил царственный блеск классического гения, который подобно льву повелевает миром побе-

---

<sup>1</sup> каменных дубов (итал.).

жденных и укрощенных форм. Потрясающий образ великого венецианца, проникающего в самое сердце и рассеивающего своим сиянием смутный туман жизни, всепокоряющее могущество латинского разума, умеющего не только одерживать победы, но и укрощать самого себя и, победив, подчиняться суровой дисциплине, умеющего отбирать и захватывать на поле боя все самое ценное из добычи, брошенной поверженным врагом. Статуи олимпийцев и Stanze<sup>1</sup> Рафаэля наполнили сердце Кристофа музыкой, прекраснее творений Вагнера. Музыкой спокойных линий, благородной архитектуры, гармонических групп. Музыкой, излучаемой совершенной красотой лиц, рук, прекрасных ног, одежд и жестов. Ум. Любовь. Потоки любви бьют ключом из этих юных душ и тел. Могущество духа и наслаждения. Юная нежность, насмешливая мудрость, назойливый, жаркий запах влюбленной плоти, ясная улыбка, рассеивающая тьму и смиряющая страсти. Встали на дыбы трепетные силы жизни, и их обуздали, словно коней, впряженных в колесницу Солнца, уверенная рука хозяина...

И Кристоф спрашивал себя:

«Неужели нельзя сочетать, как это делали они, силу и спокойствие римлян? Теперь даже наиболее способные стремятся к чему-нибудь одному, в ущерб другому. Пожалуй, итальянцы, больше чем другие народы, утратили чувство той гармонии, которую знали Пуссен, Лоррен и Гёте. Неужели чужеземцам придется снова доказать римлянам ценность этого? А кто научит этому наших музыкантов? Музыка еще не имела своего Рафаэля. Моцарт лишь ребенок, маленький немецкий буржуа, с лихорадочными руками и сентиментальным сердцем; он слишком болтлив, слишком много жестикулирует и говорит, и плачет, и смеется по пустякам. И ни готический Бах, ни Прометей из Бонна, борющийся с коршуном, ни его потомки Титаны, взвалившие Пелион на Оссу и бросающие вызов небу, никогда не видели улыбки божества...»

После того как Кристоф увидел эту улыбку, он стал краснеть за свою собственную музыку: за суетное вол-

---

<sup>1</sup> Залы в Ватикане, стены которых расписаны Рафаэлем. — Прим. ред.

нение, напыщенные страсти, нескромные жалобы, выпячивание себя, отсутствие чувства меры — все это казалось ему одновременно и жалким и позорным. Стадо без пастуха, царство без короля. Нужно уметь быть владыкой мятежной души...

Казалось, Кристоф в течение этих месяцев совсем забыл музыку. Он почти не писал, он не ощущал в этом потребности. Его ум, оплодотворенный Римом, вынашивал плод. Он проводил дни в состоянии полудремоты, полуопьянения. Было начало весны, и в природе происходило то же, что и в нем: к истоке пробуждения примешивалось головокружительное сладострастие. Природа и он слились воедино и предавались мечтам, подобно любовникам, крепко обнявшимся во сне. Волнующая тайна Кампаньи уже не вызывала в нем ни враждебности, ни тревоги: он овладел ее трагической красотой; он держал в своих объятьях спящую Деметру.

В апреле Кристоф получил приглашение из Парижа: ему предлагали дирижировать циклом концертов. Даже не обсуждая его, он решил отказаться, но сперва счел своим долгом рассказать об этом Грации. Ему было приятно советоваться с ней о своих делах. Это создавало иллюзию, что она разделяет его жизнь. На этот раз она причинила ему сильное разочарование. Она заставила его подробно рассказать об условиях и, выслушав, посоветовала принять предложение. Он был опечален: он видел в этом доказательство ее равнодушия.

Быть может, Грация и не без сожаления давала этот совет. Но зачем Кристоф обратился к ней? Чем больше он доверялся ей, заставляя принимать решения за себя, тем большую ответственность чувствовала она за поступки своего друга. В результате обмена мыслями, происходившего между ними, она заимствовала у Кристофа частицу его воли; он открыл ей, что деятельность — долг человека, и она поняла красоту этого долга. По крайней мере она считала выполнение долга обязательным для своего друга и не желала, чтобы он уклонялся. Она лучше его знала расслабляющее влияние, таящееся вдыхании итальянской земли, которое, подобно коварному

яду теплого сирокко, проникает в кровь и усыпляет волю. Сколько раз она испытывала на себе его пагубные чары, не имея сил сопротивляться ему. Все окружающие ее люди в той или иной мере были поражены этим душевным недугом. Некогда более сильные, чем она и Кристоф, они стали его жертвами; эта ржавчина разъела доспехи римской волчицы. Рим дышит смертью; здесь слишком много гробниц. Здесь здоровее бывать изредка, чем жить постоянно. Здесь слишком быстро отстают от века: этот воздух опасен для молодых сил, которым еще предстоит долгий жизненный путь. Грация прекрасно понимала, что окружающее ее общество не могло быть животворной средой для художника. И хотя она относилась к Кристофу более дружески, чем к кому-либо (решилась ли она признаться в этом самой себе?), в глубине души она была рада, что он уезжал. Увы! Он утомлял ее всем тем, что она любила в нем, — своею цельностью, избытком жизненных сил, накопленных в течение ряда лет и бьющих через край; все это нарушало ее покой. Возможно, он утомлял ее еще и потому, что она постоянно чувствовала угрозу этой прекрасной, трогательной, но настойчивой любви, против которой всегда приходилось быть начеку; гораздо благоразумнее держать его в отдалении. Даже самой себе она боялась признаться в этом; она верила, что ею руководят только интересы Кристофа.

Доводов у нее было больше чем достаточно. В то время положение музыкантов в Италии было трудным; им не хватало простора. Музыкальная жизнь была подавлена и изуродована. Фабрика театра покрывала своей жирной копотью и удушливым дымом эту землю, где расцветали некогда музыкальные цветы, наполнявшие своим благоуханием всю Европу. Те, кто отказывался вступить в банду крикунов, кто не мог и не хотел служить на фабрике, были обречены на изгнание или прозябали. Творческий гений отнюдь не иссяк. Но он бездействовал и погибал. Кристоф встретил немало молодых музыкантов, в которых возродилась мелодическая душа мастеров их расы и чувство прекрасного, насыщавшее простое и мудрое искусство прошлого. Но кто ими интересовался? Они не могли ни исполнять, ни издавать

свои произведения. Чистая симфония никому не была нужна. Никто не желал слушать музыку, если ее лик не был грубо размалеван. Тогда они начинали петь для самих себя унылым, безнадежным голосом, но и он в конце концов угасал. К чему? Лучше уснуть! Кристоф от всей души хотел помочь им. Но если бы даже это было в его силах, их подозрительность и самолюбие возмутились бы против этого. Что бы собой ни представлял Кристоф, он был для них иностранцем; а для итальянцев, потомков гордой древней расы, несмотря на их сердечное радушие, каждый чужеземец остается в сущности варваром. Они считали, что вопрос о бедственном положении их искусства должен решаться без посторонних. Осыпая Кристофа проявлениями дружбы, они не принимали его в семью. Что ему оставалось делать? Не мог же он соперничать с ними и оспаривать у них жалкое место под солнцем, в праве на которое они были так неуверены!

К тому же талант не может обходиться без пищи. Музыкант нуждается в музыке, — он должен ее слышать, он должен ее исполнять. Временное уединение полезно для ума, оно заставляет его сосредоточиваться, только при условии, что это длится недолго. Одиночество благородно, но может оказаться смертельным для художника, у которого не хватит сил вырваться из него. Нужно жить жизнью своего времени, пусть даже шумной и грязной; нужно непрерывно давать и получать, давать, давать и снова получать. Италия в ту пору, когда там жил Кристоф, уже перестала быть той огромной ярмаркой искусства, какой была когда-то, какой, быть может, станет вновь. Ярмарки мысли, где происходит обмен духовными ценностями между народами, перекочевали теперь на север. Кто хочет жить, должен жить там.

Кристоф по своей воле ни за что не полез бы в эту мерзкую толкучку. Но Грация более ясно сознавала долг Кристофа, чем он сам. И предъявляла к нему бо́льшие требования, чем к себе самой. Потому, разумеется, что ставила его выше себя. Но также и потому, что так ей было удобнее. Она передавала ему свою энергию, а сама сохраняла покой. Он не осмеливался сердиться

на нее за это. Она была подобна Марии — ее удел был легче. Каждому предназначена своя роль в жизни. Кристофу положено было действовать. Ей же довольно было жить на свете. Большого он от нее и не требовал, лишь бы она любила его — и, если можно, не только ради него, но и ради самой себя. Ибо он не слишком был благодарен Грации за ее дружбу, настолько лишенную эгоизма, что она думала лишь об интересах друга, в то время как он сам вовсе не желал о них думать.

Он уехал. Он отдалился от нее. Но не расстался с ней. Как говорит некий старый трувер, «свою подругу покидает друг, лишь получив согласие души».

## Часть вторая

У Кристофа щемило сердце, когда он подъезжал к Парижу. В первый раз после смерти Оливье он возвращался туда. Ему не хотелось больше видеть этот город. Когда он ехал в фиакре с вокзала в гостиницу, то едва осмеливался смотреть в окошко. Первые дни он провел в своем номере, не решаясь выйти. Он боялся воспоминаний, подстерегающих его за дверью. Но чего именно? Отдавал ли он себе в этом отчет? Был ли то страх, как убеждал себя Кристоф, что тени прошлого снова, как живые, возникнут перед ним? А может быть, — и это еще горше, — что прошлое уже окажется мертвым? Против новой утраты его инстинкт подсознательно вооружился всевозможными уловками. Именно потому, вероятно сам того не подозревая, он выбрал гостиницу подальше от квартала, где жил прежде. И когда Кристоф в первый раз прошел по улицам в концертный зал, где проводил репетиции с оркестром, когда снова соприкоснулся с жизнью Парижа, то долго еще продолжал закрывать глаза, отказываясь видеть то, что видел, и упорно стремясь видеть лишь то, что видел когда-то. Он заранее внушал себе: «Все это мне уже знакомо, все это мне уже знакомо».

В искусстве, как и в политике, попрежнему царили нетерпимость и анархия. На площади та же ярмарка. Только актеры поменялись ролями. Революционеры его времени превратились в буржуа; сверхчеловеки стали знаменитостями. Прежние независимые стремились задущить нынешних. Те, кто двадцать лет назад представляли молодежь, теперь стали еще большими консервато-

рами, чем старики, с которыми они боролись так недавно, и своими нападками отказывали в праве на жизнь молодому поколению. С виду все оставалось попрежнему.

И все изменилось...

\* \* \*

«Мой друг, простите меня! Как Вы добры, что не сердитесь на мое молчание. Ваше письмо очень помогло мне. Я провел несколько недель в ужасном смятении. Мне всего не хватало. Я потерял Вас. Здесь — страшная пустота после моих утрат. Из старых друзей, о которых я Вам рассказывал, не осталось никого. Филомела (помните, голос, который пел в тот печальный и чудесный вечер, когда, блуждая среди праздничной толпы, я увидел в зеркале Ваши глаза, устремленные на меня), — Филомела благоразумно осуществила свою давнишнюю мечту: она получила маленькое наследство и живет теперь в Нормандии, хозяйничает у себя на ферме. Арно ушел в отставку, они с женой вернулись в свой родной городок неподалеку от Анжера. Большинство знаменитостей моего времени умерло или впало в полное ничтожество, осталось только несколько старых манекенов, которые еще двадцать лет назад подвизались на ролях первых любовников в искусстве и политике и играют эти роли до сих пор все так же фальшиво. Кроме этих масок, я не узнал больше никого. Мне казалось, что они кривляются на могиле. Это было отвратительное ощущение. Кроме того, первое время после приезда я страдал физически от уродства окружающего, от тусклого северного света после Вашего золотого солнца, от нагромождения серых домов, от грубых линий некоторых соборов, некоторых памятников, — прежде я не замечал их, а теперь они оскорбляют мое зрение. Моральная атмосфера тоже мне не по душе.

Тем не менее я не могу пожаловаться на парижан. Они оказали мне совсем иной прием, чем когда-то. Похоже на то, что за время моего отсутствия я стал чем-то вроде знаменитости. Не стоит об этом рассказывать,



я-то знаю этому цену. Разумеется, все лестное, что эти люди говорят и пишут обо мне, мне приятно. Я им весьма признателен. Но, знаете, мне были гораздо ближе те, кто нападал на меня когда-то, чем те, кто превозносит меня теперь... Винават в этом я сам, знаю. Не браните меня. Некоторое время я находился в смятении. Теперь все прошло. Я понял. Да, Вы были правы, отправляя меня к людям. Одиночество начало засасывать меня. Вредно играть роль Заратустры. Поток жизни постепенно иссякает, исчезает. Наступает момент, когда остается пустыня. А чтобы прорыть в песках новый канал до реки, нужно много дней изнуряющей работы под палящим солнцем. Это сделано. У меня уже не кружится голова. Я влился в течение. Я смотрю и вижу.

Друг мой, какой странный народ французы! Двадцать лет назад я считал, что их песня спета. А они начинают сызнова. Мой дорогой друг Жанен предсказывал это. Но я полагал, что он обольщает себя иллюзиями. Разве тогда можно было этому поверить? Вся Франция, как и их Париж, была полна развалин, обломков, пожарищ. Я говорил: «Они все разрушили... Это племя разрушителей!» Племя бобров. Когда вам кажется, что они яростно предаются разрушению, они на тех же руинах закладывают фундамент нового города. Теперь со всех сторон поднялись леса, и я убедился в этом.

Wenn ein Ding geschehen,  
Selbst die Narren es verstehen<sup>1</sup>.

Говоря откровенно, во Франции царит все тот же ералаш. Нужно привыкнуть, чтобы рассмотреть в этой непрерывной сутолоке и толчее артели рабочих, идущих на работу. Эти люди, как Вам известно, не умеют ничего делать, не крича об этом на всех перекрестках. Эти люди не умеют также ничего делать, не охаявая того, что делают соседи. Тут могут потерять рассудок даже самые крепкие головы. Но если прожить с ними, как я, около десяти лет, то их крики уже не вводят в заблуждение. Начинаешь понимать, что это их манера подстегивать себя в работе. Болтая, они действуют, и ка-

---

<sup>1</sup> Когда событие произошло, оно становится понятным даже глупцам (нем.). — Р. Р.

ждая группа строителей сооружает свой дом, а там глядишь — и город перестроен; но поразительнее всего то, что у них получается довольно стройное целое. Как бы ни были противоположны их взгляды, мозги у всех устроены на один манер. Таким образом, под их анархией скрываются общие инстинкты, общая свойственная всей нации логика, заменяющая дисциплину, которая в конечном счете, быть может, даже крепче, чем дисциплина в прусском полку.

Всюду ощущается тот же порыв, та же строительная лихорадка: в политике — социалисты и националисты работают наперегонки, чтобы подтянуть расшатанный механизм власти; в искусстве одни хотят восстановить старинный аристократический особняк для привилегированных, другие же — воздвигнуть огромный зал, широко доступный для народа, где поет душа коллектива; это реставраторы прошлого, строители будущего. Впрочем, что бы ни делали эти искусные животные, они всегда создают одни и те же клетки. С присущим им инстинктом бобров и пчел они на протяжении веков повторяют одни и те же движения, находят одни и те же формы. Наиболее революционно настроенные из них, быть может даже подсознательно, придерживаются самых старых традиций. Я встречал среди синдикалистов и среди наиболее выдающихся молодых писателей людей средневекового склада.

Теперь, когда я снова привык к их шумным повадкам, я с удовольствием наблюдаю, как они работают. Поговорим начистоту: я слишком старый медведь и никогда не буду чувствовать себя хорошо ни в одном из их домов, — мне необходим свежий воздух. Но какие прекрасные работники! Это их высшая добродетель. Она облагораживает самых посредственных и самых развращенных из них. А как чувствуют красоту их художники! Прежде я замечал это меньше. Вы научили меня видеть. Благодаря свету Рима я прозрел. Ваши люди Возрождения помогли мне понять французов. Страница Дебюсси, торс Родена, фраза Сюареса — все это потомки ваших *cinqcentisti*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> итальянцев шестнадцатого века (итал.).

Это отнюдь не значит, что мне здесь все по душе. Я снова встретил моих старых знакомых с Ярмарки на площади, которые когда-то так возбуждали мой священный гнев. Они нисколько не изменились. Но, увы, изменился я. Я уже не смею быть беспощадным. Когда у меня возникает желание вынести кому-либо суровый приговор, я говорю себе: «Ты не имеешь права. Ты поступил хуже, чем эти люди, а ведь ты считал себя сильным...» Я научился также понимать, что нет ничего бесполезного, что самым подлым людям суждена своя роль в трагедии. Извращенные дилетанты, зловонные растлители выполнили свою работу термитов: нужно было разрушить ветхую лачугу, прежде чем ее восстанавливать. Евреи повиновались своей священной миссии — они остались народом, чуждым другим расам, народом, прокладывающим из одного конца мира в другой пути, объединяющие человечество. Они опрокидывают интеллектуальные барьеры, разделяющие нации, чтобы предоставить широкую арену божественному Разуму. Прожженные циники и насмешники, своей разрушительной иронией подрывающие заветные нам верования и уничтожающие дорогих нам покойников, бессознательно работают ради святого дела, ради созидания новой жизни. Точно так же и банкиры-космополиты, удовлетворяющие свое чудовищное корыстолюбие ценою стольких бедствий, воздвигают, хотя бы они этого и не хотят, единый мир бок о бок с революционерами, которые борются против них, — притом гораздо успешнее, чем простаки-пацифисты.

Как видите, я старею. Я уже не кусаюсь. Мои зубы притупились. Увы, я уже не принадлежу к числу тех зрителей, которые, сидя в театре, вызывают актеров во время действия и освистывают предателя на сцене.

Безмятежная Грация! Я говорю Вам только о себе, а между тем думаю только о Вас. Ах, если бы Вы знали, как надоело мне мое «я»! Оно угнетает и поглощает меня. Это ярмо, навязанное на мою шею господом богом. Как бы я хотел сложить его у Ваших ног! Но что бы Вы с ним делали? Это скучный подарок... Ваши ноги созданы, чтобы ходить по мягкой земле и топтать скрипящий под ногами гравий. Я вижу эти милые ноги, они

лениво ступают по лужайкам, усыпанным анемонами (побывали ли Вы за это время на вилле Дориа?)... А вот они уж и устали! Теперь я вижу Вас полулежащей в любимом уголке, в глубине Вашей гостиной; опираясь на локоть, Вы держите в руках книгу, но не читаете ее. Вы благосклонно слушаете меня, не очень вникая в то, что я говорю: ведь я надоедлив, и чтобы набраться терпения, Вы время от времени возвращаетесь к своим мыслям; но Вы вежливы, и, чтобы меня не огорчать, когда какое-нибудь слово случайно возвращает вас издалека к действительности, Ваш рассеянный взгляд спешит выразить интерес. А я... я тоже далек от того, что говорю, я тоже почти не слышу своих слов, и, следя за тем, как они отражаются на Вашем прекрасном лице, я слышу внутри себя совсем другие слова, которые не решаюсь произнести. И эти слова, не в пример тем другим, Вы прекрасно слышите, хотя и делаете вид, что не слышите. До свиданья. Думаю, что Вы скоро увидите меня. Я не могу больше томиться. Что мне здесь делать теперь, когда концерты окончились?

Целую милые щечки Ваших деток. Они — частица Вас. Приходится довольствоваться этим!..

*Кристоф».*

\* \* \*

«Безмятежная Грация» отвечала:

«Мой друг! Я получила Ваше письмо в уголке гостиной, которую Вы так хорошо помните; и читала его так, как читаю обычно, — давая время от времени передохнуть и Вашему письму и себе самой. Не смейтесь! Это для того, чтобы продлить удовольствие. Я просидела с ним до вечера. Дети спросили меня, что это я все время читаю. Я ответила, что это письмо от Вас. Аврора посмотрела на листочки бумаги и соболезнующе воскликнула: «Как, должно быть, скучно писать такое длинное письмо!» Я пыталась объяснить ей, что это не принуждение, не урок, который я Вам задала, а что таким образом мы беседуем. Она выслушала, не сказав ни слова, и убежала играть с братом в соседнюю комнату; спустя немного времени, когда Лионелло начал кричать,

я услышала, как Аврора сказала ему: «Нельзя шуметь: мама разговаривает с синьором Кристофом».

То, что Вы сообщаете о французах, интересует меня, но не удивляет. Помните, я часто упрекала Вас за то, что Вы несправедливы к ним. Их можно не любить. Но какой это умный народ! Есть посредственные нации, которых выручает доброта или физическая сила. Французов выручает ум. Он искупает все их слабости. Он возрождает их. Когда всем кажется, что они впали в ничтожество, выдохлись, разложились, они обретают новую молодость в неиссякаемом источнике своего разума.

Но я вынуждена пожурить Вас. Вы просите у меня извинения за то, что говорите только о себе. Вы — *ingannatore*<sup>1</sup>. Вы ничего не сообщаете о себе. Ни о том, что Вы сделали, ни о том, что Вы видели. Чтобы осведомить меня о Ваших успехах, кузине Коlette (кстати, почему Вы не зайдете к ней?) пришлось прислать мне вырезки из газет с отзывами о Ваших концертах. Вы только вскользь упоминаете о них. Неужели Вы так равнодушны ко всему? Это неправда. Скажите мне, что успех доставляет Вам удовольствие!.. Это должно доставлять Вам удовольствие уже потому, что доставляет удовольствие мне. Я не люблю, когда у Вас удрученный вид. Тон Вашего письма грустный. Не надо... Хорошо, что Вы стали справедливее к окружающим. Но это не причина для самобичевания, которому подвергаете себя Вы, считая себя худшим из худших. Добрый христианин похвалил бы Вас, я же говорю, что это плохо. Я дурная христианка. Но я хорошая итальянка и не люблю, когда терзаются из-за прошлого. Хватит с нас и настоящего. Я не знаю толком всего, что Вы натворили когда-то. Вы сказали об этом лишь несколько слов, а остальное, кажется, я угадала. Это было что-то не слишком красивое, но Вы не стали от этого менее дороги мне. Бедный Кристоф, женщина, достигшая моего возраста, неизбежно убеждается в том, что самые порядочные люди зачастую бывают слабыми. И за эти слабости их только сильнее любят. Не размышляйте больше о том, что Вы сделали. Думайте о том, что Вы сделаете. Раскаianie ни

---

<sup>1</sup> лгунишка (итал.).

к чему. Раскаиваться значит возвращаться назад. Творя добро или зло, нужно всегда идти вперед. *Sempre avanti, Savoia!*<sup>1</sup> Неужели Вы воображаете, что я разрешу Вам вернуться в Рим! Вам здесь нечего делать. Оставайтесь в Париже, творите, действуйте, примите участие в артистической жизни. Я не желаю, чтобы Вы отреклись от мира. Я хочу, чтобы Вы создавали прекрасные вещи, хочу, чтобы они имели успех; хочу, чтобы Вы были сильным и помогали молодым, новым Кристофам, которые ведут ту же борьбу и проходят через те же испытания, что и Вы. Найдите их, поддержите их, отнесите к своим младшим собратьям лучше, чем старшие отнеслись когда-то к Вам. Наконец, я хочу, чтобы Вы были сильным, чтобы я знала, что Вы сильны, — Вы даже не подзреваете, какую силу это дает мне самой.

Почти ежедневно я хожу на виллу Боргезе. Позавчера мы ездили в экипаже на Понте Молле и обошли пешком башню Монте Марио. Вы клеветеете на мои бедные ноги. Они в обиде на Вас: «Что там болтает этот господин, будто мы тотчас же устаем, пройдя десять шагов по вилле Дориа? Он не знает нас. Если мы и не слишком любим утруждать себя, то лишь из лени, а вовсе не потому, что не можем...» Не забывайте, мой друг, что я ведь крестьяночка.

Сходите к моей кузине Коlette. Неужели Вы все еще сердитесь на нее? В сущности это добрая женщина. Она бредит Вами. Судя по всему, парижанки помешались на Вашей музыке. Если только мой бернский медведь захочет, то станет парижским львом. Получаете ли Вы письма? Объясняются ли Вам в любви? Вы не упоминаете ни об одной женщине. Уж не влюбились ли? Расскажите. Я не ревнива.

Ваш друг Г.».

\* \* \*

«Не воображайте, что я Вам признателен за Вашу последнюю фразу! Я благодарил бы небо, насмешница Грация, если бы Вы были ревнивы! Но не рассчитывай-

---

<sup>1</sup> Всегда вперед, Савойя! (итал.)

те — я не научу Вас этому. Я совсем не склонен влюбляться в этих сумасшедших парижанок, как Вы их называете. Сумасшедших? Они бы не прочь сойти с ума. Но это отнюдь не так. Не надейтесь, что они вскружат мне голову. Вероятно, это скорее удалось бы им, если бы они равнодушнее относились к моей музыке. Но они любят ее, это слишком очевидно. Можно ли при этом сохранить иллюзии? Если кто-нибудь говорит, что понимает вас, то будьте уверены: он никогда вас не поймет...

Не принимайте слишком всерьез мое брюзжание. Чувства, которые я питаю к Вам, вовсе не делают меня несправедливым ко всем остальным женщинам. Я никогда не испытывал к ним более искреннего расположения, как с той поры, что перестал смотреть на них влюбленными глазами. Их отважную борьбу на протяжении тридцати лет против унижительного и нездорового положения полурабынь, в которое их поставил — к нашему обоюдному несчастью — глупый мужской эгоизм, я считаю одним из величайших подвигов нашей эпохи. В таком городе, как Париж, научаясь восхищаться этим новым поколением молодых девушек, которые, невзирая на все препятствия, с наивным жаром устремляются на завоевание науки и дипломов, — той науки и тех дипломов, которые должны, как они полагают, раскрепостить их, открыть им тайны неведомого мира, сделать их равными мужчинам...

Разумеется, эта вера призрачна и немного смешна. Но прогресс никогда не осуществляется так, как ожидают, а совсем иными путями. Эти усилия женщин не пропадут. Женщины станут более совершенными, более гуманными, такими, какими они были в великие эпохи. Они перестанут безучастно относиться к животрепещущим мировым вопросам, — ведь это было позорно и чудовищно. Недопустимо, чтобы в современном государстве женщина, даже целиком поглощенная семейными обязанностями, считала себя свободной от выполнения гражданского долга. Их прабабушки времен Жанны д'Арк и Екатерины Сфорца мыслили иначе. Женщина зачахла. Мы отказали ей в воздухе и солнце. Она берет их у нас силой. Ах, славные девушки! Разумеется, многие из тех, кто вступил теперь в борьбу, погибли, надо-

рвутся. Это переходная эпоха. Напряжение слишком велико для этих чересчур изнеженных созданий. Когда растение долгое время остается без влаги, оно рискует погибнуть от первого же дождя. Что ж поделаешь! Такова расплата за всякий прогресс. Зато те, что придут потом, расцветут на этих страданиях. Бедные девы-воительницы в большинстве своем никогда не выйдут замуж, но окажутся более плодовитыми для будущего, чем целые поколения матрон, рожавших детей до них; ценою их жертв возникнет поколение женщин нового классического века.

Конечно, только не в салоне Вашей кузины Колетты можно встретить этих трудолюбивых пчелок. Почему Вы с таким упорством посылаете меня к этой женщине? Мне пришлось подчиниться, но это нехорошо. Вы злоупотребляете своей властью. Я отказался от трех ее приглашений, не ответил на два письма. Преследуя меня, она явилась на одну из репетиций (я исполнял с оркестром мою шестую симфонию). Она пришла ко мне в антракте, задрав нос, нюхая воздух и восклицая: «Ах! Это пахнет любовью! Как мне нравится такая музыка!»

Она изменилась внешне: от ее прежнего облика остались только кошачьи глаза с выпуклыми зрачками да капризный зазорный носик, находящийся в непрерывном движении. Но лицо стало более широким, скуластым, со здоровым румянцем. Спорт преобразил ее. Она бросилась в него очертя голову. Ее муж, как Вам известно, один из почетных членов Автомобильного клуба и Аэроклуба. Без них не обходится ни один авиационный перелет, ни одно состязание в воздухе, на земле или в воде, всюду чета Стивенс-Дэлестрад считает своим долгом присутствовать. Они постоянно в разъездах. С ними невозможно беседовать: они способны только говорить Racing, Rowing, Rugby, Derby<sup>1</sup>. Это новая порода светских людей. Времена «Пелеаса»<sup>2</sup> для женщин миновали. Душа нынче не в моде. Молодые девушки щеголяют красными, загорелыми лицами, обветренными во

---

<sup>1</sup> Всевозможные сухопутные спортивные состязания, гребные гонки, регби, скачки (англ.).

<sup>2</sup> Опера Дебюсси «Пелеас и Мелизанда». — Прим. ред.



время состязаний на свежем воздухе и игр на солнце-пеке, они по-мужски смотрят на вас и слишком громко смеются. Теперь принят более резкий и вольный тон. Иногда Ваша кузина с невозмутимым спокойствием про-износит ужасные вещи. Она стала прожорлива, а ведь прежде почти ничего не ела. По привычке продолжает жаловаться на дурное пищеварение, но при этом не упускает случая плотно покушать. Она ничего не читает. В их кругу теперь не принято читать. Только музыка еще в милости. Ей даже пошел на пользу крах литературы. Когда эти люди переутомлены, музыка для них является чем-то вроде турецкой бани, паровой ванны, массажа, кальяна. Не нужно думать. Это переходная ступень между спортом и любовью. И это тоже своего рода спорт. Но самый модный вид спорта из всех эстетических развлечений — это танец. Русские, греческие, швейцарские, американские танцы. В Париже танцуют буквально всё: симфонии Бетховена, трагедии Эсхила, «темперированный клавиш», античные статуи Ватикана, Орфея, Трестана, «страсти Христовы» и гимнастику. Эти люди спятили.

Забавно наблюдать, как Ваша кузина совмещает все это: эстетизм, спорт, практический ум (ибо она унаследовала от матери деловую сметку и семейный деспотизм). Все вместе взятое образует невероятную смесь. Но Коветта чувствует себя превосходно. Невзирая на свои эксцентричности и сумасбродства, она сохраняет ясный ум, глаз и рука тоже никогда не изменяют ей, и она уверенно ведет машину во время самых головокружительных пробега. Это бой-баба, она командует всеми: мужем, гостями, прислугой. Она занимается и политикой и рьяно поддерживает «его высочество» не потому, что она роялистка, а просто это для нее лишний повод посуетиться. И хотя она не в состоянии прочесть и десяти страниц любой книги, она влияет на выборы в академию... Она пыталась взять меня под свое покровительство. Вы понимаете, что это оказалось мне не по вкусу! Но больше всего меня раздражает, что, хотя я пришел к ней, только повинувшись Вам, она уверена в своей власти надо мной... Я мшу, высказывая ей горькие истины, но она только смеется и за словом в карман не

лезет. «В сущности она добрая женщина...» Да, говорите Вы, но только когда занята. Она и сама признает это; если машине нечего будет дробить, она пойдет на все, на все решительно, чтобы добыть себе пищу. Я два раза был у нее. Больше меня туда не заманишь. Этого довольно, чтобы доказать Вам мою покорность. Вы ведь не желаете моей смерти? Я уйду от нее разбитый, усталый, измочаленный. Ночью, после моего последнего визита, у меня был ужасный кошмар: мне снилось, что я ее муж и на всю жизнь прикован к этому живому вихрю. Глупый сон, который, конечно, не должен беспокоить ее мужа; из всех людей, посещающих этот дом, он, пожалуй, меньше других бывает в ее обществе, а когда они остаются вдвоем, то говорят только о спорте. Они прекрасно уживаются.

Как эти люди могли способствовать успеху моей музыки? Для меня это непостижимо. Я предполагаю, что она их как-то по-новому встряхивает. Она нравится им потому, что не церемонится с ними. В данный момент их привлекает искусство, в котором ощущается плоть. Но они даже не подозревают, что у этой плоти есть душа; сегодня они увлекаются моей музыкой, завтра охладят к ней, а послезавтра будут ее поносить, так никогда и не поняв по-настоящему. Такова участь всех художников. Я не тешу себя иллюзиями по поводу моих успехов, они недолговечны: мне еще придется расплачиваться за них. А пока я присутствую на забавных зрелищах. Один из моих самых восторженных поклонников... отгадайте кто (ставлю тысячу против одного) — наш друг Леви-Кэр. Помните красивого молодого человека, с которым у меня когда-то была нелепая дуэль? Теперь он поучает тех, кто не понимал меня прежде. И даже делает это очень неплохо. Пожалуй, из всех, кто пишет обо мне, он самый умный. Вообразите, чего же стоят другие. Уверю Вас, мне нечем гордиться.

Да у меня и не возникает такого желания. Я чувствую себя слишком униженным, слушая произведения, за которые меня хвалят. Я узнаю себя в них и не нравлюсь себе. Каким беспощадным зеркалом является музыкальное произведение для тех, кто умеет в него смотреться! К счастью, публика слепа и глуха. Я отразил

в моей музыке столько своих тревог и слабостей, что иной раз мне кажется — я поступил дурно, выпустив на волю эту свору демонов... Но я успокаиваюсь, когда вижу невозмутимость публики. Они носят тройную броню, их ничем не прошибешь, — не будь этого, я был бы обречен на вечные муки. Вы упрекаете меня за то, что я слишком строг к себе. Это происходит потому, что Вы знаете меня хуже, чем я сам знаю себя. Окружающие видят нас такими, как мы есть. Они не видят, какими мы могли бы быть, и превозносят нас за то, что является не столько нашей заслугой, сколько стечением благоприятных обстоятельств и направляющих сил. Разрешите рассказать Вам одну историю.

Как-то вечером я зашел в одно из тех кафе, где можно послушать довольно хорошую музыку, хотя и в несколько странном исполнении. На пяти-шести инструментах, в сопровождении рояля, здесь исполняют любую симфонию, мессу, ораторию. Вроде того, как в Риме мраморщики продают для украшения каминов часовни в стиле Медичи. Считается, что это полезно для пропаганды искусства. Чтобы пустить его в обращение среди людей, приходится разменивать его на мелкую монету. Впрочем, на этих концертах Вас не обсчитывают. Программа их обширна, исполнители добросовестны. Я встретил там одного виолончелиста и подружился с ним; его глаза до странности напоминали глаза моего отца. Он рассказал мне свою жизнь. Это внук крестьянина, сын мелкого чиновника мэрии в одной деревушке на севере Франции. Из него хотели сделать барина, адвоката; отправили в коллеж в соседний город. Здоровый, несколько грубоватый мальчуган мало подходил для усидчивой работы провинциального нотариуса, его нельзя было удержать в клетке; он лазил через заборы, бродил по полям, волочился за девушками, растрачивал свою огромную силу в драках; остальное время слонялся без дела, предаваясь совершенно несбыточным мечтам. Его привлекало только одно — музыка. Бог весть почему! Среди его близких не было ни одного музыканта, кроме полупомешанного двоюродного деда, одного из тех провинциальных чудаков, которые, замкнувшись в гордом одиночестве, растрачивают свои зача-

стую недюжинные способности и талант на нелепые выдумки, свойственные маньякам. Он изобрел новую потную систему (еще одну!), которая должна была произвести революцию в музыке; он утверждал также, что придумал стенографический метод, дающий возможность записывать одновременно слова, пение и аккомпанемент, однако сам он так никогда и не удосужился разобраться в написанном. В семье посмеивались над чудачком, что не мешало, впрочем, гордиться им. Родные думали: «Это старый безумец, но кто знает, быть может он гениален...» Несомненно, свою манию к музыке внук унаследовал от деда. Вообразите, какую музыку он мог слышать в своем городке. Но ведь плохая музыка способна внушить такую же чистую любовь, как и хорошая.

Беда была в том, что такого рода страсть считалась недозволенной в его среде, а ребенок не обладал сумасшедшим упорством своего двоюродного деда. Он украдкой читал плоды кропотливого творчества старого маньяка, которые и легли в основу его нелепого музыкального образования. Тщеславный по натуре, он боялся отца и общественного мнения и не хотел говорить о своих честолюбивых замыслах, пока не добьется успеха. Славный малый, задавленный семейным деспотизмом, он поступил как многие мелкие французские буржуа, которые, не осмеливаясь из слабости или по доброте противиться воле своих близких, делают вид, что покоряются, а на самом деле живут другой, скрытой от посторонних глаз жизнью. Вместо того чтобы следовать своей склонности, мальчик старался заниматься ненавистным ему делом, не умея ни преуспеть в нем, ни провалиться с треском. С грехом пополам ему удалось сдать экзамены. Главное преимущество этого заключалось для него в том, что он ускользал, таким образом, от двойной опеки — провинциального общества и своего отца. Он ненавидел юридические науки и решил ни в коем случае не заниматься этой профессией. Но куда был жив отец, юноша не осмеливался открыто заявить об этом. Быть может, его не слишком огорчало, что придется подождать некоторое время, прежде чем принять окончательное решение. Он принадлежал к числу

людей, которые всю жизнь тешат себя надеждой, — тем, что они когда-нибудь будут делать, тем, что они когда-нибудь смогут делать, а пока что бездельничают. Выбитый из колеи, опьяненный новой жизнью в Париже, он отдался с жадной непосредственностью молодого крестьянина своим страстям — женщинам и музыке, одинаково увлекаясь концертами и любовными утехами. Шли годы, а он даже не воспользовался возможностью пополнить свое музыкальное образование. Болезненная гордость, дурной, упрямый и подозрительный характер мешали ему учиться где-либо, спрашивать у кого-либо совета.

Когда отец его умер, он послал к черту Фемиду и Юстиниана и занялся музыкальной композицией, не имея ни терпения, ни мужества овладеть сначала необходимой техникой. Укоренившаяся привычка к безделью и склонность к развлечениям сделали его неспособным к какому бы то ни было серьезному труду. Он глубоко чувствовал музыку, но и мысль и форма ее выражения не давались ему, и в конечном счете он писал только банальные вещи. Но самое ужасное, что в этом заурядном человеке было действительно нечто великое. Я прочел два его старых произведения. В них встречаются поразительные мысли — лишь намеченные и тотчас же искаженные. Блуждающие огоньки на торфяном болоте... И какой странный ум! Он пытался объяснить мне сонаты Бетховена. Он видит в них лишь детские и нелепые романсы. Но при этом какая страсть, какое глубоко серьезное отношение! Он говорит о Бетховене со слезами на глазах. Он готов умереть за того, кого любит. Он трогателен и смешон. Иногда мне хочется рассмеяться ему в лицо, и тут же я готов обнять его. Он глубоко порядочен. Исполнен величайшего презрения к шарлатанству парижских кружков, к ложной славе, и тем не менее не может отрешиться от наивного преклонения мелкого буржуа перед знаменитостями...

Он получил небольшое наследство и в несколько месяцев промотал его. Оставшись без всяких средств, он, подобно многим другим, совершил благородный и непростительный поступок, женившись на бедной соблазненной им девушке. У нее был хороший голос, и она за-

нималась музыкой, не любя ее. Пришлось добывать средства на жизнь ее пением и его весьма посредственной игрой на виолончели. Разумеется, они не преминули вскоре обнаружить обоюдную бездарность и возненавидели друг друга. У них родилась дочь. Отец перенес на ребенка всю силу своих иллюзий; он думал, что девочка станет тем, чем не удалось стать ему. Девочка пошла в мать: она брэнчала на пианино, не проявляя ни искры дарования. Она обожала отца и прилежно занималась в угоду ему. В течение нескольких лет они кочевали с курорта на курорт, получая больше оскорблений, чем денег. Переутомленный и слабый ребенок вскоре умер. Мать от горя и тоски становилась с каждым днем все сварливее. Это была безграничная, безнадежная, безысходная нищета, усугубляемая стремлением к идеалу, которого они не в состоянии были достигнуть...

И я подумал, мой друг, глядя на этого беднягу неудачника, жизнь которого состояла из сплошных злоключений: «Вот каким мог стать я». В наших детских душах было что-то общее, а некоторые эпизоды из нашей жизни очень похожи; я даже обнаружил какое-то родство между нашими музыкальными идеями; но он остановился в пути. Чему же я обязан, что не погиб, как он? Несомненно, своей воле. А также и жизненным случайностям. Но даже если говорить только о моей воле, разве я могу ее ставить себе в заслугу? Быть может, я скорее обязан этим своей нации, своим друзьям, богу, помогавшему мне? Эти мысли внушают мне смирение. Чувствуешь свое родство со всеми, кто любит искусство и страдает ради него. От самого низа до самого верха расстояние не так уж велико...

В связи с этим я размышлял о том, что Вы написали мне. Это верно: художник не имеет права стоять в стороне, если он может прийти на помощь другим. Итак, я останусь в Париже; я заставляю себя проводить несколько месяцев в году либо здесь, либо в Вене, или в Берлине, хотя мне и трудно снова привыкнуть к этим городам; но нельзя отрекаться от жизни. Если мне и не удастся, как я опасаюсь, принести большой пользы, то все же пребывание в этих городах, возможно, окажется

полезным мне самому. И я буду утешать себя тем, что Вы этого хотели. К тому же (я не хочу лгать)... я начинаю находить в этом удовольствие. До свидания, тиран. Вы торжествуете. Я не только делаю то, чего Вы желаете, но даже умудряюсь полюбить это.

*Кристоф»,*



Итак, Кристоф остался — отчасти в угоду Грации, но также и потому, что пробудившееся в нем любопытство художника снова было увлечено зрелищем обновленного искусства. Всем, что он видел и делал, он мысленно делился с Грацией, писал ей об этом. Кристоф прекрасно понимал, что оболяет себя иллюзиями, воображая, что это может интересовать Грацию; он подозревал ее в некотором равнодушии, но был признателен, что она не слишком это проявляет.

Грация аккуратно отвечала ему два раза в месяц. Она писала теплые письма, дружеские и спокойные, как ее движения. Рассказывая ему о своей жизни, она не расставалась со своей мягкой и гордой сдержанностью. Она знала, как сильно запечатлеваются ее слова в сердце Кристофа. Она предпочитала казаться холодной, чем возбуждать в нем надежду, которую не собиралась разделять. Но она была женщиной и владела секретом не слишком обескураживать любовь своего друга и тотчас же врачевать теплыми словами ту глубокую боль, которую ему причиняло ее равнодушие. Кристоф не замедлил разгадать ее тактику и, в свою очередь прибегая к уловкам любящих, пытался сдерживать свои порывы и писать более спокойные письма, чтобы таким образом победить настороженность Грации.

По мере того как пребывание Кристофа в Париже затягивалось, он все больше интересовался той новой деятельностью, которая разворошила этот гигантский муравейник. Она тем больше занимала его, чем меньше симпатии проявляли к нему молодые муравьи. Он не ошибся: его успех оказался Пирровой победой. Его появление после десятилетнего отсутствия произвело сенса-

цию в парижском обществе. Но в силу иронии вещей, не столь уж редко встречающейся в жизни, на сей раз ему покровительствовали прежние враги — модные снобы; артистический же мир относился к нему либо с затаенной враждой, либо с недоверием. Он добился признания благодаря своему имени, уже отчасти принадлежащему к прошлому, значительностью своего творчества, страстной убежденностью, безудержной искренностью. И хотя с ним вынуждены были считаться, хотя он вызывал восхищение или уважение, его все же плохо понимали и не любили. Он стоял вне искусства своего времени. Чудовище, живой анахронизм. Он всегда был таким. Десять лет, проведенных в одиночестве, еще больше подчеркнули этот контраст. За время его отсутствия в Европе, особенно в Париже, как он убедился, произошла полная перестройка. Нарождался новый порядок. Подрастало поколение, больше стремившееся действовать, чем понимать, больше изголодавшееся по счастью, чем по истине. Оно хотело жить, хотело завоевать жизнь даже ценою лжи. То была ложная гордость всех видов: гордились расой, гордились кастой, гордились религией, гордились культурой и искусством. Этому поколению было годно все, что могло заковать его в железную броню, вооружить мечом и щитом и привести к победе. Вот почему молодежи неприятно было слышать громкий, суровый голос, напоминавший о скорби, о сомнениях, которые бушевали в минувшей ночи и продолжают еще угрожать человечеству, хотя теперь оно отрицает их существование и пытается забыть.

Но этого голоса нельзя было не слышать; все еще было слишком свежо в памяти. Тогда молодые люди с досадой отворачивались и начинали кричать во все горло, чтобы оглушить самих себя. Но голос звучал еще громче. И это злило их.

Кристоф же, напротив, относился к ним дружелюбно. Он приветствовал восхождение мира к временам порядка и уверенности — любой ценой. В этом порыве его насколько не смущала нарочитая ограниченность мысли. Когда хочешь идти к цели, нужно смотреть прямо перед собой. Находясь на крутом повороте пути, он наслаждался созерцанием трагического великолепия остав-



шейся позади ночи и улыбкой юной надежды, — прозрачной красотой свежей и лихорадочной зари, занимавшейся вдали. Кристоф находился в неподвижной точке оси маятника, который как раз снова начал подниматься кверху. Не следуя за ним, Кристоф радостно слушал пульс жизни. Он присоединился к надеждам тех, кто не признавал его былых страданий. Свершилось то, о чем он мечтал. Десять лет назад, среди горя и мрака, Оливье — бедный галльский петушок — своим слабым голосом возвестил далекий рассвет. Певца уж нет, но то, о чем он пел, сбылось. Птицы пробуждались в саду Франции, и до Кристофа вдруг донесся, заглушая птичий щебет, более сильный, более ясный, более счастливый голос ожившего Оливье.

Стоя у книжного прилавка, Кристоф рассеянно перелистывал сборник стихов. Фамилия автора была ему незнакома, но некоторые слова поразили его и приковали его внимание. По мере того как он продолжал читать, пробегая еще не разрезанные страницы, ему почудился знакомый голос, он начал различать черты друга. Кристоф не в состоянии был разобраться в своих чувствах и, не решаясь расстаться с книгой, купил ее. Вернувшись домой, он снова принялся за чтение и тотчас же наваждение овладело им. Из бурного дыхания поэмы возникали вполне отчетливо, как в галлюцинации, великие, возвышающиеся над веками души — эти гигантские деревья, олицетворяющие нашу родину, листьями и плодами которых являемся мы. Со страниц книги вставал сверхчеловеческий образ Матери — той, что существовала до нас, той, что будет после нас, той, что царит над всем, подобно византийским, высоким, как горы, мадоннам, у подножия которых молятся люди-муравьи. Поэт прославлял Гомеровы поединки великих богинь, чьи копыта скрециваются от сотворения мира, — вечную Илиаду, которая по сравнению с троянской то же, что альпийская горная цепь в сравнении с холмами Греции.

Эта эпопея гордости и воинственного духа была чужда воззрениям такого европейца, как Кристоф. И тем не менее при вспышках озарявшего его света Кристоф

уловил в этом воплощении французской души — в этой деве, преисполненной благодати, носительнице эгиды, в голубоглазой Афине, с сияющим во мраке взором, в этой богине труда, несравненной художнице, хранительнице высшего разума, чье сверкающее копье разит шумные орды варваров, — он уловил тот взгляд, ту улыбку, которые знал и любил когда-то. Но в момент, когда он уже готов был схватить ее, она исчезла. Разъяренный тщетной погоней, он переворачивал страницу за страницей и вдруг наткнулся на рассказ, который слышал от Оливье за несколько дней до его смерти.

Кристоф был потрясен. Он побежал к издателю и попросил, чтобы ему дали адрес автора. Как это обычно бывает, ему отказали. Кристоф рассердился, но это ни к чему не привело. Наконец, он догадался, что может получить справку в адрес-календаре. Он действительно нашел там нужный адрес и отправился к автору. Если Кристофу чего-нибудь хотелось, он никогда не умел ждать.

Квартал Батиньоль, самый верхний этаж. Несколько дверей выходят в общий коридор. Кристоф постучал в ту, которую ему указали. Но отворилась соседняя дверь. Молодая некрасивая брюнетка со спадающими на лоб волосами, с загорелым морщинистым лицом и живыми глазами осведомилась, что ему угодно. Она недоверчиво смотрела на него. Кристоф объяснил, зачем пришел, и, когда она спросила, кто он, назвал свою фамилию. Она вышла в коридор и открыла соседнюю дверь ключом, находившимся при ней, но не сразупустила Кристофа, а попросила подождать и, пройдя внутрь, захлопнула дверь перед его носом. Наконец, Кристофу разрешили войти в столь ревниво охраняемую квартиру. Он прошел через полупустую комнату, служившую столовой, кое-как обставленную ветхой мебелью; у окна без занавесок в большой клетке щебетало около дюжины птиц. В соседней комнате на потертом диване лежал мужчина. Он слегка приподнялся навстречу Кристофу. Исхудалое, одухотворенное лицо, прекрасные бархатные глаза, горящие лихорадочным блеском, узкие длинные руки, изобличающие человека умственного труда, уродливое туловище, резкий, с хрипотцой голос... Кристоф тотчас же

узнал его... Это Эмманюэль! Маленький больной подмастерье, который был невольной причиной... Эмманюэль вдруг вскочил: он тоже узнал Кристофа.

Они стояли молча. Оба в этот миг видели Оливье... И не решались протянуть друг другу руки. Эмманюэль чуть подался назад. Теперь, через десять лет, из темной глубины его существа вновь выплыла затаенная неприязнь, старая ревность, которую возбуждал в нем некогда Кристоф. Но, заметив волнение Кристофа, прочитав на его губах имя того, о ком они оба думали, имя Оливье, — он не мог устоять и бросился в раскрытые ему объятия.

Эмманюэль сказал:

— Я знал, что вы в Париже. Но вы, как это вы разыскивали меня?

Кристоф ответил:

— Я прочел вашу последнюю книгу; я услышал в ней его голос.

— Правда? — сказал Эмманюэль. — Вы узнали его? Всем, чего я добился, я обязан только ему.

(Он избегал произносить имя.)

Мгновение спустя, несколько помрачнев, он продолжал:

— Он любил вас больше, чем меня.

Кристоф улыбнулся:

— Для того, кто любит, не существует ни больше, ни меньше; он целиком отдается тем, кого любит.

Эмманюэль взглянул на Кристофа; в его трагических, строгих и властных глазах вдруг загорелась глубокая нежность. Он взял Кристофа за руку и усадил на диван, рядом с собой.

Они стали рассказывать друг другу о себе. С четырнадцати до двадцати пяти лет Эмманюэль перепробовал много профессий: он был наборщиком, обойщиком, бродячим торговцем, приказчиком в книжной лавке, писцом у адвоката, секретарем политического деятеля, журналистом... При этом он не упускал возможности лихорадочно учиться где придется, иногда пользуясь поддержкой добрых людей, которых поражала энергия этого маленького человечка, но чаще всего попадая в руки негодяев, эксплуатировавших его бедность и его талант;

однако он умудрялся выходить обогащенным из самых тяжелых испытаний, даже без особой горечи, — только растрачивая остатки своего слабого здоровья. Его исключительные способности к древним языкам (встречающиеся у представителей расы, насквозь пропитанной гуманистическими традициями, гораздо чаще, чем полагают) заинтересовали старого священника-эллиниста, и тот оказал ему поддержку. Занятия, в которых Эмманюэль из-за отсутствия времени не мог очень преуспеть, дисциплинировали его ум и помогли выработать свой стиль. Этот молодой человек, вышедший из самой гущи народа, обязанный своими случайными знаниями, в которых были огромные пробелы, только самому себе, так блестяще владел словом, так умел сочетать форму с содержанием, что далеко оставил позади буржуазных сынков, по десять лет корпящих в университете. Он всецело приписывал это благотворному влиянию Оливье. Правда, другие оказывали ему гораздо более существенную помощь. Но Оливье первый заронил искру, которая заггла во мраке этой души неугасимый светильник. Другие только подливали туда масло.

Он сказал:

— Я начал понимать его лишь после того, как его не стало... Но все, что он мне говорил, запало мне в душу. Светоч, зажженный им, с тех пор никогда не угасал.

Он начал рассказывать о своем творчестве, о деле, по его утверждению, завещанном ему Оливье, о пробуждающейся энергии французов, о яркой вспышке героического идеализма, которую предвещал Оливье. Эмманюэль жаждал стать его рупором, который парит над схваткой и возвещает грядущую победу, — он воспевал эпсепю своей возродившейся нации.

Его поэмы поистине были порождением этой удивительной нации, которая пронесла сквозь века свой древний кельтский дух и, в силу странной гордости, рядила свою мысль в старые доспехи и законы римского завоевателя. Здесь ожили в первозданной чистоте галльская отвага, дух героического разума, ирония, сочетание бахвальства с безудержной смелостью, — все, что побуждало галлов дергать за бороду римских сенаторов, грабить

Дельфийский храм и с хохотом метать свои стрелы в небеса. Но маленькому парижскому ремесленнику пришлось воплотить свои страсти — как это делали его деды в париках, как, несомненно, будут делать его праправнуки — в образы греческих героев и богов, умерших две тысячи лет назад. Удивительное чутье народа, сочетающееся с его потребностью в абсолюте: прокладывая свою мысль по следам веков, он воображает, что закрепляет ее навеки. Оковы классической формы сообщали еще большее неистовство страстям Эмманюэля. Спокойная уверенность Оливье в судьбах Франции превратилась у его маленького ученика в страстную жажду деятельности, в убежденную в своем торжестве веру. Он хотел, он видел, он требовал этого. Своей экзальтированной верой, своим оптимизмом он взволновал душу французов. Его книга была так же действенна, как выигранное сражение. Она пробила брешь в стене скептицизма и страха. Целое поколение молодежи ринулось вслед за ним навстречу грядущему...

В разговоре Эмманюэль оживился, глаза его загорелись, бледное лицо покрылось красными пятнами, а голос стал крикливым. Кристоф невольно заметил контраст между этим пожирающим пламенем и тщедушным телом, служившим для него костром. Это подчеркивало трагическую иронию судьбы. Певец силы, поэт, прославляющий поколение отважных спортсменов, действие, борьбу, не мог и шагу ступить, не задыхаясь, был очень воздержан во всем, соблюдал строгий режим, пил только воду, не курил, жил без любовницы, таил все страсти в себе и был обречен из-за своего здоровья на аскетический образ жизни.

Кристоф, наблюдая за Эмманюэлем, чувствовал восхищение в сочетании с братским состраданием. Он не хотел этого показывать, но, должно быть, глаза его выдали что-то, а быть может, гордому Эмманюэлю, рана которого постоянно кровоточила, показалось, что он читает в глазах Кристофа жалость, которая была для него нестерпимей ненависти. Его пыл мгновенно угас. Он умолк. Тщетно пытался Кристоф снова вызвать доверие. Душа замкнулась. Кристоф видел, что ранил ее,

Враждебное молчание затягивалось. Кристоф встал. Эмманюэль, прихрамывая, проводил гостя до двери. Походка подчеркивала его уродство, — он знал это, но из самолюбия делал вид, что это ему безразлично; однако при мысли, что Кристоф наблюдает за ним, он чувствовал, как усиливается его неприязнь.

В тот момент, когда Эмманюэль холодно прощался со своим гостем, молодая элегантная дама позвонила у его двери. Ее сопровождал вычурный франт, которого Кристоф узнал, ибо не раз встречал на театральных премьерах, где тот улыбался направо и налево, непрерывно болтал, приветственно махал рукой, целовал дамам пальчики и, сидя в первых рядах партера, оборачивался назад, расточая улыбки в глубину зрительного зала; не зная его имени, Кристоф окрестил его «болваном». При виде Эмманюэля болван и его спутница бросились к «дорогому учителю» с назойливыми и фамильярными излияниями. Кристоф слышал уходя, как Эмманюэль сухо сказал, что не может их принять, — он занят. Кристофа изумляло умение этого человека быть неприятным. Он не знал причин, по которым Эмманюэль недружелюбно встречал богатых снобов, которые жаловали его своими бесцеремонными визитами. Они были щедры на красивые фразы и восхваления, но ничем не пытались облегчить его нужду, так же как пресловутые друзья Цезаря Франка не догадывались разгрузить его от уроков музыки, которые тот вынужден был давать до конца своей жизни, чтобы существовать.

Кристоф еще несколько раз заходил к Эмманюэлю. Однако ему так и не удалось возродить задушевный тон первого свиданья. Эмманюэль не выражал ни малейшей радости при виде Кристофа и держал себя настороженно и сдержанно. Лишь моментами, уступая своей настоятельной потребности к излияниям, когда какое-нибудь слово Кристофа заставляло его востропнуться до глубины души, он отдавался порыву восторженной откровенности, и присущий ему идеализм озарял его душу вспышками сверкающей поэзии. Затем внезапно он остывал, замыкался в угрюмом молчании, и Кристоф снова видел перед собой врага.

Слишком многое разделяло их. Разница в годах тоже играла немалую роль. Кристоф уже стремился к полному самопознанию и господству над собой. Эмманюэль находился еще в периоде формирования, протекавшем у него гораздо сумбурнее, чем когда-либо у Кристофа. В этом оригинальном существе сочетались самые противоречивые элементы, постоянно боровшиеся между собой: могучий стоицизм, стремившийся подавить наследственные, атаквистические желания (он был сыном алкоголика и проститутки); неистовое воображение, которое становилось на дыбы, взятое в удила железной воли; безграничный эгоизм и безграничная любовь к ближним, причем никогда нельзя было предвидеть, что победит; героический идеализм или болезненная жажда славы, заставлявшая его мучиться из-за превосходства других. Если мысль Оливье, его независимость, его бескорыстие ожили в Эмманюэле, если он превосходил своего учителя поэтическим талантом, плебейской живучестью, которая не знает отращения к деятельности, и выносливостью, защищавшей его от всяческих разочарований, то ему все же было очень далеко до безмятежности, присущей брату Антуанетты, — у него был слишком тщеславный и беспокойный характер, а тревоги и волнения окружающих только усугубляли его собственные.

У него была бурная связь с молодой женщиной — той самой соседкой, которая встретила Кристофа, когда он пришел в первый раз. Она преданно любила Эмманюэля и ревниво заботилась о нем, вела хозяйство, переписывала его произведения, писала под диктовку. Она была некрасива и, к несчастью, обладала страстной душой. Она родилась в бедной семье; долгое время работала в переплетной мастерской, затем служила на почте; детство ее протекло в угнетающей обстановке, столь обычной для бедных рабочих Парижа: в скученности, изнуряющей работе, постоянно на людях, без воздуха, без покоя, без возможности сосредоточиться, оберегать святая святых своего сердца. В ее гордой душе таилось благоговейное стремление к смутному идеалу справедливости, и она испортила себе глаза, переписывая по ночам, зачастую без огня, при свете луны, «Отверженных» Гюго. Она встретила Эмманюэля, когда тот был

еще несчастнее, чем она сама, — больной и без средств, — и целиком отдалась ему. Эта страсть была первой, единственной любовью в ее жизни. Поэтому она цеплялась за нее с жадным упорством голодного человека. Ее привязанность очень тяготила Эмманюэля, — он скорее терпел ее, чем разделял. Его трогала ее преданность: он понимал, что эта женщина — его лучший друг, единственное существо, для которого он — все на свете, и что она не может обойтись без него. Но именно это его и угнетало. Эмманюэлю необходима была свобода, необходимо было одиночество, а эти глаза, жадно вымаливающие ласку, преследовали его; он обращался с нею сурово, у него нередко возникало желание крикнуть ей: «Убейся!» Его раздражало, что она некрасива и груба. Хотя он был мало знаком со светским обществом и выказывал к нему презрение (ибо страдал, чувствуя себя там еще более уродливым и смешным), он любил изящество, его привлекали женщины, питавшие к нему такое же чувство (он не сомневался в этом), как он к своей подруге. Он старался проявлять к ней любовь, которой не чувствовал, или по меньшей мере не огорчать ее невольными вспышками ненависти. Но и это не удавалось ему, — в его груди обитало великодушное сердце, жаждавшее делать добро, и жестокий демон, способный причинять зло. Эта внутренняя борьба и сознание, что он не в силах выйти из нее победителем, вызывали в нем глухое раздражение, которое он вымещал на Кристофе.

Эмманюэль не мог преодолеть в себе чувство двойной неприязни к Кристофу: одна проистекала из его старой ревности, той детской неприязни, которая не ослабевает, даже когда причина ее уже забыта; другая же была вызвана ярым шовинизмом. Франция была для Эмманюэля воплощением его мечтаний о справедливости, милосердии, братстве человечества, взлелеянных лучшими людьми минувшей эпохи. Он не противопоставлял ее остальной Европе как врага, чье благополучие создается за счет разорения других народов; он ставил ее во главе народов как законную повелительницу, царящую на благо всем, вооруженную идеалом и ведущую за собой человечество. Он скорее предпочел бы видеть Францию



мертвой, чем допустить мысль, что она может совершить несправедливое деяние. Но он свято верил в нее. Он был чистокровным французом по культуре, по восприятию — был целиком воспитан на французских традициях, глубокий здравый смысл которых он познал инстинктивно. Эмманюэль искренне не признавал мнений иноземцев, относился к ним со снисходительным пренебрежением и раздражением, если иностранцы возражали против столь унижительной роли.

Кристоф видел все это, но он был старше и опытнее Эмманюэля и потому несколько не обижался на него. Конечно, эта расовая гордость носила несколько оскорбительный характер, но Кристофа она не задевала: он понимал иллюзии сыновней любви и не собирался критиковать пристрастий, вызванных этим священным чувством. К тому же человечеству в целом приносит пользу тщеславная вера народов в свою миссию. Из всех причин, отдалявших Кристофа от Эмманюэля, главной и, пожалуй, самой серьезной был его голос, который иногда приобретал пронзительные, резкие интонации. Слух Кристофа жестоко страдал от этого, — в таких случаях он не мог удержаться от гримасы. Он старался, чтобы Эмманюэль не замечал этого, старался слушать музыку, а не инструмент. Калека-поэт светился таким прекрасным героизмом, когда говорил о победе разума — предвестнице других побед, о завоевании воздуха, о «летающем боге», который подхватывает восторженные толпы и, подобно вифлеемской звезде, увлекает их за собой в неведомые далекие просторы, к грядущему возмездию! Великолепие этих видений, исполненных силы и мощи, не мешало, однако, Кристофу ощущать опасность, предвидеть, куда могут привести боевые призывы и все нарастающий гул этой новой марсельезы. Он думал не без некоторой иронии (не сожалея о прошлом, не страшась будущего), что эта песнь вызовет отклики, неожиданные для самого поэта, и что наступит день, когда люди будут вздыхать о минувших временах Ярмарки на площади. Какая в ту пору была свобода! Золотой век свободы! Никогда больше он не повторится. Мир идет к веку силы, здоровья, мужественной деятельности и, быть может, славы, но в то же время к веку суровой власти

и жестокой дисциплины. Разве мы уже не призывали этот железный век, классический век! Великие классические эпохи — Людовика XIV или Наполеона — кажутся нам издали вершинами человечества. И, быть может, именно тогда народ с наибольшим успехом претворил в жизнь свой идеал государственного устройства. Но спросите-ка у героев того времени, что они думали по этому поводу. Ваш Никола Пуссен уехал в Рим, где прожил до самой смерти: он задыхался у вас. Ваш Паскаль и ваш Расин ушли от света. А сколько еще других великих людей жили в уединении — впавшие в немилость, угнетенные! Даже в душе Мольера таилось немало горечи. Что же до вашего Наполеона, о котором вы так сожалеете, то отцы ваши, как видно, и не подозревали о своем счастье, да и сам он не заблуждался на этот счет; он знал, что когда его не станет, человечество вздохнет с облегчением: уф!.. А какая пустыня мысли вокруг «императора»! Над необъятными песками — африканское солнце...

Кристоф не высказывал своих мыслей вслух. Нескольких намеков оказалось достаточно, чтобы привести Эмманюэля в бешенство, а потому Кристоф не возобновлял больше этих разговоров. Но, как ни старался он хранить их про себя, Эмманюэль знал, о чем он думает. Больше того, он смутно сознавал, что Кристоф дальновиднее его. Это еще сильнее раздражало Эмманюэля. Молодые люди не прощают старшим, когда те показывают им, какими они станут лет через двадцать.

Кристоф читал в его сердце и говорил себе:

«Он прав. У каждого своя вера. Нужно верить тому, чему веришь. Не приведи меня бог смущать его веру в будущее!»

Но уже самое присутствие Кристофа смущало Эмманюэля. Когда двое людей находятся вместе, то какие бы усилия ни делал каждый, чтобы ступать, всегда один подавляет другого, а другой затаивает обиду за унижение. Гордость Эмманюэля страдала от превосходства Кристофа, оттого что тот лучше знал жизнь. А быть может, Эмманюэль защищался от растущей в его сердце любви к нему...

Он становился все более угрюмым и замкнутым. Он не принимал больше Кристофа. Не отвечал на его письма. Кристофу пришлось отказаться от встреч с ним.

Наступило начало июля. Кристоф подвел итог тому, что ему дали эти несколько месяцев пребывания в Париже: много новых идей и мало друзей. Блестящий и жалкий успех — не очень-то весело видеть свой образ, свое произведение сниженным и окарикатуренным в ограниченных умах. Кристофу не хватало сочувствия тех, кем он хотел быть понятым. Они не ответили на первые шаги, сделанные им. Он не мог присоединиться к ним, несмотря на все свое желание разделять их надежды, быть их союзником. Казалось, их настороженное самолюбие защищается от его дружбы и предпочитает видеть в нем врага. Короче говоря, он пропустил поток своего поколения, не вошел в него, а поток следующего поколения уже не принимал его. Он был одинок и несколько этому не удивлялся, привыкнув к одиночеству за свою долгую жизнь. Но он считал, что теперь, после этой новой попытки, он получил право вернуться в свой швейцарский скит и жить там, куда не осуществит план, который с недавних пор принимал все более конкретную форму. По мере того как Кристоф старел, его одолевало желание вернуться на родину. Он не знал там никого и, вероятно, встретил бы теперь еще меньше близких ему душ, чем здесь, в чужом городе, но все-таки то была родина; вы не требуете, чтобы ваши кровные родственники думали, как вы, и тем не менее тысяча тайных уз связывает вас с ними: ваши чувства учились читать по одной и той же книге неба и земли, ваши сердца говорят на одном и том же языке.

Кристоф весело рассказал Грации о своих разочарованиях и сообщил о своем намерении вернуться в Швейцарию; он шутивно просил у нее разрешения покинуть Париж и писал, что уедет на будущей неделе. Но в конце письма была приписка:

«Я передумал. Мой отъезд откладывается».

Кристоф полностью доверял Грации; он посвящал ее в самые тайные, самые сокровенные свои помыслы.

И тем не менее был уголок в его сердце, ключ от которого он никому не доверял: то были воспоминания, принадлежавшие не ему одному, а также тем, кого он любил. Так, он молчал обо всем, что касалось Оливье. Это была не нарочитая сдержанность. Он просто не находил слов, когда собирался рассказать Грации об Оливье. Ведь она не знала его.

И вот как-то утром, когда он писал письмо своей подруге, в дверь постучали. Он пошел отпирать, ворча, что его беспокоят. Мальчик лет четырнадцати—пятнадцати спрашивал господина Крафта. Кристоф принял его неприветливо. Это был блондин с голубыми глазами, с тонкими чертами лица, невысокий, худенький и прямой. Он молча и немного смущенно стоял перед Кристофом. Но вскоре овладел собой, вскинул на Кристофа свои ясные глаза и стал с любопытством его рассматривать. Кристоф улыбнулся, глядя на это прелестное личико; мальчик улыбнулся тоже.

— Итак, — сказал Кристоф, — что вам угодно?

— Я пришел... — ответил мальчуган.

Он снова смутился, покраснел и умолк.

— Я прекрасно вижу, что вы пришли, — смеясь, сказал Кристоф. — Но объясните, зачем вы пришли? Неужели вы боитесь меня?

Мальчик снова улыбнулся, покачал головой и сказал:

— Нет.

— Превосходно! В таком случае скажите мне, кто вы такой.

— Я... — начал мальчик.

Он снова запнулся. С любопытством разглядывая комнату Кристофа, он вдруг увидел на камине фотографию Оливье. Кристоф машинально следовал глазами за его взглядом.

— Ну! — заметил он. — Смелей!

Мальчик сказал:

— Я его сын.

Кристоф вздрогнул; он вскочил, обнял мальчика за плечи, привлек к себе; снова упал на стул, крепко прижимая его к себе, так что лица их почти касались. Кристоф смотрел на мальчика, смотрел и повторял:

— Малыш... бедный малыш...

Вдруг он обхватил его голову руками и стал целовать его лоб, щеки, нос, волосы. Мальчик, испуганный и пораженный таким бурным проявлением чувств, попытался вырваться из его объятий. Кристоф отпустил его. Он закрыл лицо руками, прижался лбом к стене и стоял так несколько мгновений. Мальчик отступил вглубь комнаты. Кристоф поднял голову. Лицо его было спокойно; он взглянул на мальчика и нежно улыбнулся ему.

— Я испугал тебя, — сказал он. — Прости... Видишь ли, это потому, что я очень любил его.

Мальчик еще не пришел в себя и молчал.

— Как ты похож на него! — сказал Кристоф. — И все-таки я не узнал бы тебя. В чем же разница?

Он спросил:

— Как тебя зовут?

— Жорж.

— Верно. Я припоминаю. Кристоф-Оливье-Жорж... Сколько же тебе лет?

— Четырнадцать.

— Четырнадцать лет! Неужели прошло уже столько времени? А мне кажется, это было вчера, — или во мраке веков... Как ты похож на него! Те же черты лица. Те же — и все-таки иные. Тот же цвет глаз, но глаза не те. Та же улыбка, тот же рот, но другой голос. Ты крепче его, держишься прямее. Лицо у тебя более округлое, но краснеешь ты, совсем как он. Подойди, сядь, поговорим. Кто послал тебя ко мне?

— Никто.

— Ты пришел ко мне по собственному желанию? Но откуда ты знаешь меня?

— Мне говорили о вас.

— Кто?

— Моя мать.

— А! — сказал Кристоф. — А она знает, что ты пошел ко мне?

— Нет.

С минуту Кристоф молчал, затем спросил:

— Где вы живете?

— Недалеко от парка Монсо.

— Неужели ты пришел пешком? Это немалый путь. Должно быть, ты устал.

— Я никогда не устаю.

— Вот это мне нравится! Покажи-ка свои мускулы.  
(Он пощупал их.)

— Ты крепкий малый... А почему тебе пришло в голову навестить меня?

— Ведь папа любил вас больше всех.

— Это сказала тебе она?

(Он поправился.)

— Твоя мама сказала тебе это?

— Да.

Кристоф усмехнулся. Подумал: «И она тоже... Как все они любили Оливье! Отчего же они не выказывали этого?»

Он продолжал:

— Но почему ты так долго собирался?

— Я хотел прийти раньше. Но мне казалось, что вы не захотите меня принять.

— Я?!

— Несколько недель назад, на концерте Шевильера, я случайно увидел вас; я сидел с матерью, нас разделяло всего несколько кресел; я поклонился вам; вы искоса посмотрели на меня, нахмурили брови и не ответили.

— Я посмотрел на тебя? Бедное дитя, и ты мог подумать? Я просто не заметил тебя. У меня плохое зрение. Вот почему я хмурю брови... Значит, ты считаешь меня злым?

— Я думаю, что вы умеете быть злым, когда захотите.

— В самом деле? — сказал Кристоф. — Но раз тебе показалось, что я не захочу тебя принять, как же ты все-таки решился прийти?

— Потому что я хотел вас видеть.

— А если бы я тебя выгнал?

— Я бы не допустил этого.

Он сказал это с решительным видом, одновременно смущенно и вызывающе.

Кристоф расхохотался, и Жорж последовал его примеру.

— Чего доброго, ты выгнал бы меня самого! Подумать только, какой бойкий! Нет, ты совсем не похож на своего отца.

Подвижное лицо мальчика помрачнело.

— Вы находите, что я не похож на него? Но ведь вы только что сказали... Вы думаете, что он не любил бы меня? Значит, и вы меня не любите?

— А что тебе до того, люблю ли я тебя?

— Это для меня очень важно.

— Почему?

— Потому что я вас люблю.

За одну минуту на его лице — в глазах, в уголках рта — сменилось с десятков самых разнообразных выражений, подобно тому как тени облаков, подгоняемых весенним ветром, проносятся в апрельский день над полями. Кристоф испытывал радость и наслаждение, глядя на мальчика и слушая его. Ему казалось, что с него свалилось бремя прежних забот, тяжелые испытания, страдания его и Оливье — все было забыто: он снова возрождался в этом молодом отпрыске Оливье.

Они беседовали. Жорж до последнего времени совершенно не знал музыки Кристофа. Но с той поры, как Кристоф вернулся в Париж, он не пропустил ни одного концерта, где исполнялись его произведения. Когда он говорил об этом, лицо его оживилось, глаза заблестели, он смеялся и чуть не плакал, он походил на влюбленного. Он признался Кристофу, что обожает музыку и тоже хотел бы стать композитором. Но, задав ему несколько вопросов, Кристоф убедился, что мальчик не знает самых элементарных вещей. Он осведомился о его ученье. Молодой Жанен посещал лицей; он беспечно заявил, что отнюдь не принадлежит к числу первых учеников.

— В чем же ты преуспеваешь больше — в литературе или в математике?

— Пожалуй, ни в том, ни в другом.

— Но почему? Почему же? Разве ты лентяй?

Жорж расхохотался от души и сказал:

— Должно быть!

Затем добавил доверительно:

— И все-таки я прекрасно знаю, что это не так.

Кристоф не мог удержаться от смеха:

— Почему же ты тогда не занимаешься? Разве тебя ничто не интересует?

— Наоборот! Меня все интересует!

— Тогда в чем же дело?

— Все интересно, не хватает времени...

— У тебя не хватает времени? Чем же ты, черт возьми, занят?

Он сделал неопределенный жест:

— Разными делами. Я занимаюсь музыкой, спортом, хожу на выставки, читаю...

— Тебе полезнее всего было бы читать учебники.

— В учебниках никогда не бывает ничего интересного... И затем мы путешествуем. В прошлом месяце я был в Англии, на матче между Оксфордом и Кембриджем.

— Твои занятия, должно быть, очень подвинулись благодаря этому!

— Да! Так узнаешь больше, чем сидя в классе.

— А что говорит об этом твоя мать?

— Моя мать? О, она очень разумна. Она делает все, что я хочу.

— Ах ты негодник!.. Счастье твое, что не я твой отец.

— Напротив, это ваше несчастье...

Он был так очарователен, что невозможно было противиться его обаянию.

— Скажи же мне, великий путешественник, — спросил Кристоф, — тебе знакома моя родина?

— Да.

— Я уверен, что ты ни слова не знаешь по-немецки.

— Наоборот, я хорошо знаю язык.

— Ну-ка, посмотрим.

Они начали разговаривать по-немецки. Мальчик говорил неправильно, ломаным языком, но с комичным апломбом; очень смысленный, с живым умом, он скорее угадывал, чем понимал, зачастую ошибался, но первый же хохотал над своими промахами. Он с увлечением рассказывал о своих путешествиях, о прочитанных книгах. Он много читал, но торопливо и поверхностно, пропуская половину страниц, дополняя воображением то, чего не дочитал, однако всегда подстрекаемый живым и непосредственным любопытством, умея во всем находить повод для восторгов. Жорж перескакивал с темы на тему,



и лицо его загоралось, когда он говорил о спектаклях или о произведениях, волновавших его. В его знаниях не было никакой системы. Непонятно, как он мог прочесть столько бульварных романов и понятия не имел о классических произведениях.

— Все это очень мило, — сказал Кристоф. — Но из тебя ничего не выйдет, если ты не будешь работать.

— О! В этом я не нуждаюсь. Мы богаты.

— Черт возьми! Значит, дело серьезное. Ты хочешь быть ни на что не годным человеком, бездельником?

— Наоборот, я хочу все делать. Глупо заниматься всю жизнь одной профессией.

— Но это единственный способ овладеть ею как следует.

— Говорят!

— То есть как это «говорят»? Я тебе говорю. Вот уже сорок лет я изучаю свое ремесло. И только теперь начинаю им овладевать.

— Сорок лет на то, чтобы изучить ремесло! Когда же в таком случае работать?

Кристоф рассмеялся.

— Маленький француз-резонер.

— Я хотел бы стать музыкантом, — сказал Жорж.

— Ну что ж, ты не слишком рано принимаешься за дело. Хочешь, я буду тебя учить?

— О! Я был бы так счастлив!

— Приходи завтра. Я посмотрю, чего ты стоишь. Если ты ни на что не годишься, я не позволю тебе дотронуться до рояля. Если же у тебя есть способности, попытаемся что-нибудь из тебя сделать. Но предупреждаю: я заставляю тебя работать.

— Я буду работать, — восхищенно сказал Жорж.

Они назначили свидание на следующий день. Но, уходя, Жорж вдруг вспомнил, что на завтра и на послезавтра у него уже назначены другие встречи. Да, он будет свободен только в конце недели. Они условились о дне и часе.

Но в назначенный день и час Кристоф тщетно прождал Жоржа. Он был разочарован. С детской радостью он мечтал о встрече с Жоржем. Это неожиданное посещение озарило его жизнь. Он был так счастлив и взвол-

нован, что не спал всю ночь после этого. Он думал с нежностью и благодарностью о юном друге, который пришел к нему от имени друга; он мысленно улыбался этому очаровательному образу; его непосредственность, его обаяние, лукавство и вместе с тем наивная искренность восхищали Кристофа; он был весь во власти того немого упоения счастьем, от которого у него звенело в ушах и звенело в сердце в первые дни дружбы с Оливье. Но теперь к этому примешивалось более серьезное и почти благоговейное чувство: на лицах живых он видел улыбку тех, кто уже отошел в прошлое. Он прождал день, другой. Никого. Не было даже письма с извинением. Опечаленный Кристоф пытался найти причины, оправдывающие мальчика. Он не знал, куда ему писать, не имея его адреса. А если бы и знал, то едва ли решился бы написать. Когда старый человек влюбляется в юное создание, то стыдится признаться, как оно необходимо ему, ибо прекрасно знает, что тот, кто молод, не испытывает этой потребности, — партии не равны; страшнее всего показаться навязчивым тому, кто несколько тобой не интересуется.

Молчание продолжалось. Хотя Кристоф страдал, он принудил себя не делать никаких попыток разыскать Жаненов. Но каждый день он поджидал того, кто все не приходил. Кристоф не уехал в Швейцарию. Он провел лето в Париже. Считал, что это глупо, но он потерял всякий вкус к путешествиям. Только в сентябре он решился провести несколько дней в Фонтенбло.

Примерно в конце октября Жорж Жанен снова явился к нему. Он спокойно, без малейшего смущения извинился, что не сдержал слова.

— Я не мог тогда прийти, — сказал он, — а потом мы уехали; мы были в Бретани.

— Ведь ты мог написать оттуда, — сказал Кристоф.

— Да, я все собирался. Но мне вечно не хватает времени... А потом, — сказал он, смеясь, — я забыл, я забываю все на свете.

— Когда ты вернулся?

— В начале октября.

— И три недели ты собирался ко мне? Послушай-ка,

скажи прямо: твоя мать против? Она не хочет, чтобы ты бывал у меня?

— Да нет же. Наоборот. Это она велела мне сегодня пойти к вам.

— Объясни толком.

— Когда я вернулся домой после того, как в прошлый раз накануне каникул был у вас, я рассказал ей все. Она похвалила меня, расспрашивала о вас, засыпала вопросами. Когда мы приехали из Бретани три недели назад, она посоветовала мне пойти к вам. Неделию назад снова напомнила мне об этом. А сегодня утром, узнав о том, что я все еще не был у вас, она рассердилась и потребовала, чтобы я сейчас же после завтрака, не откладывая, отправился к вам.

— И тебе не стыдно рассказывать мне об этом? Тебя приходится гнать ко мне?

— Нет, нет, не думайте так... О, я огорчил вас! Простите... Это верно, я легкомыслен... Отругайте меня, но не сердитесь. Я люблю вас. Если бы я не любил вас, то не пришел бы. Меня никто бы не заставил. Меня можно заставить делать только то, что я хочу.

— Вот негодник, — сказал Кристоф и невольно рассмеялся. — А как с твоими планами по части музыки? Уж не забросил ли ты их?

— О, я не перестаю думать об этом.

— От этого мало проку.

— Теперь я примусь за дело. Все эти месяцы я не мог, у меня была уйма дел. Но теперь вы увидите, как я буду работать, если только вы еще согласны...

(Он умильно глядел на Кристофа.)

— Ты шалопай, — сказал Кристоф.

— Вы считаете меня несерьезным?

— Разумеется.

— Это несносно! Все считают меня несерьезным. Я просто в отчаянии.

— Я буду считать тебя серьезным человеком, когда увижу тебя за работой.

— Тогда начнем сейчас же!

— Сегодня мне некогда. Завтра.

— Нет, завтра — это слишком далеко. Я не могу допустить, чтобы вы презирали меня целый день,

— Ты несносен.

— Прошу вас!

Кристоф, посмеиваясь над своей слабостью, усадил его за рояль и стал беседовать с ним о музыке. Он задавал ему вопросы, заставлял решать несложные задачки по гармонии. Познания Жоржа были невелики, но музыкальное чутье восполняло во многом его невежество; не зная их названий, он находил те аккорды, которых требовал Кристоф, и даже его неуклюжие ошибки обнаруживали любознательность, вкус и исключительную остроту восприятия. Он принимал замечания Кристофа не без возражений, а разумные вопросы, которые он задавал ему, свидетельствовали о душевной искренности: он не желал принимать искусство на веру, как молитву, выученную наизусть и произносимую машинально, а хотел самостоятельно осознать его. Они беседовали не только о музыке. Когда коснулись гармонии, Жорж стал припоминать картины, пейзажи, людей. Трудно было держать его в узде и приходилось постоянно возвращать к главной теме, но у Кристофа не всегда хватало мужества для этого. Его забавляла веселая болтовня этого юного, искрящегося умом и жизнью существа. Какая разница в характерах между ним и Оливье! В одном жизнь текла глубокой, спокойной рекой; в другом же все выливалось на поверхность, подобно капризному ручейку, бурлящему и играющему на солнце. И тем не менее и в реке и в ручейке была одинаково прозрачная и чистая, как их глаза, вода. Кристоф, улыбаясь, подметил в Жорже некоторые врожденные пристрастия и неприязни, которые были ему хорошо знакомы, наивную непримиримость и великодушное сердце, целиком отдающееся тому, кого оно любит. Но Жорж любил столько разных вещей, что у него просто не было возможности любить долго одну и ту же.

Жорж явился на следующий день и приходил еще много дней подряд. Он вспыхнул прекрасной юношеской любовью к Кристофу и с восторгом учился у него. А затем восторг начал охладевать, он стал приходить реже. И, наконец, совсем перестал приходить. Он снова пропал на много недель.

Жорж был легкомыслен, забывчив, наивно эгоистичен и искренне расположен к людям; у него были доброе сердце и живой ум, которые он ежедневно разменивал на мелкую монету. Ему прощали все, потому что приятно было на него смотреть. Он был счастлив.

Кристоф не хотел осуждать его. Он не жаловался. Он написал Жаклине, поблагодарив за то, что она присылала к нему сына. Жаклина ответила коротеньким сдержанным письмом: она выражала желание, чтобы Кристоф принял участие в воспитании Жоржа и руководил им. Она не делала никакого намека на возможность встречи с Кристофом. Из чувства стыда и гордости она не могла решиться снова встретиться с ним. А Кристоф не считал себя вправе прийти без приглашения. Так они и жили в отдалении друг от друга, изредка встречаясь на концертах: их связывали только редкие посещения юноши;

Прошла зима. Теперь Грация редко писала Кристофу. Она попрежнему оставалась его преданным другом. Но, как подлинная итальянка, не слишком сентиментальная, она дорожила реальностью; у нее была потребность видеть людей, если не для того, чтобы думать о них, то по крайней мере ради удовольствия поболтать. Чтобы сохранить воспоминания в своем сердце, ей необходимо было освежать их время от времени в своей зрительной памяти. Итак, ее письма становились все более короткими и далекими. Она была уверена в Кристофе, как и Кристоф в ней. Но эта спокойная уверенность давала больше света, чем тепла.

Кристоф не очень страдал от этих новых разочарований. Музыкальная деятельность заполняла его; достигнув определенного возраста, всякий подлинный художник живет больше своим искусством, чем реальной жизнью: жизнь становится мечтой, искусство — реальностью. Соприкосновение с Парижем пробудило творческую мысль Кристофа. В мире нет более могучего стимула, чем зрелище этого города труда. Даже самых флегматичных людей заражала его лихорадочная деятельность. Кристоф, отдохнувший в течение ряда лет, проведенных в здоровом одиночестве, сберег огромный запас

сил, которые теперь он мог расходовать. Обогащенный новыми завоеваниями смелой и пытливой мысли француз в области музыкальной техники, он, в свою очередь, ринулся на поиски; более неистовый и более непосредственный, Кристоф пошел гораздо дальше, чем все они. Но в своих новых дерзаниях он уже не полагался больше на произвол инстинкта. Потребность в ясности овладела Кристофом. На протяжении всей жизни его гений повиновался ритму переменных токов. Переход по очереди от одного полюса к другому, противоположному, и заполнение всего пространства между ними являлись для него законом. После того как в предыдущий период он жадно созерцал «глаза хаоса, светящиеся сквозь покрывало порядка», и готов был сорвать его, чтобы лучше видеть эти глаза, — теперь он стремился ускользнуть от пагубных чар и снова набросить на лицо сфинкса волшебную вуаль владыки разума. Властное дыхание Рима коснулось его. Как и парижское искусство того времени, оказавшее на него влияние, он стремился к порядку. Но не в пример выдохшимся реакционерам, расходующим остатки сил на то, чтобы охранять свою спячку, он нуждался не в том порядке, какой был создан в Варшаве. Эти прекрасные люди, ощущая потребность в покое, снова возвращались к Брамсу — к Брамсам во всех областях искусства, к мастерам тематической музыки, к пошлым неоклассикам! Можно подумать, что их изнурили страсти! Скоро же вы истаскались, друзья мои! Нет, не о вашем порядке говорю я. Мой порядок другого рода. Это — порядок гармонии, свободных страстей и воли... Кристоф старался поддерживать в своем творчестве равновесие жизненных сил. Новые аккорды, эти музыкальные дьяволята, вызванные им из гулкой бездны, служили для создания светлых симфоний, обширных, залитых солнцем сооружений, подобных базиликам с итальянскими куполами.

В этой игре и схватках прошла зима. Прошла она быстро, хотя иной раз по вечерам Кристоф, окончив день и оглядываясь назад, на прожитую жизнь, не мог сказать, была ли она долгой, или короткой, молод ли он, или уже стар.

В ту пору новый луч человеческого солнца разорвал завесу мечты, и снова пришла весна. Кристоф получил письмо от Грации, она сообщала ему, что едет в Париж с обоими детьми. Она уже давно задумала это. Кузина Коlette неоднократно приглашала ее. Но страх перед усилием, которое ей придется сделать, чтобы нарушить свои привычки, вырваться из безмятежного покоя своего любимого home<sup>1</sup> и влиться в хорошо знакомый водоворот парижской жизни, заставляла ее из года в год откладывать это путешествие. Тоска, овладевшая ею этой весной, а быть может, некое тайное разочарование (сколько немых романов таит сердце женщины, о которых окружающие не подозревают и в которых она не сознается даже самой себе!) внушили ей желание покинуть Рим. Угроза эпидемии оказалась предлогом, чтобы ускорить отъезд из-за детей. Она выехала через несколько дней после того, как отправила письмо Кристофу.

Как только Кристоф узнал, что она приехала к Коlette, он помчался туда. Грация показалась ему задумчивой и какой-то далекой. Это огорчило его, но он и виду не подал. Теперь он почти полностью отрешился от своего эгоизма, и благодаря этому сердце его стало прозорливым. Он понял, что она чем-то огорчена, но хочет скрыть это, и не пытался узнать, в чем дело. Он только старался развлечь ее, весело рассказывал о своих злоключениях, работах, планах, незаметно окутывая ее своей любовью. Она чувствовала, как все ее существо пропитывает огромная нежность, боящаяся показаться навязчивой; она понимала, что Кристоф догадывается о ее переживаниях, и была растрогана этим. Ее наболевшее сердце отдыхало подле друга, который рассказывал ей о разных вещах, не касаясь того, что занимало их обоих. И мало-помалу он стал замечать, как облачко грусти начинает таять в глазах подруги, а взгляд ее становится все более и более близким... Наконец, однажды, беседуя с нею, он вдруг остановился и молча посмотрел на нее.

— Что с вами? — спросила она.

---

<sup>1</sup> дома (англ.).

— Сегодня, — сказал он, — вы совсем пришли в себя.

Она улыбнулась и шепотом ответила:

— Да.

Им не всегда удавалось спокойно беседовать. Они редко оставались одни. Колетта дарила их своим присутствием гораздо чаще, чем им бы этого хотелось. Несмотря на все свои недостатки, она была неплохой женщиной, искренне преданной Грации и Кристофу, но ей и в голову не приходило, что она может им мешать. Она заметила (ее глаза подмечали все) то, что она именovala «флиртом» между Кристофом и Грацией; флирт был ее стихией, и это привело ее в восторг, она всячески старалась поощрять его. Но именно этого и не нужно было. Кристоф и Грация хотели только одного: чтобы она не вмешивалась не в свое дело. Достаточно было ей появиться и сделать кому-нибудь из них скромный или нескромный намек на их дружбу, как они принимали ледяной вид и переводили разговор на другую тему. Колетта объясняла их сдержанность разными причинами, кроме одной, настоящей. К счастью для них, она не могла усидеть на месте. Она носилась взад и вперед, уходила и приходила, управляла всем домом, занимаясь одновременно десятком дел. В промежутках между ее появлениями Кристоф и Грация, оставаясь одни с детьми, снова возобновляли прерванную нить своих невинных бесед. Они никогда не говорили о связывающих их чувствах. Они просто поверяли друг другу маленькие события своей повседневной жизни. Грация, проявляя чисто женский интерес, осведомлялась о быте Кристофа. У него все шло из рук вон плохо; постоянные недоразумения с экономками; прислуга вечно надувала и обворовывала его. Грация смеялась над ним от всего сердца, проявляя материнское сострадание к этому совершенно непрактичному большому ребенку. Однажды, когда Колетта, преследовавшая их дольше обычного, вышла, Грация, вздохнув, сказала:

— Бедняжка Колетта! Я ее очень люблю... но как она мне надоела!

— Я тоже ее люблю, — сказал Кристоф, — если вы подразумеваете под этим, что она нам надоела,

Грация рассмеялась:



— Послушайте... Разрешите мне (здесь положительно нет возможности спокойно разговаривать)... разрешите мне прийти как-нибудь к вам?

Он был поражен.

— Ко мне! Вы придете ко мне!

— Это не стеснит вас?

— Стеснит? Меня? Ах, боже мой!

— Ну что ж, если не возражаете, — во вторник?

— Во вторник, в среду, в четверг, в любой день, когда хотите.

— Тогда во вторник, в четыре. Решено?

— Вы добрая, вы добрая.

— Погодите. Только при одном условии.

— При условии? К чему? Я согласен на все. Ведь вы прекрасно знаете, что я на все готов, при условии или без условия.

— Я предпочитаю условие.

— Хорошо.

— Вы не знаете, о чем идет речь.

— Все равно. Все, что хотите.

— Да выслушайте сначала, упрямец!

— Говорите.

— Вы ничего не будете менять у себя в квартире — ничего, вы понимаете меня, — все останется точно в таком же виде, как сейчас.

Лицо Кристофа вытянулось. Он был подавлен.

— Ах, это против правил.

Она рассмеялась.

— Вот видите, что значит слишком быстро соглашаться! Но ведь вы обещали.

— Зачем вам это нужно?

— Потому что я хочу видеть вас дома таким, каким вы бываете ежедневно, когда не ждете меня.

— Но все-таки позвольте мне...

— Ничего. Я ничего не позволю.

— По крайней мере...

— Нет, нет, нет. И слышать не желаю. Или я совсем не приду, если вы это предпочитаете...

— Вы прекрасно знаете, что я соглашусь на все, только бы вы пришли.

— Тогда решено?

- Да.
- Даете слово?
- Да, тиран.
- Добрый тиран?
- Добрых тиранов не существует; есть тираны, которых любят, и тираны, которых ненавидят.
- А я и то и другое вместе, не так ли?
- О нет, вы принадлежите к числу первых.
- Все равно это унизительно.

В назначенный день она пришла. Кристоф, с присущей ему щепетильной честностью, не посмел тронуть ни одного клочка бумаги в своем безалаберном жилище; в противном случае он считал бы, что совершил подлость. Но он переживал муки ада. Ему было стыдно: что подумает его подруга? Он ждал ее с мучительным нетерпением. Она была точна — опоздала только на четыре или пять минут. Она поднялась по лестнице своим уверенным, неторопливым шагом. Он стоял за дверью и тотчас же отпер ей. Грация была одета просто и элегантно. Сквозь вуалетку Кристоф видел ее спокойные глаза. Они подали друг другу руки и поздоровались вполголоса; она была молчаливее, чем обычно, он, неловкий и взволнованный, не произносил ни слова, чтобы не выдавать своего смущения. Он попросил ее войти, забыв сказать заранее заготовленную фразу, извиниться за беспорядок в комнате. Она села на лучший стул, а он подле нее.

— Вот мой рабочий кабинет.

Это все, что он нашелся сказать ей.

Наступило молчание. Грация не спеша, с доброй улыбкой, осматривалась. Она тоже была несколько смущена, хотя и пыталась скрыть это. (Впоследствии она рассказала ему, что еще девочкой вздумала как-то пойти к нему, но, дойдя до самой двери, побоялась позвонить.) Ее поразил унылый и неуютный вид квартиры: узкая и темная передняя, полное отсутствие комфорта, бросающаяся в глаза бедность обстановки; у нее сжалось сердце; она преисполнилась нежности и сострадания к своему старому другу, который, несмотря на огромную работу, пережив столько невзгод и достигнув известности, не был избавлен от материальных забот. И в то

же время ее забавляло полное пренебрежение Кристофа к уюту, которое обнаруживала эта пустая комната: ни ковра, ни картины, ни одной безделушки, ни кресла — никакой мебели, кроме стола, трех жестких стульев и рояля, зато везде вперемежку с книгами валялись листы рукописи — на столе, под столом, на паркете, на стульях (она улынулась, видя, как честно он сдержал данное слово).

Несколько мгновений спустя Грация спросила у Кристофа:

— Вы здесь работаете? (Она указала на то место, где сидела.)

— Нет, — сказал он, — там.

Он ткнул пальцем в самый темный угол комнаты, где стоял низкий стул, повернутый спиной к свету. Не говоря ни слова, она направилась туда и грациозно села на стул. Несколько минут они молчали, не зная, что сказать. Кристоф поднялся и подошел к роялю. Он играл, импровизировал в течение получаса; он чувствовал присутствие подруги, и безграничное счастье переполняло его сердце; закрыв глаза, он играл чудесные вещи, и тогда она постигла красоту этой комнаты, окутанной божественной гармонией; она слушала голос этого любящего и страдающего сердца, и ей казалось, что оно бьется в ее собственной груди.

Когда оборвались последние созвучия, он с минуту еще сидел неподвижно у рояля; затем обернулся, услышав дыхание подруги, — она плакала. Грация встала и подошла к нему.

— Благодарю, — прошептала она, взяв его за руку.

Ее губы слегка дрожали. Она закрыла глаза. Он сделал то же. Несколько секунд они стояли, держась за руки, и время остановилось...

Она открыла глаза и, чтобы избавиться от смущения, спросила:

— Не покажете ли вы мне другую комнату?

Обрадованный возможностью скрыть свое волнение, он распахнул дверь в соседнюю комнату и тотчас же устыдился. Там стояла узкая и жесткая железная кровать.

Позже, когда он сказал Грации, что никогда не ввон-  
дил любовниц в свой дом, она насмешливо заметила:

— Нисколько не сомневаюсь; для этого нужно быть  
очень храброй женщиной.

— Почему?

— Чтобы спать на вашей кровати.

В комнате стоял деревенский комод, на стене висела  
маска Бетховена, а над кроватью в дешевеньких рам-  
ках — фотографии матери Кристофа и его друга Оливье.  
На комодѣ стояла карточка Грации, когда ей было пят-  
надцать лет. Он увидел ее в Риме и стащил из альбома.  
Он признался ей в этом и попросил прощения. Взглянув  
на фотографию, она сказала:

— Вы меня узнаете здесь?

— Узнаю и помню такой.

— Которую же из двух вы любите больше?

— Вы всегда одна и та же. Я вас всегда люблю оди-  
наково. Я узнаю вас везде. Даже на тех карточках, где  
вы совсем маленькая. Вы не представляете себе, какое  
я испытываю волнение, когда вижу в этой оболочке всю  
вашу душу. Это лучшее доказательство того, что вы  
вечны. Я любил вас еще до вашего рождения и буду  
любить даже после...

Он умолк. Глубоко взволнованная, она ничего не от-  
ветила. Когда они вернулись в рабочую комнату и он  
показал ей своего друга — растущее перед окном де-  
ревцо, на котором чирикали воробьи, — она сказала:

— А теперь знаете, что мы сделаем? Слегка закусим.  
Я принесла чай и пирожные, так как была уверена, что  
у вас ничего нет. Я принесла еще кое-что. Дайте-ка мне  
ваше пальто.

— Мое пальто?

— Да, да, давайте.

Она достала из сумочки иголку и нитки.

— Что вы хотите делать?

— Как-то я заметила там две пуговицы, судьба ко-  
торых беспокоит меня. Где они теперь?

— Верно, я еще не собрался их пришить. Это так  
скучно!

— Бедный мальчик! Давайте-ка пальто!

— Мне стыдно.

— Ступайте приготовьте чай.

Он принес в комнату маленький чайник и спиртовку, чтобы ни на минуту не разлучаться со своей подругой. Она шила, искоса насмешливо наблюдая за его неловкими движениями. Они осторожно пили чай из чашек с отбитыми краями, которые она называла ужасными, а он пылко защищал, потому что они напоминали ему о совместной жизни с Оливье.

Когда она собралась уходить, он спросил:

— Вы не сердитесь на меня?

— За что?

— За беспорядок.

Она рассмеялась.

— Я наведу порядок.

Когда она, уже стоя на пороге, собиралась распахнуть дверь, он опустился перед ней на колени и поцеловал ее ноги.

— Что вы делаете? — воскликнула она. — Безумец, дорогой безумец! До свиданья!

Они условились, что Грация будет приходить раз в неделю в определенный день. Она заставила Кристофа пообещать, что он не позволит себе больше эксцентричных выходок, — не будет становиться на колени и целовать ноги. От нее веяло таким покоем, что даже в те дни, когда Кристоф неистовствовал, этот покой передавался ему, и хотя, наедине с собой, он часто думал о Грации со страстным вождением, очутившись вдвоем, они неизменно вели себя, как добрые друзья. Кристоф никогда не позволял себе ни жеста, ни слова, которые могли бы встревожить его подругу.

В день рождения Кристофа она нарядила свою маленькую дочку так, как была одета сама в те далекие времена, когда они впервые встретились, и заставила ребенка играть пьеску, которую Кристоф разучивал с нею в ту пору.

Однако обаятельность, нежность, дружеское отношение уживались в Грации с противоположными качествами. Она была легкомысленна, любила общество, ей нравились ухаживания мужчин, даже если они были

глупы; кокетничала со всеми, кроме Кристофа, — иной раз и с Кристофом. Когда он бывал очень нежен с нею, она держала себя нарочито холодно и сдержанно. Если же он был холоден и сдержан, она становилась ласковой и дразнила его. Это была порядочнейшая из женщин. Но бывают моменты, когда в поведении самой порядочной, самой лучшей из женщин появляется нечто от девки. Грация считалась с общественным мнением и подчинялась условностям. Обладая большими музыкальными способностями, она понимала произведения Кристофа, но не слишком интересовалась ими (и он прекрасно это знал). Для настоящей латинянки искусство имеет цену лишь постольку, поскольку оно сводится к жизни, а жизнь — к любви... К любви, таящейся в глубине сладострастного, полного истомы тела... К чему ей трагические размышления, выстраданные симфонии, рассудочные страсти Севера? Ей нужна музыка, где без усилий расцвели бы ее тайные желания, ей нужна опера, отбрасывающая яркую, настоящую жизнь, не осложненную бурными страстями, — сентиментальное, чувственное и ленивое искусство.

Грация была слабохарактерной и непостоянной женщиной: она не могла долго заниматься чем-нибудь серьезным, ей необходимы были развлечения; она редко делала сегодня то, что задумала вчера. Сколько ребячества, мелких непостижимых капризов! Беспокойная женская натура, неровный, временами вздорный характер. Она отдавала себе в этом отчет и старалась на это время уединяться. Сознывая свои слабости, она укоряла себя в том, что недостаточно борется с ними, — ведь они огорчают ее друга; иногда она приносила ему настоящие жертвы, о которых он и не подозревал; но в конце концов природа одерживала верх. К тому же Грация не выносила мысли, будто Кристоф командует ею, и раза два, чтобы доказать свою независимость, поступала наперекор ему. Потом она жалела об этом, а ночью мучилась угрызениями совести, скорбя, что не может дать Кристофу большего счастья. Она любила его гораздо сильнее, чем показывала; она понимала, что эта дружба — лучшее в ее жизни. Как обычно бывает между двумя любящими друг друга и очень разными людьми, они больше всего

ощущали свое сродство, когда находились врозь. Право, если в силу недоразумения судьбы их разошлись, то виноват в этом был не только Кристоф, как он полагал по простоте своей. Даже в прошлом, когда Грация страстно любила Кристофа, еще неизвестно, вышла ли бы она за него замуж. Возможно, она и готова была отдать за него жизнь, но едва ли всю жизнь прожила бы с ним. Она понимала (хотя боялась признаться в этом Кристофу), что любила своего мужа, и даже теперь, после всех горестей, причиненных им, продолжала его любить, как никогда не любила Кристофа. Тайны сердца, тайны плоти — ими не гордятся, их скрывают от тех, кто нам дорог, не только из уважения к ним, но также из снисходительной жалости к себе. Кристоф был слишком мужчиной, чтобы догадываться об этом, но иногда, словно при вспышке молнии, он вдруг замечал, что та, которая любила его больше всех, любила по-настоящему, не слишком дорожит им и что в жизни ни на кого нельзя полагаться, ни на кого. Это не повлияло на его любовь. Он даже не испытывал горечи. Покой Грации распространился на него. Он смиренно принимал все. О жизнь, к чему упрекать тебя за то, чего ты не можешь дать? Разве такая, как есть, ты не прекрасна и не священна? Нужно любить твою улыбку, Джиоконда...

Кристоф подолгу созерцал прекрасное лицо подруги; он читал в нем многое: и прошлое и будущее. За долгие годы одинокой жизни и скитаний по свету, не завязывая знакомств, но много наблюдая, он научился, почти помимо воли, разгадывать человеческие лица, изучил этот богатый и сложный язык, выработанный веками, в тысячу раз более сложный и богатый, чем разговорный язык. В нем выражены черты нации. Кристофа постоянно поражали контрасты между чертами лица и словами, которые произносит человек. Вот профиль молодой женщины, четкого, несколько сухого рисунка, в манере Бёрн-Джонса, трагический, словно подтачиваемый тайной страстью, ревностью, шекспировской скорбью... Она заговорит — и перед вами мещаночка, глупая как пробка, кокетливая, эгоистичная, ограниченная, понятия не имеющая о грозных силах, обитающих в ее плоти. И тем не менее эта страсть, это буйство заложены в ней. В какой

форме проявятся они когда-нибудь? Будет ли то страсть к наживе, супружеская ревность, кипучая энергия, болезненная злоба? Как знать? Может даже случиться, что она передаст их по наследству еще до того, как наступит момент взрыва. Но это стихия, с которой приходится считаться; она, подобно року, нависла над родом людским.

Грация тоже несла на себе бремя тяжелой наследственности — единственное из достояний старинных родов, которое не подвергается риску быть растрченным в пути. Но она по крайней мере знала это. Великая сила — сознавать свои слабости, уметь быть если не повелителем, то кормчим души рода, с которым ты связан и который уносит тебя, как корабль, — превратить рок в послушное орудие, пользоваться им, как парусом, то натягивая, то опуская его, в зависимости от ветра. Когда Грация закрывала глаза, она слышала в себе много тревожных голосов, она узнавала их. Но диссонансы под воздействием ее гармонического разума сглаживались в ее здоровой душе, превращаясь в глубокую и мягкую музыку.

К сожалению, мы не вольны передавать потомству лучшую часть нашей крови.

Из двоих детей Грации девочка Аврора, одиннадцати лет, походила на мать; она была не так красива — грубее и чуть прихрамывала. Это была добрая девчушка, сердечная и веселая, пышущая здоровьем, очень послушная и очень способная, если не считать склонности к безделью. Кристоф обожал ее. Видя ее рядом с Грацией, он наслаждался очарованием, какое испытываешь, наблюдая одно существо в двух разных возрастах, в двух поколениях. Два цветка, выросших на одном стебле: святое семейство Леонардо — дева Мария и святая Анна, разные оттенки одной и той же улыбки. Одним взглядом охватываешь цветение женской души; это прекрасно и вместе с тем грустно, ибо видишь, как начинается жизнь и как она клонится к закату. Страстное сердце способно любить горячее и чистой любовью двух сестер, или мать и дочь, и это вполне естественно. Кристоф любил, хотел любить Грацию во всем ее потомстве. Разве каждая из



ее улыбок, слез, морщинок дорогого лица, разве они не бытие, не напоминание о чьей-то жизни, ушедшей еще прежде, чем ее глаза открылись и увидели свет, разве они не предвестники существа, которое должно явиться потом, когда закроются эти прекрасные глаза?

Мальчику, Лионелло, исполнилось девять лет. Он был гораздо красивее сестры, более тонкой породы — пожалуй, даже слишком тонкой, обескровленной и изношенной; он походил на отца: умный, щедро наделенный дурными инстинктами, ласковый и скрытный. У него были большие голубые глаза, длинные, как у девочки, белокурые волосы, бледный цвет лица, слабые легкие и болезненная нервность, которой он пользовался при случае, будучи актером от природы. При этом он удивительно умело нащупывал слабые струнки людей. Грация любила его больше в силу естественного предпочтения, оказываемого матерью менее здоровому ребенку, а также в силу влечения, которое нередко испытывают добрые и порядочные женщины к сыновьям, не отличающимся ни добротой, ни порядочностью. Они как бы дают волю чувствам, которые подавляли в себе. Тут еще присоединяются воспоминания о муже, причинившем им много страданий, которого они, быть может, презирали, но любили. Словом, это странная флора души, произрастающая в темной и теплой оранжерее подсознания.

Несмотря на все старания Грации быть ровной, одинаково нежной с детьми, Аврора чувствовала разницу и немного страдала из-за этого. Кристоф понимал ее, она понимала Кристофа; инстинктивно они сблизились. В то же время между Кристофом и Лионелло существовала антипатия, которую ребенок скрывал под преувеличенной и сюсюкающей приветливостью, а Кристоф подавлял в себе как позорное чувство. Он насиловал себя, старался полюбить этого чужого ребенка так, словно этот мальчик был его собственным, словно ему было бы радостно иметь такого сына от любимой. Он закрывал глаза на дурной характер Лионелло, на все то, что напоминало ему о «другом», и старался найти в нем только душу Грации. Грация была более прозорлива: она не тешила себя иллюзиями насчет сына. Но это только усиливало ее любовь.

Между тем болезнь, которая в течение многих лет таилась в ребенке, вдруг вспыхнула. У него обнаружили чахотку. Грация решила поселиться с Лионелло в каком-нибудь санатории, в Альпах. Кристоф хотел сопроводить ее. Она отговорила его, боясь общественного мнения. Он был огорчен тем, что она придает чрезмерное значение условностям.

Грация уехала, оставив дочь у Колетты. Вскоре, однако, она почувствовала себя страшно одинокой среди больных, которые говорили только о своих болезнях, среди бесстрастной природы, равнодушно и свысока взиравшей на эти тени людей. Чтобы уйти от угнетающего зрелища несчастных, которые с плевательницами в руках шпионили друг за другом, наблюдая за тем, как смерть подкрадывается к каждому из них, она покинула санаторий «Палас», сняла домик и поселилась в нем со своим больным мальчиком. Но в горах состояние больного не только не улучшилось, а ухудшилось. Температура повысилась. Грация проводила тревожные ночи. Кристоф благодаря своей острой интуиции почувствовал издалека ее состояние, хотя его подруга не писала ему ничего. Гордость не позволяла ей этого. Она хотела, чтобы Кристоф был здесь, рядом, но сама запретила ему следовать за нею и теперь уже не могла признаться: «Я слишком слаба, вы нужны мне...»

Как-то вечером Грация стояла на веранде; был сумеречный час, когда так тяжело сердцам, преисполненным тревоги, и вдруг она увидела... ей показалось, что она видит на тропинке, ведущей от остановки фуникулера... Какой-то мужчина шел торопливым шагом; по временам он останавливался, слегка сутулясь, словно в нерешимости. Прошла минута, он поднял голову и взглянул на домик. Грация бросилась в комнату, чтобы он не заметил ее; держась за сердце обеими руками, она смеялась от волнения. И хотя никогда не была верующей, упала на колени и закрыла лицо руками: ей хотелось поблагодарить кого-нибудь... Между тем он не вошел. Она вернулась к окну и выглянула, спрятавшись за занавеску. Он стоял, прислонившись к изгороди, у входа в дом. Он не смел войти. И тогда она, еще более смущенная, чем он, улыбнулась и сказала совсем тихо:

— Приди... приди...

Наконец, он решил и позвонил. Она тотчас же бросилась к двери. Отперла. У него были глаза доброй преданной собаки, которая боится, чтобы ее не побили. Он сказал:

— Я приехал... Простите...

Она ответила ему:

— Благодарю.

И призналась, как ждала его.

Кристоф стал помогать ей ухаживать за мальчиком, состояние которого ухудшилось. Он делал это от всего сердца. Ребенок относился к нему раздражительно и враждебно; он уже не пытался больше скрывать этого и говорил ему дерзости. Кристоф приписывал все болезни. Он проявлял несвойственное ему терпение. Вместе с Грацией он провел у изголовья ребенка много тяжелых дней; особенно тревожна была ночь кризиса, после которого Лионелло, казавшийся обреченным, был спасен. И тогда обоих охватило такое чистое счастье, — они сидели, держась за руки, у постели уснувшего больного мальчика, — что она вдруг вскочила, набросила на себя накидку с капюшоном и увлекла Кристофа на воздух, на дорогу, в снег, в тишину, в ночь, под мерцающие холодным светом звезды. Она опиралась на его руку, упиваясь ледяным покоем мира, они обменялись всего лишь несколькими словами. Ни единого намека на их любовь. Только когда они возвращались, уже на пороге дома она сказала:

— Мой дорогой, дорогой друг!

Глаза ее сияли от счастья, что ребенок спасен.

Это было все. Но они чувствовали, что теперь их дружба нерушима.

Вернувшись в Париж после долгих недель выздоровления сына, Грация поселилась в маленьком особняке, который она сняла в Пасси. Она совершенно перестала «щадить мнение общества» и чувствовала себя теперь достаточно смелой, чтобы пренебречь им ради своего друга. Жизни их отныне были так тесно сплетены, что она сочла бы подлостью скрывать дружбу, связывав-

шую их, хотя неизбежно рисковала возбудить злословие. Она принимала Кристофа в любое время дня, показывалась с ним всюду — на прогулках, в театре, разговаривала с ним запросто при всех. Никто не сомневался, что они любовники. Даже Колетта считала, что они слишком афишируют свои отношения. Грация с улыбкой пресекала все намеки и продолжала поступать по своему.

И все-таки она не дала Кристофу никаких новых прав на себя. Они были только друзьями; он, как и прежде, говорил с нею в том же почтительно-нежном тоне. Но они ничего не скрывали друг от друга, советовались обо всем, и незаметно Кристоф стал в доме чем-то вроде семейного авторитета. Грация слушалась его и следовала его советам. После зимы, проведенной в санатории, она была уже не та: волнения и усталость сильно отразились на ее крепком до сих пор здоровье. Все это наложило отпечаток и на ее душу. Несмотря на вспышки прежних капризов, в ней появилась какая-то серьезность, сосредоточенность, ей чаще хотелось быть доброй, покорной и не причинять никому страданий. Ее умиляла любовь Кристофа, его бескорыстие, сердечная чистота; и она подумывала о том, чтобы дать ему когда-нибудь то большее счастье, о котором он уже не смел мечтать: стать его женой.

После полученного отказа Кристоф никогда больше не заговаривал с нею об этом: он не считал себя вправе, но продолжал горько сожалеть о несбывшейся надежде. Как ни уважал он все, что говорила его подруга, ее скептические взгляды на брак не убедили его: он продолжал упорно верить, что союз двух существ, любящих друг друга глубокой и благоговейной любовью, — вершина человеческого счастья. Эти сожаления ожили в нем благодаря встрече с четой стариков Арно.

Госпоже Арно было за пятьдесят. Ее мужу лет шестьдесят пять — шестьдесят шесть. Оба выглядели гораздо старше. Он потолстел; она же вся высохла, словно ждалась; если прежде она была хрупкой, то теперь казалась былинкой. После того как Арно вышел на пенсию, они поселились в провинции в своем домике. Ничто больше не связывало их с современностью — ничто, кроме газет,

приходивших в застывший покой маленького городка, в их угасающую жизнь и доносивших до них запоздалые отголоски шумного мира. Как-то они повстречали в газете имя Кристофа. Г-жа Арно написала ему несколько сердечных, чуть церемонных строк, чтобы выразить, как они рады его успеху. И он тотчас же, даже не предупредив их о своем приезде, сел в поезд.

Был жаркий летний полдень, он застал их в саду — они дремали под круглым куполом ясеня. Они походили на стариков-супругов Бёклина, уснувших в беседке, держась за руки. Солнце, дремота, старость одолевают их — они угасают, они уже больше чем на половину погружены в вечный сон. Но до конца, как последний луч солнца, длится их любовь — она ощущается в их сплетенных руках, в тепле, исходящем от их дряхлеющих тел... Кристоф доставил старикам большую радость своим посещением; он напомнил им о прошлом. Они стали говорить о минувших днях, которые издали казались им такими пленительными. Арно любил поболтать, но он стал забывать имена. Г-жа Арно подсказывала их ему. Она охотнее молчала. Ей больше нравилось слушать, чем говорить, но образы прошлого сохранились еще во всей свежести в ее молчаливом сердце, и временами они просвечивали, как блестящие камешки на дне ручейка. Среди них был один, отражение которого Кристоф не раз подмечал в ее полных нежного сострадания глазах; но имя Оливье не было произнесено. Старик Арно проявлял по отношению к своей жене неуклюжее и трогательное внимание: он тревожился, как бы она не простудилась, как бы не перегрелась на солнце; он не сводил любящих и заботливых глаз с дорогого увядшего лица, а она усталой улыбкой пыталась успокоить его. Кристоф растроганно и не без некоторой зависти наблюдал за ними. Стареть вместе. Любить в своей жене даже следы, наложенные временем. Говорить себе: «Я знаю эти мелкие морщинки под глазами, у носа; я видел, как они образовались; я знаю, когда они появились. Эти милые седые волосы белели день за днем вместе с моими, отчасти по моей вине! Это тонкое лицо обрюзгло и покраснело, пройдя сквозь горнило томительных забот, сжигавших нас. Душа моя, я еще больше люблю тебя за то, что ты

страдала и старилась вместе со мной! В каждой из твоих морщинок я слышу музыку прошлого...» Трогательные старики, которые после долгой и трудной совместной жизни идут рука об руку, чтобы вместе погрузиться в вечный покой тьмы. Их вид подействовал на Кристофа одновременно благотворно и удручающе. О, как прекрасна была бы такая жизнь и такая смерть!

Когда он снова встретился с Грацией, он не мог устоять и рассказал ей о своем посещении. Он не стал говорить ей, какие мысли возбудили в нем эти супруги. Но она прочитала их в его душе. Он был всецело поглощен своим рассказом, отводил глаза, иногда умолкал. Она, улыбаясь, смотрела на него, и волнение Кристофа передавалось ей.

В этот вечер, оставшись одна в своей комнате, Грация предалась мечтам. Она повторила про себя рассказ Кристофа, но перед ней возникали не образы старых супругов, дремлющих под ясенем, — она видела робкие и пылкие мечты своего друга. И сердце ее преисполнилось любовью к нему. Грация легла, погасила свет и стала размышлять:

«Да, это глупо, глупо и преступно упустить возможность такого счастья. Разве есть на свете большая радость, чем сделать счастливым того, кого любишь? Как! Разве я люблю его?..»

Она притаилась, с волнением прислушиваясь к своему сердцу, и оно ответило:

«Я люблю его».

В этот миг в соседней комнате, где спали дети, раздался сухой, хриплый, надрывной кашель. Грация насторожилась. С той поры, как мальчик заболел, она находилась в постоянной тревоге. Она окликнула его. Он не отвечал и продолжал кашлять. Она вскочила с кровати, пошла к нему. Он был возбужден, стонал, говорил, что ему худо; приступы кашля прерывали его слова.

— Где у тебя болит?

Он не отвечал, а только жаловался на боль.

— Сокровище мое, умоляю тебя, скажи, где у тебя болит?

— Не знаю.

— Тебе больно здесь?

— Да. Нет. Не знаю. У меня все болит.

Вслед за этим у него начался новый приступ сильного, словно нарочно вызванного кашля. Грация испугалась, хотя ей казалось, будто ребенок заставляет себя кашлять, но она тут же упрекнула себя, видя, что мальчик весь в поту и задыхается. Она обняла его, утешая ласковыми словами, и, казалось, он успокоился; но едва она сделала попытку уйти, он снова начинал кашлять. Дрожа от холода, она вынуждена была оставаться у его изголовья; он не позволил ей даже пойти одеться, требуя, чтобы она держала его за руку, и отпустил, только когда сон сморил его. Тогда она снова легла в постель, окаменевшая, взволнованная, измученная. И уже не смогла вернуться к своим мечтам.

Ребенок обладал удивительной способностью читать в мыслях матери. У людей одной крови довольно часто встречается, хотя и не в такой мере, это врожденное чутье; стоит им взглянуть друг на друга, чтобы знать, о чем думает каждый из них: они угадывают это по тысяче едва уловимых признаков. Эта склонность, развивающаяся при совместной жизни, обострялась у Анонелло злобой, бывшей всегда настороже. Стремление вредить делало его прозорливым. Он ненавидел Кристофа. Почему? Почему ребенок чувствует отвращение к тому или иному человеку, который не причинил ему никакого зла? Зачастую это просто случайность. Ребенку достаточно однажды убедить себя в том, что он ненавидит кого-нибудь, и это входит у него в привычку, и чем больше вы будете его журить, тем больше он будет упорствовать; сначала он делал вид, что ненавидит, а в конце концов возненавидел по-настоящему. Но иногда бывают и более глубокие причины, превосходящие разумение ребенка, — он даже не подозревает о них. С первых же дней, как только сын графа Берени увидел Кристофа, у него возникла враждебность к тому, кого любила его мать. И в минуту, когда Грация подумала о том, чтобы выйти замуж за Кристофа, он словно почувствовал это. С этого момента он неустанно наблюдал за ними. Он всегда стоял между ними, упорно торчал в гостиной, когда приходил Кристоф, либо старался внезапно во-

рваться в комнату, где они сидели вдвоем. Больше того, когда мать, оставаясь одна, думала о Кристофе, он как бы угадывал это. Лионелло садился рядом и наблюдал за ней. Этот взгляд стеснял Грацию до того, что она чуть ли не краснела. Грация вставала, чтобы скрыть смущение. Лионелло доставляло удовольствие говорить в присутствии матери оскорбительные вещи по адресу Кристофа. Она просила его замолчать. Он продолжал. Если же она хотела наказать его, он грозил, что заболит. Эту тактику он успешно применял с детства. Когда он был совсем еще маленьким и его отчитали за что-то, он изобрел муть: разделся догола и лег на холодный пол, чтобы простудиться. Однажды Кристоф принес музыкальное произведение, написанное ко дню рождения Грации, — мальчик тотчас же завладел рукописью, и она исчезла. Изорванные клочки ее потом оказались в ящике для дров. Грация потеряла терпение и сделала строгий выговор ребенку. Тогда он начал плакать, кричать, топтать ногами, кататься по полу, с ним случился нервный припадок. Грация пришла в ужас, она стала целовать его, молить, обещала все, чего он захочет.

С этого дня он стал господином положения, прекрасно понимал это и неоднократно прибегал к своему испытанному оружию. Никогда нельзя было определить, настоящие ли у него припадки, или он притворяется. Лионелло устраивал припадки не только в отместку, если ему перечили, — он стал применять это орудие просто из злобы, когда мать и Кристоф собирались провести вместе вечер. Он пристрастился играть в эту опасную игру от нечего делать, из склонности к кривлянию, чтобы узнать, как далеко простирается его власть. Он проявлял крайнюю изобретательность, придумывая странные нервные припадки: то во время обеда у него начинались конвульсии — он опрокидывал стакан или разбивал тарелку; то, подымаясь по лестнице, он вдруг хватался за перила, его пальцы скрючивались, и он уверял, что не может их разжать; то у него вдруг начиналась острая боль в боку, и он с криком катался по полу; то, наконец, он задыхался. Разумеется, в конце концов он нажил себе настоящую нервную болезнь. Но его труды не пропали зря. Кристоф и Грация были безумно встревожены. Их



мирные встречи — тихие беседы, чтение, музыка, все то, из чего оба они делали себе праздник, — все это скромное счастье было отныне омрачено.

Время от времени, однако, маленький прохода давал им передышку: быть может, он сам уставал от своей роли, а быть может, детская натура брала верх, и он отвлекался чем-то другим. (Теперь он был уверен в своей победе.)

Тогда они скорей-скорей спешили воспользоваться этим. Каждый час, который они урывали таким образом, казался им тем более драгоценным, что они не были уверены, будут ли наслаждаться им до конца. Как они ощущали тогда свою близость! Почему же эта близость не может длиться всегда? Однажды Грация даже выразила сожаление об этом.

— Правда, почему? — спросил он.

— Вы это прекрасно знаете, мой друг, — ответила она, грустно улыбаясь.

Кристоф знал это. Он знал, что она жертвует их счастьем ради сына; знал, что она нисколько не заблуждается насчет лживости Лионелло и тем не менее обожает его; ему был знаком слепой эгоизм этих семейных пристрастий, заставляющий лучших людей расточать запасы своей самоотверженности на близких им по крови недостойных и дурных людей, так что у них уже ничего не остается для более достойных, для самых любимых, но чужих по крови. И хотя Кристоф возмущался этим, хотя порой у него возникало желание убить маленькое чудовище, отравляющее им жизнь, он молча покорялся; понимая, что Грация не может поступить иначе.

И оба они, без излишних упреков, пошли на самопожертвование. Но если у них украли по праву принадлежащее им счастье, то ничто не могло помешать союзу их сердец. Самоотречение, эта обоюдная жертва, связывало их гораздо крепче, чем узы плоти. Они поверяли свои горести друг другу, каждый вваливал их на плечи другого, а взамен брал на себя его горести, — и даже горе становилось для них радостью. Кристоф называл Грацию «своим духовником». Он не скрывал от нее своих слабостей, от которых страдало его самолюбие. Он каялся в них с чрезмерным сокрушением, а она улыбкой

успокаивала совесть этого старого ребенка. Он даже признался ей в своих материальных затруднениях. Правда, он отважился на это лишь после того, как они твердо условились, что она не будет ему ничего предлагать, а он ничего от нее не примет. Это был последний барьер гордости, который он удержал и который она не пыталась преодолеть. Вместо материального достатка, который ей было запрещено внести в жизнь своего друга, она умудрилась дать ему то, что было для Кристофа в тысячу раз более ценно, — свою нежность. Он ощущал ее дыхание каждый миг; открывая глаза по утрам и закрывая их перед сном, он произносил немую молитву любви и обожания. А она, просыпаясь по утрам или ночью, зачастую страдая бессонницей, шептала:

«Мой друг думает обо мне».

И великий покой обволакивал их.

Между тем здоровье Грации начало сдавать. Часто она лежала в постели либо проводила целые дни, растянувшись на кушетке. Кристоф навещал ее ежедневно, они беседовали, читали вместе, он показывал ей свои произведения. Тогда она вставала и подходила к роялю. Она исполняла ту вещь, которую он принес. Большей радости она не могла ему доставить. Грация и Сесиль были самыми одаренными из всех его учеников. Но музыка, которую Сесиль чувствовала инстинктивно, почти не понимая ее, воспринималась Грацией как прекрасный, осмысленный гармонический язык. Демонизм в жизни и в искусстве ускользал от нее полностью; она вносила в музыку ясность своей чуткой души, и эта ясность проникала в творчество Кристофа. Игра подружки помогала ему лучше осознать темные страсти, которые он изобразил. Закрыв глаза, он слушал и, как бы держа ее за руку, следовал за нею по лабиринту своей собственной мысли. Ощушая свою музыку через душу Грации, он сливался с этой душой, он обладал ею. От этой таинственной связи рождались музыкальные произведения, как бы являвшиеся плодом их близости. Однажды, преподнося Грации сборник своих сочинений — результат их душевной близости — он сказал:

— Вот наши дети.

Непрерывное общение, когда они были вместе и даже когда находились врозь; отрада вечеров, проведенных в сосредоточенной тишине старинного дома, созданного, казалось, по образу и подобию Грации, где двое молчаливых, заботливых и преданных Грации слуг как бы переносили на Кристофа часть того уважения и привязанности, которые они питали к своей хозяйке. Сладостно слушать вдвоем бой уходящих часов и наблюдать проносющийся поток жизни. Нездоровье Грации набрасывало на это счастье тревожную тень. Но, несмотря на свое недомогание, она излучала такую ясность, что ее тайные страдания только сообщали ей еще большую прелесть. Кристоф называл ее «своей дорогой страдальцей, своей трогательной подругой с лучезарным лицом». И иногда вечером, придя от нее, когда сердце его было переполнено любовью и он не мог дождаться утра, он писал Грации, чтобы сказать ей:

*Liebe, liebe, liebe, liebe, liebe Grazia...*<sup>1</sup>

Этот безмятежный покой длился несколько месяцев. Они думали, что он будет продолжаться вечно. Мальчишка словно забыл о них — его внимание было отвлечено. Но после этой передышки он принялся за старое и уже не отставал от них. Маленький дьяволенок задумал разлучить мать и Кристофа. Он снова стал разыгрывать комедии. Он действовал не по заранее обдуманному плану, а изо дня в день изобретал новые капризы, подсказанные его злобой. Он и не подозревал о зле, которое причинял: он старался развлечься, докучая другим, и уgomонился, лишь когда добился от Грации обещания, что они покинут Париж и уедут в далекое путешествие. У Грации не было сил сопротивляться. К тому же врачи советовали ей провести несколько месяцев в Египте, чтобы избежать зимы на севере. Было много причин, которые подорвали здоровье Грации: моральные потрясения последних лет, постоянные тревоги о здоровье ребенка, неопределенность, внутренняя борьба, происхо-

---

<sup>1</sup> Любимая, любимая, любимая, любимая, любимая Грация... (нем.)

дившая в ней, муки совести из-за страданий, причиняемых другу. Кристоф, чтобы не усиливать ее терзаний, которые он угадывал, скрывал свои, видя, как приближается день разлуки; он не предпринимал ничего, чтобы отсрочить ее отъезд; и оба изображали спокойствие, которого на самом деле не ощущали, но старались внушить друг другу.

День настал. Было сентябрьское утро. Они вместе покинули Париж в середине июля, чтобы провести последние недели, оставшиеся до ее отъезда, в Швейцарии, в высокогорной гостинице, недалеко от места, где они встретились шесть лет назад.

В течение пяти дней они не могли выйти на улицу. Непрерывно лил дождь, они остались почти одни в гостинице, — большинство постояльцев разъехалось. В это последнее утро дождь, наконец, прекратился, но горы были окутаны облаками. Дети с прислугой выехали раньше в первом экипаже. Вслед за ними собралась Грация. Кристоф провожал ее до того места, где дорога крутыми излучинами сползала в итальянскую равнину. Они сидели, продрогшие от сырости, в экипаже с поднятым верхом, тесно прижавшись, молча, почти не глядя друг на друга; призрачный свет — не то день, не то ночь — окутывал их! Вуалетка Грации стала влажной от ее дыхания. Он сжимал маленькую руку, ощущая сквозь ледяную перчатку ее теплоту. Их лица встретились. Он поцеловал любимый рот через влажную вуаль.

Они достигли поворота дороги. Кристоф вышел. Колесу поглотил туман. Вскоре она исчезла из виду. Кристоф еще слышал стук колес и топот копыт лошади. Пелена плотного белого тумана расстилалась над лугами. Сквозь его густую сеть виднелись окоченевшие деревья, с ветвей их стекали капли. Ни дуновения. Туманом заволгло жизнь, Кристоф остановился, задыхаясь... Нет ничего. Все кончено...

Кристоф глубоко вдохнул туман и продолжал свой путь. Ничто не кончено для того, кто жив,

## Часть третья

Разлука только усиливает власть тех, кого мы любим. В сердце сохраняются лишь самые дорогие, самые лучшие воспоминания. Отзвук каждого слова, доносящегося сквозь пространство от далекого друга, воспринимается в тишине с благоговейным трепетом.

Переписка Кристофа и Грации приобрела спокойный и сдержанный тон друзей, любовь которых уже не боится опасных испытаний, — все это осталось позади, и они уверенно идут, взявшись за руки, своим путем-дорогой. Каждый из них был достаточно силен, чтобы поддерживать и направлять другого, и вместе с тем достаточно слаб, чтобы разрешить другому направлять и поддерживать себя.

Кристоф вернулся в Париж. Он дал себе слово больше туда не возвращаться. Но чего стоят такие обещания! Он знал, что еще найдет там тень Грации. А обязательства, оказавшиеся в заговоре с его тайным желанием, против его воли указали ему в Париже новый долг, который он обязан был выполнить. Колетта, бывшая в курсе светских сплетен, сообщила Кристофу, что его юный друг Жанен собирается натворить глупостей. Жаклина, всегда проявлявшая большую слабость в отношении сына, уже не пыталась больше сдерживать его. Она сама переживала тяжелый кризис и была слишком занята собой, чтобы заниматься Жоржем.

После печального события, разбившего ее брак и жизнь Оливье, Жаклина жила весьма скромно и уединенно. Она держалась в стороне от парижского общества, которое сначала лицемерно подвергло ее чему-то вроде

карантина, а потом стало снова проявлять навязчивую предупредительность. Жаклина отнюдь не испытывала перед этими людьми стыда за свой поступок, она считала, что не обязана давать им отчет, ибо они еще ниже ее; то, что она совершила открыто, половина знакомых ей женщин делала исподтишка, под прикрытием и защитой семейного очага. Она страдала лишь оттого, что причинила горе своему лучшему другу, единственному мужчине, которого любила. Она не могла себе простить, что потеряла в этом жалком мире такое чувство.

С течением времени эти сожаления, эта боль притупились, — осталось только глухое страдание, уничтожающее презрение к себе и другим и любовь к сыну. Это чувство поглощало всю ее потребность в любви, делало ее безоружной в отношении Жоржа; она не способна была противостоять его капризам. Чтобы оправдать эту слабость, она убеждала себя, что искупает таким образом свою вину перед Оливье. Периоды экзальтированной нежности чередовались с периодами усталости и равнодушия; то она докучала Жоржу своей требовательной и беспокойной любовью, то как будто начинала тяготиться им и предоставляла ему полную свободу. Прекрасно сознавая, что она плохая воспитательница, Жаклина мучилась, но ничего не могла изменить. Ее попытки (весьма редкие) сообразовать свои принципы воспитания с идеями Оливье давали печальный результат: этот моральный пессимизм не подходил ни ей, ни ребенку. В сущности она хотела лишь одного: чтобы сын любил ее. И она была права, ибо этих двух существ, несмотря на их большое сходство, связывали только сердечные узы. Жорж Жанен подчинялся физическому обаянию матери: ему нравился ее голос, ее жесты, ее движения, ее ласка, ее любовь. Но он чувствовал, что душа ее чужда ему. Она заметила это только при первом дуновении юности, когда Жорж отдалился от нее. Тогда она удивилась, возмутилась, приписала эту отчужденность влиянию другой женщины и, неловко пытаясь преодолеть его, только еще больше отдалила от себя сына. В действительности, постоянно живя бок о бок, поглощенные каждый своими собственными делами, они тешили себя иллюзиями и не замечали всего того, что их

разделяет, благодаря общности весьма поверхностных симпатий и антипатий, от которых не осталось и следа, когда ребенок (это неопределенное существо, еще все пропитанное запахом женщины) превратился в юношу. И Жаклина с горечью говорила сыну:

— Я не знаю, в кого ты пошел. Ты не похож ни на твоего отца, ни на меня.

Таким образом, она еще сильнее давала ему почувствовать, как они чужды друг другу, и он ощущал благодаря этому тайную гордость в сочетании с лихорадочным беспокойством.

Последующие поколения всегда сильнее чувствуют то, что их разделяет, чем то, что их сближает с предыдущими; это им необходимо для самоутверждения, даже если это достигается ценою несправедливости или самообмана. Это чувство, в зависимости от эпохи, бывает более или менее обостренно. В классические эпохи, когда временно устанавливалось равновесие между силами какой-нибудь одной цивилизации, — в эпохи, напоминающие высокие плоскогорья с крутыми склонами, — разница между поколениями не так уж велика, но в эпоху возрождения или упадка молодые люди, взбирающиеся или спускающиеся по головокружительному, крутому склону, оставляют далеко позади своих предшественников. Жорж и его сверстники поднимались в гору.

Ни в уме, ни в характере Жоржа не было ничего выдающегося: одинаково способный ко всему, он ни в чем не превосходил уровня изящной посредственности. И тем не менее с первых же шагов, не прилагая особых усилий, он оказался на несколько ступенек выше своего отца, израсходовавшего за свою короткую жизнь несметное количество духовной и физической энергии.

Как только глаза его разума увидели свет, он заметил вокруг себя все эти скопища тьмы, пронизываемые ослепительными вспышками, все эти нагромождения знакомого и неведомого, враждебных истин, противоречивых заблуждений, среди которых лихорадочно блуждал его отец. Но он тут же осознал, какое оружие, неизвестное предыдущим поколениям, находится в его руках — его сила...

Откуда же она у него взялась? Это — тайна возрождения рода, который угасает истощившись и вдруг пробуждается, переполненный до краев, подобно весеннему горному потоку! К чему же он применит эту силу? Займется ли он, в свою очередь, исследованием непроходимых чащ современной мысли? Нет, это занятие несколько не прельщало его, он чувствовал нависшую над ним угрозу притаившихся там опасностей. Оно уже загубило его отца. Он скорее бы поджег этот лес, чем пытаться снова проникнуть в его трагические дебри. Он только мельком заглянул в книги мудрости или священного безумия, которыми упивался когда-то Оливье: нигилистское милосердие Толстого, мрачная, разрушительная гордыня Ибсена, неистовство Ницше, чувственный и героический пессимизм Вагнера. Жорж отвернулся от них с гневом и ужасом. Он ненавидел поколение писателей-реалистов, которые за последние полвека убили радость чистого искусства. Тем не менее он не мог совсем избавиться от смутных призраков печальной мечты, баюкавшей его детство. Он не хотел оглядываться назад, но знал, что позади него стоит призрак. Он был слишком здоров, чтобы искать выхода для своего беспокойства в ленивом скептицизме предыдущей эпохи, он питал отвращение к дилетантству Ренана и Анатоля Франса, к извращенности свободного разума, к невеселому смеху, к иронии без величия, — ко всем этим позорным средствам, годным лишь для рабов, которые бряцают своими оковами, но не способны их сбросить.

Он был слишком силен, чтобы удовлетвориться сомнением, слишком слаб, чтобы создать себе веру, — он стремился к ней, он жаждал ее! Он просил, молил, требовал. И вечные ловцы популярности, лжевеликие писатели, лжевеликие мыслители, подстерегали и эксплуатировали это настоящее и томительное желание, превознося под грохот барабанов свое шарлатанское лекарство. Каждый из этих Гиппократов с высоких подмостков своего балагана вопил, что его эликсир — самый лучший, самый целебный, и поносил все остальные. Но эти тайные средства не стоили ни гроша. Ни один из торгашей не потрудился найти новые рецепты. Они раскопали среди старого хлама флаконы с выдохшимися



лекарствами. Один провозглашал в качестве панацеи католическую церковь, другой — законную монархию, третий — классическую традицию. Среди них были и такие шутники, которые доказывали, что возвращение к латыни исцелит от всех зол. Иные же с серьезным видом и пылким красноречием, внушавшим доверие зевакам, проповедовали господство средиземноморского духа. (Столь же убедительно они разглагольствовали бы при других обстоятельствах об атлантическом духе!) В противовес северным и восточным варварам они торжественно провозглашали себя преемниками новой римской империи. Слова, слова, и притом заимствованные. Под открытым небом они излагали скороговоркой всю премудрость, собранную в библиотеках. Молодой Жанен, как и его товарищи, переходил от одного торгаша к другому, слушал их зазывающие выкрики, иногда, поддаваясь соблазну, заходил в балаган и выходил оттуда разочарованный и немного пристыженный: зря потратив деньги и время, он увидел там лишь старых паяцев в потертых трико. И тем не менее так сильны были иллюзии молодости, так велика была уверенность в том, что он обретет веру, что, слушая каждое новое обещание очередного продавца надежд, он тотчас же поддавался на удочку. Жорж был настоящим французом: ему были присущи бунтарские настроения и врожденная любовь к порядку. Ему необходим был вождь, и он не выносил никакого начальства: его беспощадная ирония пронизывала их всех насквозь.

Он ждал, куда кто-нибудь преподнесет ему решение загадки... но ему некогда было ждать. Он не принадлежал к типу людей, которые, подобно его отцу, в течение всей своей жизни могли довольствоваться поисками истины. Его молодая, беспокойная сила искала выхода. При наличии повода или без него он хотел на что-нибудь решиться. Действовать, пустить в ход, растратить свою энергию. Путешествия, наслаждение искусством, особенно музыкой, которой он пичкал себя до пресыщения, служили временной отдушиной для его страстей. Красивый малый, преждевременно созревший, легко поддающийся искушению, он рано познал мир любви, такой пленительный с виду, и ринулся в него, охваченный поэтической

и жадной радостью. Но вскоре этому наивному и ненасытному до наглости Керубино надоели женщины; ему необходима была деятельность. Тогда он яростно отдался спорту. Он испробовал все, увлекался всеми видами спорта. Он стал завсегдатаем фехтовальных турниров, боксерских матчей, получил звание чемпиона Франции по бегу и по прыжкам в высоту, был капитаном футбольной команды. Он соперничал в смелости с такими же, как он сам, молодыми сумасбродами, богачами и сорви-головами: они совершали нелепые и бешеные автомобильные пробеги, поистине пробеги смерти. В конце концов он забросил все ради новой игрушки. Он разделял иступленные восторги толпы к самолетам. На праздниках авиации, происходивших в Реймсе, он вопил, плакал от радости вместе с тремястами тысячами зрителей; он чувствовал свое единение со всем народом, охваченным восторгом и упованием; люди-птицы, пронесившиеся над ними, увлекали их за собой в своем полете. Впервые с той поры, как вспыхнула заря Великой революции, эти сплоченные толпы поднимали глаза к небу, и оно отверзлось им. К ужасу матери, молодой Жанен заявил, что хочет примкнуть к стаям завоевателей воздуха. Жаклина умоляла его отказаться от этого опасного намерения. Она приказывала ему. Он поступил по-своему. Кристоф, в котором Жаклина рассчитывала найти союзника, ограничился тем, что дал молодому человеку несколько разумных советов, хотя был уверен, что Жорж не последует им (ибо, будь он на его месте, он поступил бы так же). Кристоф не считал себя вправе, если бы это даже было в его власти, стеснять здоровую и нормальную игру молодых сил, которые из-за вынужденного бездействия могли бы устремиться к собственному разрушению.

Жаклина не могла примириться с тем, что сын ускользает от нее. Напрасно она думала, что окончательно отказалась от любви, — она не могла обойтись без этой иллюзии; все ее чувства, все ее действия были окрашены любовью. Многие матери переносят на своих сыновей тайный пыл страстей, не растраченных в браке и вне брака! И потом, видя, как легко сыновья обходятся без матери, внезапно обнаружив, что она им не нужна, мать переживает такой же тяжелый кризис, как при из-

мене любовника, при разочаровании в любви. Это было для Жаклины новым ударом. Жорж ничего не замечал. Молодые люди не подозревают о сердечных трагедиях, которые разыгрываются вокруг них: им некогда останавливаться и смотреть; к тому же они и не желают смотреть — эгоистический инстинкт подсказывает им идти прямо, не оглядываясь.

Жаклина переживала в одиночестве это новое горе. Она пришла в себя, только когда боль притупилась. Притупилась вместе с ее любовью. Она продолжала любить сына, но это чувство стало далеким, трезвым, она знала, что не нужна ему, и стала относиться безучастно и к себе самой и к сыну. Целый год она влачила унылое и жалкое существование, а он даже не замечал этого. Потом несчастному сердцу, не умевшему ни умереть, ни жить без любви, суждено было найти новый предмет обожания. Она оказалась жертвой страсти, часто посещающей женские души, особенно, как говорят, самые благородные, самые недоступные, когда приходит зрелость, а прекрасный плод жизни не был сорван вовремя. Она познакомилась с женщиной, которая с первой же встречи покорила ее своей таинственной притягательной силой.

Это была монахиня примерно ее возраста. Она занималась благотворительными делами. Высокая, сильная, довольно полная брюнетка, с красивыми резкими чертами лица, живыми глазами, большим ртом, с тонкими, постоянно сложенными в улыбку губами и властным, волевым подбородком. На редкость умная, отнюдь не сентиментальная, она была по-крестьянски хитра; деловая сметка сочеталась в ней с пылким воображением южанки, любившей широкий размах, но в то же время умевшей обуздывать себя, когда это было необходимо, — эдакая пикантная смесь возвышенного мистицизма и плутовства старого нотариуса. Она привыкла повелевать и умела это делать. Жаклина тотчас же попалась на удочку. Она увлеклась благотворительностью. По крайней мере так полагала она. Сестра Анжела прекрасно знала, кем увлеклась Жаклина: она привыкла возбуждать такого рода чувства и, делая вид, что ничего не замечает, умела холодно и расчетливо использовать их во имя добрых дел и во славу божью. Жаклина отдала свои деньги,

свою волю, свое сердце. Она стала милосердной, она уверовала, потому что любила.

Вскоре все окружающие не преминули подметить, в каком ослеплении она находится. Только одна Жаклина не отдавала себе в этом отчета. Опекун Жоржа встревожился. Жорж был слишком щедр и легкомыслен, чтобы заниматься денежными вопросами, но и он заметил, что его мать опутали, и это неприятно поразило его. Он попытался — слишком поздно — восстановить их былую близость, но увидел, что между ними выросла стена; приписывая это тайному влиянию, Жорж не пытался скрывать свое раздражение против той, кого он называл интриганкой, а также против самой Жаклины. Он не мог допустить, чтобы чужая заняла в сердце матери место, которое он считал своею собственностью. Он не признавался себе, что это место занято лишь потому, что он сам пренебрег им. Вместо того чтобы терпеливо пытаться снова завоевать упущенное, он вел себя неловко и оскорбительно. Мать и сын, оба нетерпимые и горячие, обменялись резкими словами; разрыв между ними стал еще глубже. Сестра Анжела окончательно завладела Жаклиной, а Жорж удалился; ему была предоставлена полная свобода. Он стал вести рассеянный и бурный образ жизни. Играл в карты, проигрывал крупные суммы; рисовался своей экстравагантностью — отчасти из удовольствия, а также в отместку матери за ее сумасбродства. Он был знаком со Стивенс-Дэлектрад. Колетта не преминула обратить внимание на красивого молодого человека и испытывала на нем действие своих чар, которые все еще держались на вооружении. Она была в курсе похождения Жоржа и забавлялась ими. Но присущий ей здравый смысл и природная доброта, таившиеся под внешним легкомыслием, подсказали Колетте, какой опасности подвергается молодой сумасброд, и, прекрасно понимая, что не сумеет образумить его, она уведомила Кристофа, который тотчас же явился.

Один только Кристоф еще способен был оказать некоторое влияние на молодого Жанена. Правда, влияние весьма ограниченное и непрочное, тем более поражающее,

что причины его были непонятны. Кристоф принадлежал к тому поколению, против которого Жорж и его товарищи восставали особенно горячо. Он был один из крупнейших представителей той мятежной эпохи, искусство и идеи которой вызывали их подозрительность и враждебность. Он не признавал новых евангелий и амuletов, предлагаемых лжепророками и старыми знахарями наивным молодым людям как верное средство для спасения мира, Рима и Франции. Он хранил верность свободным убеждениям, не стесняемым никакими религиями, никакими партиями, никакими отечествами, а это уже вышло из моды или еще не стало модным. Наконец, хотя для самого Кристофа вопрос национальности не играл никакой роли, он все же был в Париже иностранцем в ту пору, когда иностранцы казались коренным обитателям всех стран варварами.

И тем не менее молодой Жанен, веселый, легкомысленный, инстинктивный враг всего, что его могло опечалить или встревожить, страстно предававшийся наслаждениям, азартным играм, легко обольщавшийся риторикой своего времени и питавший склонность, благодаря своим крепким мускулам и умственной лени, к грубым доктринам, провозглашаемым «Аксьон франсез» — к шовинизму, роялизму, империализму (он не слишком во всем этом разбирался), — уважал в сущности только одного человека — Кристофа. Рано приобретенный жизненный опыт и очень тонкое чутье, унаследованное от матери, помогли ему правильно оценить (разумеется, это не отразилось на его хорошем настроении) ничтожество того общества, без которого он не мог обойтись, и нравственное превосходство Кристофа. Тщетно он опьянял себя суетой и деятельностью. Жорж не мог отречься от наследия отца. От Оливье он заимствовал внезапные и короткие приступы смутного беспокойства, потребность найти, определить цель своей деятельности. И, быть может, также от Оливье передалось ему таинственное, инстинктивное влечение к человеку, которого тот любил.

Жорж бывал у Кристофа. Экспансивный и несколько болтливый, он любил исповедоваться. Ему не было дела, есть ли у Кристофа время слушать его. Кристоф всегда

выслушивал Жоржа, не проявляя ни малейшего нетерпения. Порою только, когда гость приходил во время работы, он бывал рассеян. Но это длилось всего несколько минут, в течение которых его мысль ускользала, чтобы добавить еще штрих, еще мазок к работе, происходившей внутри него. Потом он снова возвращался к Жоржу, который даже не замечал его невнимания. Кристоф забавлялся своим бегством, как человек, который тихонько вышел из комнаты и так же неслышно вернулся. Но раз или два Жорж почувствовал это и возмущенно воскликнул:

— Да ты не слушаешь меня!

Тогда Кристофу становилось стыдно, и, чтобы заслужить прощение, он начинал покорно, с удвоенным вниманием слушать своего нетерпеливого рассказчика. В повествовании Жоржа бывало немало комического; иной раз Кристоф не мог удержаться от смеха, слушая о какой-нибудь его проделке, ибо Жорж говорил все без утайки, — он обезоруживал своей откровенностью.

Но Кристоф смеялся далеко не всегда. Поведение Жоржа часто удручало его. Кристоф и сам не был святым и не считал себя вправе читать кому-нибудь мораль. Не любовные приключения Жоржа, не возмущительное проматывание своего состояния на глупости больше всего возмущали Кристофа. Труднее было простить Жоржу легкомысленное отношение к своим проступкам: казалось, он не видит в них ничего предосудительного, считая все это вполне естественным. У него было несколько иное представление о нравственности, чем у Кристофа. Он принадлежал к той категории молодых людей, которые склонны видеть во взаимоотношениях между полами только свободную игру, лишенную каких-либо нравственных обязательств. Известная искренность и беспечная доброта — вот и весь багаж, необходимый порядочному человеку. Его нисколько не смущала щепетильность Кристофа. А тот негодовал. Тщетно пытался Кристоф не навязывать другим своих мнений — он был нетерпим; его прежнее буйство было укрощено лишь наполювину. Иногда, вспыхив, он не мог удержаться и, находя некоторые интриги Жоржа нечистоплотными, напрямик заявлял ему об этом. Жорж тоже не отличался большой терпимостью. Между ним и Кристофом происходили

довольно бурные перепалки. После этого они не встречались целыми неделями. Кристоф понимал, что эти вспышки не могут повлиять на Жоржа и заставить его изменить свое поведение, что несправедливо пытаться подчинить нравственность одной эпохи моральным воззрениям другого поколения. Но это было сильнее его и при первом же случае все повторялось сначала. Как можно усомниться в убеждениях, которым отдана вся жизнь? Лучше тогда совсем отказаться от жизни! Стоит ли принуждать себя мыслить иначе, чем мыслишь, только для того, чтобы походить на своего ближнего или щадить его? Это означает погубить себя без пользы для других. Первейший долг человека — быть таким, каков он есть, иметь мужество сказать: «Это хорошо, а вон то плохо». Оставаясь сильным, приносишь гораздо больше пользы слабым, чем становясь таким же слабым, как они. Будьте снисходительны, если вам угодно, к уже свершившейся подлости, но никогда не миритесь с подлостью, которую собираются сделать!

Разумеется, Жорж остерегался советоваться с Кристофом относительно своих планов и намерений (да разве ему самому они были известны?). Он рассказывал лишь о том, что уже произошло. В таком случае... в таком случае Кристофу оставалось только смотреть на шалопаи с немим упреком и, улыбаясь, пожимать плечами, наподобие старого дядюшки, который знает, что его все равно не послушают.

После этого несколько секунд длилось молчание. Жорж смотрел в глаза Кристофа, которые как бы издалека глядели на него. И он чувствовал себя перед ним мальчишкой. Он видел себя в зеркале этого пронизательного взгляда, в котором загорались лукавые огоньки, таким, каков он есть, и не слишком гордился этим отражением. Кристоф очень редко обращал против Жоржа его признания; можно было подумать, что он и не слышал их. После немного диалога их глаз Кристоф насмешливо качал головой; затем начинал рассказывать историю, которая, казалось, не имела ни малейшего отношения ко всему предыдущему, — историю из своей жизни или чьей-то другой жизни, причем трудно было понять, правда это или выдумка. И перед Жоржем постепенно

вырисовывался — в новом, некрасивом и смешном свете — образ его двойника (он узнавал его), совершавший такие же промахи, как и он. Как было не посмеяться над собою, над своим неприглядным видом! Кристоф ничего не пояснял. Но еще большее впечатление, чем само повествование, производило безграничное добродушие рассказчика. Он говорил о себе, как и о других, одинаково беспристрастно, с веселым и спокойным юмором. Эта объективность нравилась Жоржу. Такого спокойствия он искал. Когда Жорж сваливал с себя груз многословной исповеди, у него было такое ощущение, словно он лежит в летний полдень, прохладжаясь в тени большого дерева. Лихорадочный жар знойного дня спадал. Он чувствовал над собой веяние охраняющих его крыльев. Подле этого человека, который уверенно и просто нес бремя тяжелой жизни, он был защищен от собственных тревог. Он вкушал покой, внимая речам Кристофа. Жорж также не всегда слушал Кристофа внимательно: его мысли блуждали далеко; но куда бы он ни уносился, смех Кристофа звучал в его ушах.

Между тем воззрения старого друга оставались чуждыми ему. Он спрашивал себя, как Кристоф мог примириться со своим душевным одиночеством, отказаться от всякой связи с художественными, политическими, религиозными партиями, с какой-либо из общественных группировок. Он спросил как-то, не испытывает ли Кристоф иногда потребности примкнуть к какому-нибудь лагерю.

— К лагерю! — смеясь, сказал Кристоф. — Разве на свободе плохо? И это ты предлагаешь мне замкнуться в лагере, ты, любитель воздушных просторов?

— О, тело и душа совсем не одно и то же, — ответил Жорж. — Душе необходима уверенность; необходимо мыслить вместе с другими, разделять принципы, которых придерживаются люди одной эпохи. Я завидую прежним людям, тем, что жили в классические века. Правы мои друзья, желающие возродить прекрасный порядок прошлого!

— Мокрая курица! — сказал Кристоф. — И откуда только берутся такие малодушные?

— Я не малодушный, — с негодованием возразил Жорж. — Никого из нас нельзя упрекнуть в этом.

— И все-таки вы трусы, раз боитесь себя. Как?



Вам нужен порядок, и вы не можете сами его создать? Непременно нужно цепляться за юбки своих прабабушек! Бог мой! Шагайте самостоятельно!

— Сначала необходимо пустить корни, — гордо изрек Жорж, повторяя одну из модных фраз того времени.

— Разве для того, чтобы пустить корни, деревья должны быть посажены в ящики? Земля к твоим услугам, она принадлежит всем. Врастай в нее корнями. Найди свои законы. Ищи их в себе.

— У меня нет времени, — ответил Жорж.

— Ты попросту трусишь, — повторил Кристоф.

Жорж возмутился, но в конце концов признал, что у него нет ни малейшего желания заглядывать вглубь себя; он не понимал, какое в этом удовольствие: наклоняясь над черной бездной, рискуешь свалиться в нее.

— Дай мне руку, — сказал Кристоф.

Его забавляло приоткрывать люк и показывать реальное и трагическое лицо жизни. Жорж отшатнулся. Кристоф, смеясь, закрыл крышку.

— И вы можете так жить? — спросил Жорж.

— Я живу и счастлив, — ответил Кристоф.

— А я умер бы, если бы мне пришлось постоянно видеть это.

Кристоф похлопал его по плечу:

— Вот каковы наши прославленные богатыри! Ну что ж, не гляди туда, если у тебя недостаточно крепкая голова. Ведь тебя никто не принуждает. Иди вперед, мой мальчик! Но разве для этого тебе необходим погонщик, который бы подстегивал тебя, как скотину? Какого приказа ты еще ждешь? Уже давно прозвучал сигнал. Горнист протрубил сбор, кавалерия перешла на марш. Думай только о своем коне. В шеренгу! И скачи!

— Но куда? — спросил Жорж.

— Куда летит твоя эскадрилья? На завоевание мира. Овладейте воздухом, подчините стихию, преодолите последние барьеры природы, заставьте отступить пространство, заставьте отступить смерть...

Expertus vacuum Daedalus aëra<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Дедал, познавший пустоту небесной выси (лат.). — Гораций, «Оды». — *Прим. ред.*

Ну-ка, поборник латыни, скажи, знаешь ли ты, откуда это? Можешь ли ты мне объяснить, что сие значит?

Perrupit Acheronta <sup>1</sup>...

Вот ваш жребий, счастливые конквистадоры.

Он так ясно указывал, в чем долг молодого поколения, какая героическая деятельность выпала на его долю, что изумленный Жорж спросил:

— Но если вы это чувствуете, почему же вы не с нами?

— Потому что у меня другая задача. Иди, мой мальчик, делай свое дело. Обгони меня, если можешь. Я же остаюсь здесь и буду наблюдать. Ты читал сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как высокий, словно гора, джин был заключен в бутылку, запечатанную печатью Соломона? Этот джин здесь, в глубине нашей души, той души, заглянуть в которую ты боишься. Я и мои современники всю жизнь боролись с ним; мы не победили его, но и он не мог нас одолеть. Теперь мы и он отдыхаем и смотрим друг на друга без ненависти и страха, гордясь былыми битвами и ожидая конца перемирия. Воспользуйтесь же передышкой, чтобы собраться с силами и овладеть красотой мира. Будьте счастливы, наслаждайтесь затишьем. Но помните, что когда-нибудь вам или вашим сыновьям, после одержанных побед, придется вернуться сюда, ко мне, и с новыми силами вступить в бой с тем, кто заключен здесь и кого я стерегу. И борьба, чередующаяся с перемириями, будет длиться до тех пор, пока один из двоих (а быть может, и оба) не будет повержен... Будьте же сильнее и счастливее нас! А сейчас занимайся спортом, если хочешь, укрепляй мускулы и сердце, но не безумствуй и не растрачивай попусту свою нетерпеливую силу: ты живешь в такое время, когда для нее (будь спокоен!) найдется применение.

Жорж мало что усваивал из того, что говорил ему Кристоф. У него был достаточно восприимчивый ум, который схватывал мысли Кристофа, но они тотчас же

---

<sup>1</sup> преодолел Ахеронт (лат.). — Г о р а ц и й, «Оды». — *Прим. ред.*

испарялись. Не успевал он спуститься с лестницы, как уже все забывал. И тем не менее ощущение умиротворенности оставалось, даже когда воспоминание о том, чем оно было вызвано, давно изгладилось из памяти. Жорж глубоко уважал Кристофа, хотя и не разделял его убеждений. (В сущности он смеялся над всем, во что верил Кристоф.) Но он проломил бы голову любому, кто осмелился бы дурно отзываться о его старом друге.

К счастью, никто этого не делал; в противном случае у него оказалось бы немало хлопот.

Кристоф заранее предвидел, что скоро ветер подует в другую сторону. Новый идеал молодой французской музыки весьма отличался от его собственного, и хотя для Кристофа это служило только лишним поводом, чтобы симпатизировать ей, молодежь относилась к нему отнюдь не дружелюбно. Популярность Кристофа лишь ожесточала наиболее голодных из этих молодых людей; их желудки не были достаточно набиты, и именно поэтому они отрастили себе длинные клыки и больно кусались. Но Кристофа не трогали их выпады.

— Сколько пыла они в это вкладывают! — говорил он. — У этих щенят начинают прорезаться зубы...

Он готов был предпочесть их тем собачонкам, которые лебезили перед ним, потому что он имел успех, — это о них говорит д'Обинье: «Когда дворовый пес залез в горшок с маслом, они стали облизывать его и поздравлять».

Одно из произведений Кристофа было принято к постановке в опере. Сразу же приступили к репетициям. Случайно Кристоф узнал из газет, в которых его поносили, что для того, чтобы поставить его произведение, отложили постановку уже принятой оперы молодого композитора. Журналист возмущался этим злоупотреблением властью и винил во всем Кристофа.

Кристоф отправился к директору театра и сказал:

— Вы не предупредили меня об этом. Так не поступают. Извольте поставить оперу, которую вы приняли раньше моей.

Директор запротестовал, рассмеялся и, наотрез отказав Кристофу, стал осыпать похвалами его самого, его произведения, его гений, а о вещи молодого автора ото-

звался с величайшим презрением, уверяя, что она никуда не годится и не принесет ни гроша дохода.

— Зачем же тогда вы ее приняли?

— Не всегда делаешь то, что хочешь. Время от времени приходится идти на уступки общественному мнению. Прежде эти юнцы могли кричать сколько угодно — никто их не слушал. Теперь же они ухитряются натравливать на нас всю националистическую прессу, которая принимается вопить об измене и называть нас плохими французами, если мы имели неосторожность не восторгаться молодой школой! Молодой школой! Как бы не так! Хотите знать правду? Мне она надоела хуже горькой редьки! И публике тоже. Они опротивели своими «Oremus»<sup>1</sup>. У них не кровь в жилах, а вода; это какие-то жалкие пономари, которые служат обедню, а их любовные дуэты больше похожи на «De profundis»<sup>2</sup>. Если бы я был настолько глуп и ставил оперы, которые меня заставляют принимать, то мой театр прогорел бы. Но поговорим о серьезных вещах. Вы делаете полные сборы.

И снова посыпались комплименты.

Кристоф резко оборвал его и сказал разгневанно:

— Меня вы не проведете. Теперь, когда я уже стар и «преуспеваю», вы пользуетесь мною, чтобы уничтожить молодых. Если бы я был молод, вы бы уничтожили меня, как их. Поставьте оперу этого молодого человека, иначе я возьму обратно свою.

Директор воздел руки к небу и сказал:

— Разве вы не понимаете, если мы сделаем, как вы хотите, они вообразят, будто нас запугала возня, поднятая их прессой, и мы пошли на уступки?

— Что мне за дело до этого? — сказал Кристоф.

— Как вам угодно! Вы первый же станете их жертвой.

Оркестр стал проигрывать произведение молодого композитора, не прерывая репетиций оперы Кристофа. Одна опера была в трех актах, вторая — в двух; было решено показать обе в одном спектакле. Кристоф отпра-

---

<sup>1</sup> Помолимся (лат.).

<sup>2</sup> Из глубины, из бездны (лат.). — Начало молитвы «Из бездны взываю к тебе...» — Прим. ред.

вился к своему протезе; он первый хотел сообщить ему радостную весть. Молодой композитор рассыпался перед Кристофом в выражениях признательности до гроба.

Разумеется, Кристоф не мог помешать директору уделять больше внимания его опере. К исполнению и постановке второй вещи отнеслись довольно небрежно. Кристоф ничего не знал об этом. Он попросил разрешения присутствовать на репетициях произведения молодого композитора и нашел, что оно, как ему уже говорили, весьма посредственно. Он осмелился дать лишь два-три совета, но они были приняты в штыки; он ограничился этим и больше не вмешивался. Директор со своей стороны сообщил дебютанту, что необходимо сделать некоторые сокращения, если он хочет, чтобы постановка его оперы не задерживалась. Сначала автор легко согласился на эту жертву, но вскоре она ему показалась непосильной.

Наступил день спектакля; опера дебютанта не имела никакого успеха, опера же Кристофа наделала много шума. Некоторые газеты поносили Кристофа, уверяя, что все было заранее подстроено, что это сговор с целью уничтожить молодого и великого французского музыканта. Они утверждали, что его произведение было искажено, изуродовано в угоду немецкому композитору, которого изображали как низкого человека, завидующего всякому новому таланту. Кристоф пожал плечами и подумал:

«Он ответит».

«Он» не отвечал. Кристоф послал ему одну из газетных заметок с припиской:

«Вы читали?»

Тот ответил:

«Какая досада! Этот журналист всегда был так деликатен в отношении меня. Право, я очень огорчен. Лучше всего не обращать внимания».

Кристоф рассмеялся и подумал:

«Этот трусишка прав!»

И он выбросил воспоминание о нем в провал своей памяти.

Но случаю было угодно, чтобы Жорж, который редко читал газеты, пробегая их мельком и останавливаясь

лишь на статьях о спорте, наткнулся на самые резкие выпады против Кристофа. Жорж знал журналиста. Он отправился в кафе, где тот был завсегдатаем, и действительно встретил его там. Жорж дал ему пощечину, дрался с ним на дуэли и сильно оцарапал ему плечо своей шпагой.

На следующий день, за завтраком, Кристоф узнал о случившемся из письма одного приятеля. Он чуть не задохся от бешенства и, бросив завтрак, побежал к Жоржу. Жорж сам отворил ему. Кристоф ворвался, как ураган, схватил Жоржа за плечи, стал в гневе трясти его, осыпая градом яростных упреков.

— Скотина! — кричал он. — Ты дрался из-за меня! Кто тебе разрешил? Сопляк, ветреник, как ты смел вмешиваться в мои дела? Разве я сам не способен заниматься ими? Отвечай! Чего ты добился? Ты оказал этому подлецу честь тем, что дрался с ним. Этого только ему и нужно было. Ты сделал его героем. Дурак! А если бы случаю было угодно (я уверен, что ты вел себя безрассудно, как всегда)... если бы ты был ранен, быть может убит! Негодяй! Я никогда в жизни не простил бы тебе этого.

Жорж, который и без того смеялся, как безумный, услышав последнюю угрозу, расхохотался до слез:

— Ах, старый дружище, какой же ты чудак! Просто умора! Ты ругаешь меня за то, что я защищал тебя! Ладно, в другой раз я на тебя нападу. Тогда, пожалуй, ты меня расцелуешь.

Кристоф умолк; он обнял Жоржа, поцеловал в обе щеки раз, потом другой и сказал:

— Мальчик! Прости меня, я старая скотина... Но пойми, это известие так взволновало меня. И как только тебе в голову пришло драться? Разве с такими дерутся? Обещай мне сейчас же, что больше это никогда не повторится.

— Я никогда ничего не обещаю, — сказал Жорж. — Я делаю то, что мне нравится.

— Но я запрещаю тебе, слышишь? Если это повторится, я тебя знать не хочу, я отрекусь от тебя в газетах, я тебя...

— Ты лишишь меня наследства, это решено.

— Послушай, Жорж, прошу тебя... К чему все это?

— Дорогой старик, ты в тысячу раз лучше, чем я, и знаешь несравненно больше меня; но что касается этих негодяев, то я их изучил куда лучше, чем ты. Будь спокоен, это пойдет им на пользу; теперь они семь раз повернут во рту свое ядовитое жало, прежде чем осмелятся обругать тебя.

— Ах, какое мне дело до этих гусаков? Плевать мне на то, что они могут сказать.

— А мне отнюдь не плевать. И это тебя не касается!

С той поры Кристоф пребывал в вечном страхе, как бы чья-нибудь новая статья опять не задела Жоржа. Смешно было наблюдать, как в последующие дни Кристоф, никогда не читавший прессы, сидел в кафе, пожирая газеты, готовый, в случае если он встретит оскорбительную статью, сделать невесть что (даже подлость, если понадобится), лишь бы эти строки не попались на глаза Жоржу. Через неделю он успокоился. Мальчик был прав. Его поступок заставил гончих псов поджать хвосты. И Кристоф, продолжая бранить молодого безумца, из-за которого он целую неделю не работал, подумал, что в конце концов не имеет никакого права поучать его. Он вспомнил об одном происшествии — это было не так уж давно, — когда он сам дрался из-за Оливье. И ему показалось, что он слышит, как Оливье говорит ему:

«Не мешай, Кристоф, я только возвращаю тебе свой долг!»

Если Кристоф легко относился к нападкам, то другой человек был очень далек от такого насмешливого равнодушия. И этим человеком был Эмманюэль.

Эволюция европейской мысли шла быстрыми шагами. Казалось, ее ускоряло изобретение новых двигателей и машин. Запас предрассудков и надежд, которых прежде хватило бы человечеству лет на двадцать, был уничтожен за пять лет. Идеи разных поколений сменялись с невероятной быстротой, они неслись галопом одна за другой, зачастую обгоняя друг друга: час атаки пробил, Эмманюэля обогнали,

Певец французской мощи никогда не отрекался от идеализма своего учителя Оливье. Его пламенный национализм всегда сочетался с культом нравственного величия. Если в своих стихах он громовым голосом возвещал торжество Франции, то потому, что в силу своих убеждений поклонялся ей, считая ее лучшей выразительницей мысли современной Европы, Афиной-Нике, победоносным Правом, которое одерживает верх над Силой. Но вот теперь Сила проснулась в недрах самого Права и снова предстала в своей дикой наготе. Новое, здоровое, крепкое и воинственное поколение рвалось в бой и, еще не одержав победы, чувствовало себя победителем. Оно гордилось своими мускулами, широкой грудью, могучими и жадными до наслаждений чувствами, своими крыльями хищников, парящих над равниной; ему нетерпелось скорее ринуться на добычу и испытать свою хватку. Подвиги французской нации, сумасбродные полеты над Альпами и морями, эпические скачки верхом через африканские пески, новые крестовые походы, не менее мистичные и не более бескорыстные, чем походы Филиппа Августа и Вильгардуэна, окончательно вскружили голову народу. Этим детям, знавшим войну только по книгам, ничего не стоило приписать ей несвойственную красоту. Они стали агрессивными. Пресытившись миром и отвлеченными идеями, они прославляли «наковальню сражений», на которой им предстояло окровавленным кулаком выковать когда-нибудь французское могущество. В ответ на засилье всевозможных идеологий, которые им опостытели, они возвели в принцип презрение к идеалу. Не без бахвальства они превозносили ограниченность и здравый смысл, грубый реализм, бесстыдный шовинизм, попирающий чужие права и другие народы, если это полезно для величия родины. Они ненавидели иностранцев, демократию, и даже атеисты проповедовали возврат к католицизму — из соображений практической необходимости «установить абсолютное» и ограничить бесконечность, поставив ее под охрану порядка и власти. Они не только презирали — они считали врагами общества вчерашних безвредных болтунов, мечтателей-идеалистов, мыслителей-гуманистов. С точки зрения этих юношей



Эмманюэль принадлежал к последним. Он жестоко страдал и возмущался этим.

Сознание того, что Кристоф, как и он, — пожалуй, даже больше, чем он, — является жертвой несправедливых гонений, возбудило в нем чувство симпатии к Кристофу. Своей озлобленностью он оттолкнул Кристофа, и тот больше не приходил. Эмманюэль был слишком горд, чтобы обнаружить раскаяние и пуститься на поиски Кристофа. Но ему удалось как бы случайно встретиться с Кристофом, и так, чтобы первые шаги были сделаны не им. После этого его мрачная подозрительность успокоилась, и он уже не скрывал удовольствия, которое ему доставляли посещения Кристофа. С той поры они стали часто встречаться либо у одного, либо у другого. Эмманюэль поведал Кристофу о своих обидах. Иные критики доводили его до крайнего озлобления, и, видя, что Кристофа это недостаточно задевает, он заставлял его читать газетные рецензии, написанные о нем самом. Кристофа обвиняли в незнании азов своего искусства, в незнании гармонии, утверждали, что он ограбил своих собратьев и опозорил музыку. Его называли: «этот буйнопомешанный старик». О нем писали: «Нам надоели эти одержимые. Мы стоим за порядок, за разум, за уравниленность классиков».

Кристофа только забавляло это.

— Таков закон природы, — говорил он. — Молодые люди швыряют стариков в мусорный ящик. Правда, в мое время человека называли стариком, только начиная с шестидесяти лет. Теперь все идет ускоренным темпом. Беспроволочный телеграф, самолеты... Поколение быстрее изнашивается... Бедняги! Их ненадолго хватит! Как они торопятся излить на нас свое презрение и горделиво покрасоваться под солнцем!

Но Эмманюэль не отличался столь несокрушимым здоровьем. Его отважная мысль находилась в плену больных нервов; пылкая душа была заключена в рахитичное тело, он рвался в бой, но не был создан для битв. Резкий тон некоторых выступлений оскорблял его до глубины души.

— Ах, — говорил он, — если бы критики знали, какой вред они причиняют художнику одним несправед-

ливым, случайно оброненным словом, им было бы стыдно заниматься этим ремеслом.

— Они это прекрасно знают, дорогой друг. Это их способ жить. Ведь каждому нужно жить.

— Это палачи. Жизнь наносит нам кровавые раны, мы изнемогаем в борьбе, которую приходится вести за искусство. Вместо того чтобы протянуть нам руку и сочувственно отнестись к нашим слабостям, по-братски помочь нам преодолеть их, они наблюдают, засунув руки в карманы, как мы тащим в гору наш груз, и орут: «Не осилит!» А когда мы достигаем, наконец, вершины, — «он взбирался против правил!» — вопят одни. «Не осилил!» — упорно твердят другие. Еще счастье, что они не швыряют под ноги камни, чтобы свалить нас!

— Ну, нет! И среди них попадаются хорошие люди! А сколько добра они могут принести! Злобные дураки бывают всюду, независимо от профессии. Скажи-ка мне, может ли быть что-либо ужаснее, чем ожесточенный и тщеславный художник, который рассматривает мир как свою добычу и бесится из-за того, что не может завладеть ею? Вооружись терпением! Нет худа без добра. Даже самый злой критик приносит нам пользу. Это тренер, он не дает нам задерживаться в пути. Всякий раз, когда кажется, что мы уже у цели, свора собак впиается нам в икры. Вперед! Дальше! Выше! Но они скорее устанут меня преследовать, чем я шагать вперед. Вспомни-ка арабскую поговорку: «Бесплодные деревья никто не обдирает. Камнями швыряют только в те деревья, которые увенчаны золотыми плодами»... Жалости достойны художники, которых щадят. Они разлеятся и застрянут в пути. А когда захотят подняться, то их онемевшие ноги уже не смогут идти. Да здравствуют мои друзья-враги! Они сделали мне больше добра в жизни, чем мои враги-друзья!

Эмманюэль не мог удержаться от улыбки. Затем он сказал:

— И все-таки неужели тебе не обидно, когда такого ветерана, как ты, поучают новобранцы, еще ни разу не нюхавшие пороха?

— Они забавляют меня, — ответил Кристоф. — Это высокомерие — признак молодой, бурлящей крови, которая рвется наружу. Когда-то и я был таким. То проливные весенние дожди над возрождающейся землей... Пусть поучают нас. В конце концов они правы. Старики должны пройти школу молодых! Они ограбили нас, они неблагодарные, но ведь это в порядке вещей. Обогащенные нашими трудами, они пойдут дальше нас, они осуществят то, чего мы добивались. Если в нас осталась хоть капелька молодости, будем учиться в свою очередь и постараемся помолодеть. Если же мы этого не можем, если мы слишком стары, возрадуемся через них. Отраднo созерцать непрерывное цветение человеческой души, которая казалась истощенной, могучий оптимизм этой молодежи, их дерзания, их упоение деятельностью — это людские племена, возродившиеся для завоевания мира.

— Чем бы они были без нас? Наши слезы — источник их радости. Эта гордая сила расцвела на страданиях целого поколения... *Sic vos pop vobis...*<sup>1</sup>

— Старое изречение неверно. Мы работали для самих себя, создавая новое поколение людей, которое превзойдет нас. Мы сберегли его богатства и охраняли их в жалком, плохо защищенном домишке, где дуло из всех щелей; нам приходилось подпирать собою двери, чтобы помешать смерти войти туда. Своими руками мы проложили триумфальный путь, по которому пойдут наши сыновья. Своими трудами мы спасли грядущее. Мы принесли ковчег к порогу Обетованной земли. Он проникнет туда с нами и благодаря нам.

— Вспомнят ли они когда-нибудь о тех, кто прошел через пустыни, неся священный огонь, неся богов нашего народа и их самих, этих детей, ставших теперь взрослыми людьми? Нам на долю выпали лишь испытания и неблагоприятность.

— Разве ты жалеешь об этом?

— Нет. Есть опьянение в сознании трагического величия нашей могучей эпохи, принесенной в жертву во имя той, которую она породила. Современным людям уже не дано познать великую радость самопожертвования.

---

<sup>1</sup> Таким образом вы (работаете) не на себя (лат.).

— Мы были счастливее их. Мы достигли вершины горы Нэбо<sup>1</sup>, у подножия ее расстилается земля, на которую нам не доведется ступить. Но мы радуемся этой земле больше тех, кто туда проникнет. Когда спускаешься в равнину, то теряешь из виду необъятные просторы и далекий горизонт.

Умиротворяющее влияние, оказываемое Кристофом на Эмманюэля и Жоржа, он в свою очередь черпал в любви Грации. Этой любви он был обязан ощущением своей связи со всем молодым и неослабевающим интересом ко всем проявлениям новой жизни. Каковы бы ни были силы, обновляющие землю, он всегда был за них, даже если они ополчались против него. Он ни-сколько не боялся близкого пришествия той демократии, против которой кучка привилегированных эгоистов испускала воинственные крики, он не цеплялся в отчаянии за скрижали устаревшего искусства; он с уверенностью ждал, что из сказочных видений, из осуществленных мечтаний науки и практики родится новое искусство, более могучее, чем прежнее; он приветствовал пришествие новой зари мира, если даже красота старого мира должна при этом погибнуть.

Грация знала о благотворном влиянии своей любви на Кристофа; ощущение своей силы поднимало ее, делало выше самой себя. В письмах она руководила своим другом. Разумеется, она не предъявляла нелепых претензий и не пыталась делать ему указаний в области искусства; она обладала для этого слишком большим тактом и знала пределы своих возможностей. Но ее верный и чистый голос был тем камертоном, на который настраивалась душа Кристофа. Достаточно было Кристофу представить себе, как этот голос повторяет его мысль, и она сразу становилась справедливой, чистой и достойной повторения. Звуки прекрасного инструмента для музыканта — то же, что прекрасное тело, в которое тотчас же воплощается его мечта. Таинственное слияние двух любящих душ; каждая

---

<sup>1</sup> Согласно преданию, с этой горы Моисей увидел Обетованную землю. — *Прим. ред.*

из них берет лучшее у другой, но лишь с тем, чтобы вернуть взятое обогащенным своей любовью. Грация не боялась признаваться Кристофу, что любит его. Расстояние, а также уверенность, что она никогда уже не будет принадлежать ему, давали ей возможность говорить гораздо свободнее. Эта любовь, священный пламень которой передан Кристофу, была для него источником силы и покоя.

Грация давала окружающим гораздо больше этой силы и покоя, чем имела сама. Ее здоровье было надломлено, душевное равновесие подвергалось серьезному испытанию. Состояние здоровья сына не улучшалось. В течение двух лет она жила в постоянном страхе, который еще усугубляла жестокость Лионелло, умевшего играть на ее чувствах. Он достиг подлинной виртуозности в искусстве подстегивать беспокойство тех, кто его любил; чтобы возбуждать к себе сострадание и мучить людей, его праздный ум изощрялся в выдумках, — это превратилось у него в настоящую манию. И весь трагизм заключался в том, что, в то время как он кривлялся, изображая болезнь, болезнь действительно настигла его и возник призрак смерти. Тогда произошло то, что можно было предвидеть: Грация, которую ее сын в течение ряда лет терзал воображаемой болезнью, перестала ему верить, когда он заболел по-настоящему. Сочувствие имеет границы. Она израсходовала все свое сострадание на ложь. А теперь, когда Лионелло говорил правду, она думала, что он притворяется. Впоследствии, когда обнаружилась истина, остаток ее жизни был отравлен угрызениями совести.

Но злоба Лионелло не была укрощена. Он не любил никого и не мог вынести, чтобы кто-нибудь из окружающих любил кого-либо, кроме него; ревность была его единственной страстью. Он не удовлетворился тем, что ему удалось разлучить мать с Кристофом; он хотел заставить ее порвать их давнишнюю дружбу. Он уже использовал свое обычное оружие — болезнь — и вынудил Грацию поклясться, что она никогда больше не выйдет замуж. И этого обещания ему было мало. Он потребовал, чтобы мать перестала писать Кристофу. На сей раз Грация возмутилась; и это злоупотребление властью

привело к тому, что она освободилась от нее; она сказала сыну много суровых и жестоких слов о его лживости, а впоследствии упрекала себя за это, как за преступление. Ее слова вызвали у Лионелло припадок такого бешенства, что он действительно заболел, и это было тем более серьезно, что мать отказывалась ему верить. Тогда он, в своей ярости, захотел умереть, чтобы отомстить ей. Он не подозревал, что его желание осуществится.

Когда врач дал понять Грации, что ее сын обречен, она окаменела, ее словно громом поразило. Приходилось, однак, скрывать свое отчаяние, чтобы обмануть ребенка, который так часто обманывал ее. Он же, догадываясь, что на этот раз болен серьезно, не желал этому верить, и глаза его искали в глазах матери того самого упрека во лжи, который приводил его в ярость, когда он действительно лгал. Пришел час, когда больше не оставалось сомнений. Это было тяжело для него и для его близких: он не хотел умирать.

Когда он, наконец, уснул навеки, Грация не издала ни одного крика, у нее не вырвалось ни единой жалобы. Она поразила родных своим спокойствием; у нее больше не было сил страдать. Она хотела лишь одного — уснуть тоже. Между тем она продолжала заниматься обычными, повседневными делами, внешне сохраняя полное спокойствие. Несколько недель спустя улыбка снова появилась на ее губах, но она стала еще молчаливее. Никто не подозревал об ее отчаянии. А Кристоф меньше, чем кто бы то ни было. Она ограничилась тем, что сообщила ему о случившемся, не говоря ничего о себе самой. На письма Кристофа, преисполненные любви и беспокойства, она не отвечала. Он хотел приехать; Грация просила его не делать этого. Месяца через два-три она снова стала писать ему, как прежде, в том же спокойном и ровном тоне. Ей казалось преступным вваливать на него груз своих скорбей. Она знала, с какой силой откликался Кристоф на все ее чувства и как он нуждался в ее опоре. Это не было для нее болезненным принуждением, а дисциплиной, которая спасала ее. Она устала от жизни, и только любовь Кристофа и фатализм, который, как в скорби, так и в радости, составлял основу ее итальянской натуры, удер-

живали ее в жизни. В этом фатализме разум отсутствовал, то был инстинкт животного, который заставляет двигаться изнемогающего зверя; он двигается, не чувствуя усталости, словно во сне, с неподвижным взглядом, не замечая ни дорожных камней, ни своего измученного тела до тех пор, пока не свалится. Фатализм поддерживал ее тело. Любовь поддерживала ее сердце. Теперь, когда ее жизнь была кончена, она жила Кристофом. Тем не менее она больше, чем когда-либо, избегала выражать в своих письмах любовь к нему. Вероятно, потому, что эта любовь стала сильнее, но также и потому, что над ней тяготело veto<sup>1</sup> маленького покойника, который считал это чувство преступлением. Порой она умолкала, заставляя себя некоторое время не писать Кристофу.

Кристоф не понимал причин этого молчания. Иногда он улавливал в ровном и спокойном тоне письма новые неожиданные интонации, трепет страсти. Его глубоко волновало это, но он не смел ничего сказать, едва осмеливался замечать их; он походил на человека, который боится дышать, чтобы не спугнуть видение. Он знал, что почти неизбежно в следующем письме эти интонации будут искуплены нарочитой холодностью... А потом снова затишье, Meeresstille<sup>2</sup>.

Как-то днем Жорж и Эмманюэль сидели у Кристофа. Оба были целиком поглощены своими заботами: Эмманюэль — литературной грызней, а Жорж — неудачным спортивным состязанием. Кристоф добродушно слушал и дружески подсмеивался над ними. Раздался звонок. Жорж пошел отворить. Слуга Колетты принес письмо. Кристоф направился к окну и стал читать его. Оба друга продолжали свой спор; они не видели лица Кристофа, стоявшего к ним спиной. Он вышел из комнаты, но они не обратили на это внимания. А когда заметили его отсутствие, то не были этим удивлены. Он долго не возвращался, и Жорж постучал в дверь соседней комнаты. Ответа не последовало. Зная причуды своего старого друга,

---

<sup>1</sup> запрет (лат.).

<sup>2</sup> штиль на море (нем.).

Жорж не стал настаивать. Через несколько минут Кристоф вернулся. Он казался очень спокойным, очень усталым, очень кротким. Он попросил извинения, что оставил их, и продолжал прерванную беседу. Стараясь утешить их, он говорил с ними об их неприятностях с таким участием, что им становилось легче на душе. Звук его голоса странно волновал Жоржа и Эмманюэля, хотя они и не понимали, почему.

Вскоре они попрощались и ушли. По пути Жорж зашел к Коlette. Он застал ее в слезах. Увидев его, Коlette бросилась к нему и спросила:

— Ну, как перенес удар наш бедный друг? Это ужасно!

Жорж ничего не понимал. И Коlette сказала ему, что она только что посылала к Кристофу слугу с сообщением о смерти Грации.

Она умерла, не успев даже проститься ни с кем. За последние несколько месяцев корни ее жизни настолько ослабли, что достаточно было легкого дуновения, чтобы подкосить ее. Накануне повторного заболевания, после которого ее не стало, она получила сердечное письмо от Кристофа. Это письмо тронуло Грацию. Она хотела позвать Кристофа к себе, она понимала теперь, что все остальное, все, что разлучало их, — ложь и преступление, но она чувствовала себя слишком усталой и решила ответить ему завтра. На следующий день ей пришлось слечь. Грация начала письмо, но не могла его закончить; у нее было обморочное состояние, голова шла кругом; к тому же она не решалась сообщить другу о своей болезни, боясь встревожить Кристофа. Он в это время был занят репетициями симфонического хора, написанного на текст поэмы Эмманюэля. Сюжет увлек их обоих: он как бы являлся символом их судьбы. Поэма называлась «Обетованная земля». Кристоф часто писал о ней Грации. Премьера должна была состояться на следующей неделе. Нет, нельзя его тревожить. Грация лишь вскользь упомянула о том, что слегка простужена. Затем, решив, что и это ни к чему, разорвала письмо, и у нее уже не было сил писать другое. Она собиралась написать вечером. Но вечером было уже поздно. Слишком поздно, чтобы вызвать его. Слишком поздно, чтобы писать... Как



быстро все свершается в жизни! Достаточно нескольких часов, чтобы разрушить то, что создавалось веками... Грация едва успела дать дочери перстень, который носила на пальце, и попросила передать его своему другу. До сих пор она была не очень близка с Авророй. Теперь, умирая, она впивалась страстным взглядом в лицо той, которая оставалась жить; она сжимала руку, которая передаст ее пожатие, и думала радостно:

«Я ухожу не совсем»,

«Quid? hic inquam, quis est qui complet  
aures meas tantus et tam dulcis sonus!..»

(«Сон Сципиона») <sup>1</sup>

Расставшись с Колеттой, Жорж в порыве сочувствия снова вернулся к Кристофу. Из-за нескромной болтовни кухни Жорж уже давно знал, какое место занимала Грация в сердце старого друга, и даже (молодежь не слишком почтительна) иногда подтрунивал над этим. Но сейчас он так живо представил себе, в какую скорбь должна была повергнуть Кристофа эта потеря; и у него возникла потребность побежать к нему, обнять его, выразить ему соболезнование. Жорж знал неистовую натуру Кристофа, — спокойствие, проявленное им недавно, встревожило его. Он позвонил. Молчание. Он позвонил еще раз и постучал условным стуком. Он услышал шум отодвигаемого кресла, и медленные, тяжелые шаги стали приближаться к двери. Кристоф отпер. Его лицо было так спокойно, что Жорж, готовый броситься в его объятия, остановился; он не знал, что сказать. Кристоф тихо спросил:

— Это ты, мой мальчик? Ты забыл что-нибудь?

Жорж смущенно пробормотал:

— Да.

— Входи.

Кристоф снова опустился в кресло подле окна, где сидел до прихода Жоржа; опираясь головой на спинку,

---

<sup>1</sup> «Что это? — говорю я. — Что за звуки, столь могучие и слабые, наполняют мой слух?» (лат.) — Ц и ц е р о н, «Сон Сципиона». — *Прим. ред.*

он смотрел на крыши домов и на багровый закат. Он не обращал внимания на Жоржа. Молодой человек, делая вид, будто ищет что-то на столе, украдкой поглядывал на Кристофа. Его лицо было невозмутимо; отблески заходящего солнца освещали лоб и щеку Кристофа. Жорж машинально прошел в соседнюю комнату, спальню, как бы продолжая свои поиски. Здесь Кристоф перед его приходом заперся было с письмом. Оно лежало еще на покрывале постели, хранившей отпечаток человеческого тела. Внизу, на ковре, валялась открытая книга. Страница была смята. Жорж поднял книгу и прочитал: это было евангелие, встреча Марии Магдалины с садовником.

Чтобы овладеть собой, он вернулся в первую комнату, переставил что-то на столе вправо, влево и снова взглянул на Кристофа, который не шелохнулся. Жорж хотел сказать Кристофу, как он ему сочувствует. Но Кристоф весь так светился, что Жорж понял: всякие слова были бы неуместны. Скорее сам Жорж нуждался в утешениях. Он только робко произнес:

— Я ухожу.

Кристоф, не поворачивая головы, сказал:

— До свидания, мой мальчик.

Жорж ушел, неслышно затворив за собой дверь.

Кристоф долго оставался в том же положении. Настала ночь. Он совсем не страдал, ни над чем не размышлял, перед ним не возникало ни одного отчетливого образа. Он походил на очень усталого человека, который слушает далекую музыку, не пытаясь ее понять. Была уже глубокая ночь, когда он, разбитый, поднялся с кресла, ничком бросился на кровать и забылся тяжелым сном. Симфония продолжала звучать...

И он ее увидел, свою возлюбленную... Она протягивала ему руки и, улыбаясь, говорила:

«Теперь ты уже вышел из огненного круга».

И сердце его оттаяло. Невыразимая тишина наполнила звездные просторы, где спокойной и глубокой рекой струилась небесная музыка.

Когда он проснулся, было уже светло; ощущение странного счастья еще наполняло его, и он слышал еще

далекий отзвук слов. Он встал с постели. Безмолвный и священный восторг охватил его.

...Or vedi, figlio,  
tra Beatrice e te è questo muro <sup>1</sup>.

Стена между ним и Беатриче рухнула.

Уже давно большая половина его души находилась по ту сторону стены. По мере того как живешь, творишь, любишь и теряешь любимых людей, все больше ускользаешь от смерти. После каждого нового удара, поразившего тебя, после каждого нового произведения, рожденного тобою, все дальше уходишь от самого себя, укрываясь в творении, созданном тобою, в душе, которую ты любил и которая покинула тебя. В конце концов Рим уже оказывается вне Рима; лучшая часть тебя уже вне тебя... Одна только Грация еще удерживала его по эту сторону стены. И вот она тоже... Теперь он уже недоступен для мира скорби.

Кристоф переживал период скрытой экзальтации. Он не ощущал уже тяжести вериг. Он ничего уже не ждал. Ни от чего больше не зависел. Он был свободен. Борьба окончилась. Выйдя из зоны сражений, из круга, где царил бог героических схваток, Dominus Deus Sabaoth <sup>2</sup>, он смотрел, как во мраке под его ногами угасает пламя Непалимой купины. Как она уже далека! Когда она озарила его путь, Кристофу казалось, что он почти достиг вершины. Но какой огромный путь он прошел с той поры! И все-таки до вершины еще далеко. Он никогда не достигнет ее (теперь он это понимал), даже если бы ему пришлось шагать целую вечность. Но когдаходишь в круг света и знаешь, что не оставил позади любимых и близких, то и вечность кажется мигом, если идешь рядом с ними.

Он не принимал никого. Никто его не навещал. Жорж сразу израсходовал все сострадание, на которое только был способен: вернувшись домой, он успокоился и

---

<sup>1</sup> «...Сын, ведь это

Стена меж Беатриче и тобой» (итал.). — Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XXVII. — Прим. ред.

<sup>2</sup> Господь бог Саваоф (лат.).

на другой день уже не думал больше о Кристофе. Колетта уехала в Рим. Эмманюэль ничего не знал и с присущей ему обидчивостью сердился и молчал из-за того, что Кристоф не отдал ему визита. Ничто не нарушало немой беседы, которую Кристоф вел в течение многих дней с той, кого он нес теперь в своей душе, подобно тому как беременная женщина несет свой драгоценный груз. Это были волнующие беседы, которые нельзя передать никакими словами. Даже музыка с трудом могла рассказать о них. Когда сердце было переполнено, переполнено до краев, Кристоф неподвижно, закрыв глаза, слушал, как оно пело. Или, часами сидя за роялем, предоставлял говорить своим скользким по клавишам пальцам. В течение этого времени он импровизировал больше, чем когда-либо в жизни. Но не записывал своих мыслей. К чему?

Когда через несколько недель он снова начал выходить и встречаться с людьми, причем никто из его друзей, кроме Жоржа, даже не подозревал о том, что произошло, дух импровизации еще некоторое время владел им. Он посещал Кристофа в часы, когда тот меньше всего ожидал его. Однажды вечером у Колетты Кристоф сел за рояль и играл около часа, целиком отдавшись музыке, забыв, что в гостиной полно равнодушных людей. Но они отнюдь не испытывали желания смеяться. Эти бурные импровизации покоряли и потрясали их. Даже у тех, кто не понимал их смысла, сжималось сердце; а Колетта прослезилась. Кончив играть, Кристоф внезапно обернулся и, увидя взволнованные лица, пожал плечами и рассмеялся.

Он дошел до той грани, когда скорбь становится силой, силой, которую укрощают. Не скорбь владела им, а он владел скорбью; она могла сколько угодно метаться и сотрясать прутья; он держал ее за решеткой.

К этому периоду относятся самые глубокие, самые лучшие произведения Кристофа — сцена из Евангелия, которую Жорж тотчас же узнал:

«*Mulier, quid ploras?*» — «*Quia tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum*».

Et cum haec dixisset conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem: et non sciebat quia Jesus est<sup>1</sup>; ряд трагических *Lieder* на текст испанских народных *cantares*<sup>2</sup>, в том числе мрачная, любовная погребальная песня, подобная зловещим вспышкам пламени:

Quisilra ser el sepulcro  
Donde à ti te han de enterrar,  
Para tenerte en mis brazos  
Por toda la eternidad...

(Я хотел бы быть гробницей, где ты будешь почитать, чтоб века в своих объятьях я бы мог тебя держать...) — и две симфонии, под названием «Остров покоя» и «Сон Сципиона», где глубже, чем в каких-либо других произведениях Жан-Кристофа Крафта, выражаются и сочетаются лучшие стороны музыкального творчества его времени: нежная и мудрая, вся в тенистых излучинах, мысль Германии, страстная мелодичность Италии, живой ум Франции, богатый тонкими ритмами и гармоническими оттенками.

Этот «восторг, порожденный отчаянием в минуту великой утраты», длился один-два месяца, потом Кристоф снова обрел свое место в жизни, вступил в нее уверенной поступью, сильный духом. Дуновение смерти развеяло последние туманы пессимизма, сумрак стоической души и фантасмагории мистической светотени. Радуга, сияя, взметнулась между уходящих туч. Око неба, чистое, словно омытое слезами, улыбалось сквозь облака. То был тихий вечер в горах.

---

<sup>1</sup> «Жена, что плачешь?» — «Как же, ведь господа моего унесли, и я не знаю, где положили его». Сказавши это, она обернулась и увидела Иисуса, стоящего за ее спиной, но не узнала, что это Иисус (лат.).

<sup>2</sup> песен (исп.).

## Часть четвертая

Пожар, назревавший в лесу Европы, начал разгораться. Тщетно пытались его погасить в одном месте, — он тотчас вспыхивал в другом; в клубах дыма и дожде искр он перекидывался с места на место, охватывая пламенем сухой кустарник. Уже на Востоке происходили стычки авангардов — предвестники великой войны народов. Вся Европа, еще накануне скептически настроенная и равнодушная, подобная мертвому лесу, стала добычей огня. Жажда битв овладела умами людей. В любую минуту могла разразиться война. Ее тушили, она снова вспыхивала. Самый ничтожный предлог являлся пищей для нее. Мир чувствовал себя во власти случая, который может привести к всеобщей схватке. Мир ждал. Даже самых миролюбивых угнетало ощущение неизбежности войны. А идеологи ее, скрываясь за широкой спиной циклопа Прудона, прославляли ее как... благороднейшее из деяний человеческих.

Так вот к чему должно было привести физическое и моральное возрождение рас Запада! К этой кровавой бойне устремляли народы порывы страстной веры и бурной деятельности. Только наполеоновский гений мог бы направить это слепое течение к определенной и ясной цели. Но такого гения действия не было нигде во всей Европе. Казалось, что народы избрали себе в руководители самых ограниченных людей. Разум потерял свою власть. Оставалось только отдаться на волю течения. Так поступали и правители и народы. Европа походила на громадный военный лагерь накануне сражения,

Кристоф вспомнил такое же тревожное ожидание; тогда рядом с ним было озабоченное лицо Оливье. В ту пору призрак войны оказался лишь грозовой тучей, которая пронеслась мимо. Теперь она нависла над всей Европой. Но и в сердце Кристофа тоже произошла перемена. Он не мог больше принимать участия в этой ненависти народов. Он пребывал в таком же душевном состоянии, как Гёте в 1813 году. Разве можно сражаться, не чувствуя ненависти? Разве можно ненавидеть, не будучи молодым? Ненависть — это уже пройденный этап. Какой же из этих великих народов-соперников менее дорог ему? Он научился отдавать должное каждому из них, он знал, чем им обязан мир. Когда человек достигает известного предела, «для него не существует больше различия наций, и он ощущает счастье или горе соседних народов как свое собственное». Грозовые тучи лежат у его ног. А вокруг только небо — «необъятное небо, где парят орлы».

И все-таки иногда Кристофа беспокоила неприязнь окружающих. В Париже ему слишком давали почувствовать, что он принадлежит к враждебному народу; даже его любимец Жорж не отказал себе в удовольствии и выложил ему свое отношение к Германии, которое очень огорчило Кристофа. Тогда он решил удалиться; предложением было желание повидаться с дочерью Грации; на некоторое время он уехал в Рим. Но и там обстановка была не спокойнее. Страшная чума национальной гордыни распространилась и здесь. Она преобразила характер итальянцев. Равнодушные и беспечные люди, которых Кристоф знал прежде, теперь мечтали только о военной славе, о сражениях, о победах, о римских орлах, парящих над песками Ливии; им казалось, что близятся времена императорского Рима. Забавнее всего, что самые противоположные партии — социалисты и клерикалы — точно так же как и монархисты, искренним образом разделяли это безумие, не допуская мысли, что они изменяют своему делу. Из этого видно, как ничтожна роль политики и человеческого разума, когда грозные эпидемические страсти охватывают народы. Им, этим страстям, даже не приходится вытеснять личные пристрастия: они пользуются ими; все устремляется к одной цели. В эпохи актив-



ного действия всегда было так. В армии Генриха IV, как и в Совете при Людовике XIV, создавшем величие Франции, насчитывалось столько же разумных и убежденных людей, сколько и тщеславных, корыстных, пошлых эпикурейцев. Янсенисты и вольнодумцы, пуритане и прожигатели жизни, угождая своим инстинктам, все служили одному и тому же делу. В предстоящих войнах несомненно будут сражаться рядом интернационалисты и пацифисты, убежденные, как и их предки времен Конвента, что они воюют во имя блага народа и торжества мира!

Насмешливо улыбаясь, Кристоф смотрел с террасы Яникульского холма на пестрый и в то же время гармоничный город — символ вселенной, над которой он господствовал: обгорелые развалины, фасады в стиле барокко, современные сооружения, кипарисы, сплетающиеся с розами, — все века, все стили, слившиеся в мощном и стройном единстве под светочем разума. Так разум должен излучать порядок и свет на охваченную борьбой вселенную.

Кристоф недолго пробыл в Риме. Древний город производил на него слишком сильное впечатление. Он боялся его. Чтобы лучше проникнуться этой гармонией, он должен был слушать ее издали; он чувствовал, что если задержится, то этот город засосет его, как засасывал многих людей его расы. Время от времени он наезжал в Германию. Но в конечном счете и несмотря на неизбежность франко-немецкого конфликта, его всегда больше привлекал Париж. Ведь там живет Жорж, его приемный сын. Но не одно только чувство руководило Кристофом. Были и другие, не менее веские, соображения чисто интеллектуального порядка, влиявшие на него. Художнику, который привык жить полной духовной жизнью и горячо откликаться на все страсти, волнующие великую семью народов, трудно было снова привыкнуть к жизни в Германии. И там встречалось немало художников. Но им не хватало воздуха. Они были оторваны от своего народа. Народ не интересовался ими, иные заботы, бытовые или социальные, поглощали общественную мысль. Поэты, полные презрения и раздражения, замыкались в своем искусстве, котлым пренебрегал народ; из гордости они порывали последние нити, связывавшие их с жизнью

масс и писалн только для избранных. Они превратились в кучку вырождающихся аристократов, талантливых, утонченных, но бесплодных, которая в свою очередь дробилась на соперничающие между собою кружки пошлых жрецов искусства; они задыхались в своем тесном загоне и, не имея сил расширить его, с остервенением рыли в глубину, копая и перекапывая землю, пока она совсем не истощилась. Тогда они предались своим анархическим мечтам, даже не потрудившись согласовать их между собою. Каждый топтался на месте в тумане. У них не было общего светильника. Каждый должен был черпать свет в самом себе.

Там же, по другую сторону Рейна, у западных соседей, наоборот, над искусством то и дело проносились мощные ветры коллективных страстей и народных бурь. И, возвышаясь над равниной, точно Эйфелева башня над Парижем, светил вдали неугасимый светильник классической традиции, завоеванной веками трудов и славы, передаваемой из рук в руки, и эта традиция, не порабощая и не подавляя ум, указывала ему путь, проторенный веками, и объединяла весь народ под своим светочем. Многие немцы, словно заблудшие во мраке птицы, неслись к этому далекому маяку. Но разве во Франции подозревают о той глубокой симпатии, которая привлекает к ней столько благородных сердец соседнего народа, о множестве честных рук, протянутых к ней, которые не повинны в преступной политике... И вы, немецкие братья, вы тоже не видите и не слышите нас. Мы говорим вам: «Вот наши руки. Наперекор лжи и ненависти нас никогда не разлучат. Мы нуждаемся в вас, а вы нуждаетесь в нас, чтобы поддерживать величие нашей мысли и наших народов. Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».

Так думал Кристоф. Он сознавал, в какой мере оба народа дополняют друг друга, как их ум, их искусство, их деятельность станут немошны и хромы без взаимной поддержки. Он, уроженец Рейнской области, где сливаются в единый поток обе цивилизации, с детства ощущал необходимость этого союза. В течение всей жизни усилия

его гения были бессознательно направлены на то, чтобы поддержать равновесие этих двух могучих крыльев. Чем богаче была его германская фантазия, тем сильнее нуждался он в ясной четкости латинского разума. Вот почему Франция была ему так дорога. Он вкусил здесь радость самопознания и научился обуздывать себя. Только здесь он был по-настоящему самим собой.

Он примирился с теми, кто пытался ему вредить. Он усваивал чуждую ему энергию, сочетая ее со своей. Мощный, здоровый дух поглощает все силы, даже враждебные ему, и претворяет их в свою плоть. А со временем наступает пора, когда человека больше всего привлекает то, что меньше всего похоже на него, ибо это дает ему более обильную пищу.

В сущности Кристофу доставляли большее удовольствие произведения иных композиторов — его соперников, чем творчество его подражателей; ибо у него были и подражатели, которые, к великому отчаянию Кристофа, выдавали себя за его учеников. Славные ребята, преисполненные почтения к нему, трудолюбивые, достойные, наделенные всеми добродетелями. Кристоф дал бы много, чтобы полюбить их музыку, но (таков уж его удел!) не был на это способен: он считал ее ничтожной. В тысячу раз больше его прельщало творчество музыкантов, которые ему лично были неприятны и представляли в искусстве враждебные направления... Что ж из этого? Они по крайней мере живут! А жизнь сама по себе такая добродетель, что тот, кто лишен ее, если даже он наделен всеми прочими добродетелями, никогда не будет настоящим человеком, потому что он не совсем человек. Кристоф шутя заявлял, что он считает своими учениками только тех, кто борется против него. А когда какой-нибудь молодой композитор говорил ему о своем музыкальном призвании и, желая расположить в свою пользу, начинал превозносить его талант, Кристоф спрашивал:

— Значит, моя музыка удовлетворяет вас? Именно так вы намерены выражать вашу любовь или ненависть?

— Да, учитель.

— Тогда лучше молчите. Вам, видно, нечего сказать.

Это отвращение к покорным, к рожденным для пови-

новения, эта потребность воспринимать новые мысли влекли Кристофа главным образом в те круги, где придерживались взглядов, резко противоположных его собственным. Он имел друзей среди тех, для кого его искусство, его идеалистические взгляды, его моральные принципы были мертвой буквой; они по-иному смотрели на жизнь, любовь, брак, семью, на все общественные взаимоотношения; впрочем, это были хорошие люди, но, казалось, что они принадлежат к эпохе других моральных воззрений: терзания и сомнения, на которые Кристоф убил часть жизни, были им непонятны. Тем лучше для них! Кристоф вовсе не собирался им это объяснять. Он не требовал, чтобы окружающие разделяли его убеждения, подкрепляя тем самым его собственные; в своих взглядах он и без того был уверен. Он требовал, чтобы его познакомили с другими воззрениями, заставили полюбить людей другой породы. Любить и познавать все больше. Наблюдать и учиться видеть. Теперь он не только допускал чуждый ему образ мыслей, против которого когда-то боролся, но даже радовался этому, ибо, по его мнению, это умножало богатство вселенной. Кристоф любил Жоржа особенно за то, что тот воспринимал жизнь не так трагически, как он сам. Человечество было бы слишком бедным, слишком серым, если бы оно рядилось в однообразную форму суровой морали и героического долга, которыми вооружился Кристоф. Человечеству необходима радость, беззаботность, дерзкая непочтительность ко всякого рода кумирам, даже самым священным. Да здравствует «галльское остроумие, оживляющее землю!» Скептицизм и вера равно необходимы. Скептицизм, подтачивая вчерашнюю веру, освобождает место для завтрашней веры. Все проясняется для человека, по мере того как он удаляется от жизни: точно так же на прекрасной картине, если смотреть издали, сливаются в чудесной гармонии различные краски, которые вблизи режут глаз.

Глаза Кристофа открылись на бесконечное разнообразие как материального, так и морального мира. Это была одна из его главных побед после первого путешествия в Италию. В Париже он подружился преимущественно с художниками и скульпторами; он считал, что они лучше

всего выражают французский гений. С какой победоносной дерзостью они схватывают и запечатлевают мимолетное движение и едва уловимые краски! Они срывают покровы, окутывающие жизнь, заставляя сердце трепетать от восторга. Какие неисчерпаемые богатства таятся в капельке света, в мгновении жизни для того, кто умеет видеть. Разве можно сравнить с этими высшими наслаждениями ума суетный шум споров и грохот войн! Но эти споры и даже самые войны тоже являются частью великолепного зрелища. Нужно все охватить и мужественно, радостно бросить в пылающее горнило своего сердца силы утверждающие и силы отрицающие, врагов и друзей, весь металл жизни. В конце концов в нас отливается статуя, божественный плод нашего духа, и все, что способствует ее украшению, прекрасно, даже если это стоит нам жертв. Разве важно, кто творец? Реально только творение... Враги, стремящиеся нам вредить, мы недосыгаемы, мы неуязвимы для ваших ударов! Вы будете впускать. Я давно уж не здесь!

Музыка Кристофа приобрела более спокойные формы. То были уже не весенние грозы, которые еще так недавно налетали, разражались и внезапно утихали. То были белые летние облака, снежные и золотые горы, огромные лучезарные птицы, медленно парящие в вышине и застилающие небо... Творчество. Нивы, зреющие под спокойным августовским солнцем...

Сперва смутное и глубокое оцепенение, тайная радость набухших виноградных кистей, тучного колоса, беременной женщины, вынашивающей свой зрелый плод. Гудение органа, жужжание пчел в глубине улья... Из этой тревожной музыки, отливающей золотом, подобно сотам осеннего меда, постепенно выделяется ведущий ритм, вырисовывается хоровод планет, они начинают вращаться.

Тогда вступает воля. Она вскакивает на спину проносящейся с ржанием мечты и сжимает ее бока коленями. Ум постигает законы увлекающего его ритма; он укрощает мятежные силы, указывая им путь и цель, к которой стремится. Возникает симфония разума и инстинкта.

Мрак проясняется. Вдоль уходящей длинной лентой догори светятся в определенных точках огоньки маяков, которые в свою очередь станут в создаваемом творении зародышами маленьких планетных миров, прикованных к центру их солненной системы.

Основные контуры картины уже набросаны. Теперь она начинает возникать из смутного рассвета. Все четче вырисовывается гармония красок, силуэты фигур. Чтобы довести произведение до конца, напрягаются силы всего существа. Курильница памяти открыта и издает благоухание. Разум дает волю чувствам и умолкает, предоставляя им безумствовать; но, притаившись рядом, он подстерегает их, выслеживая свою добычу.

Все готово; группа строителей из материалов, похищенных у чувств, возводит здание, начерченное духом. Великому архитектору нужны искусные рабочие, знающие свое ремесло и не щадящие сил. Постройка собора подходит к концу.

«И взглянул господь на дело рук своих. И увидел, что оно еще несовершенно».

Взор мастера охватывает весь ансамбль в целом, и рука его завершает гармонию...

Мечта осуществлена. *Te deum...*<sup>1</sup>

Белые летние облака — огромные лучезарные птицы — медленно парят в вышине, и их распростертые крылья застилают все небо.

И все-таки Кристоф еще был далек от того, чтобы ограничить свою жизнь одним искусством. Такого рода люди не могут обойтись без любви; и не только без той ровной любви, которую душа художника изливает на все сущее; нет, ему необходимо было кого-нибудь предпочитать, необходимо было отдаваться избранным им существам. Это — корни дерева. Благодаря им обновлялась кровь его сердца.

Кровь Кристофа еще далеко не иссякла. Ее оживляла любовь, которая была его самой большой радостью.

---

<sup>1</sup> Тебя, бога (хвалим) (лат.).

Двойная любовь — к дочери Грации и к сыну Оливье. Он сочетал их в своих мыслях. Он мечтал соединить их в жизни.

Жорж и Аврора встретились у Колетты. Аврора жила в доме своей родственницы. Часть года она проводила в Риме, остальное время в Париже. Ей было восемнадцать лет, Жоржу на пять лет больше. Высокая, стройная, изящная, с маленькой белокурой головкой, широким смуглым лицом, легким пушком над губой, светлыми, всегда смеющимися глазами, которые не слишком утруждали себя размышлениями, несколько тяжелым подбородком, прекрасными, полными и сильными загорелыми руками и высокой грудью, она производила впечатление веселой, крепкой и гордой девушки. Не очень развитая умственно, не слишком сентиментальная, она унаследовала от матери ее беспечную лень. Она могла спать беспробудно по одиннадцати часам в сутки. Остальное время она слонялась полусонная и беззаботно смеялась. Кристоф называл ее *Dornröschen* — спящей красавицей. Она напоминала ему маленькую Сабину. Она напевала, ложась спать, она пела, просыпаясь, и смеялась без всякой причины, милым детским смехом, порою захлебываясь от хохота. Неизвестно, чем она занималась по целым дням. Все усилия Колетты придать ей тот искусственный внешний лоск, который так легко, подобно лаку, пристает к молодым девушкам, были тщетны: лак не держался. Она ничего не усваивала; тратила месяцы на то, чтобы прочитать книгу, даже самую интересную, и неделю спустя уже не помнила ни ее заголовка, ни содержания. Она, нисколько не смущаясь, делала орфографические ошибки и, говоря о серьезных вещах, совершала презабавные промахи. Она действовала освежающе своей молодостью, жизнерадостностью, даже своими недостатками, отсутствием умственных интересов, легкомыслием, которое порой граничило с равнодушием, и своим наивным эгоизмом. Она всегда была такая искренняя, непосредственная. Но при всем том эта простодушная и ленивая девушка умела по временам быть наивно кокетливой; тогда она ловила на удочку зеленых юнцов, рисовала с натуры, играла ноктюрны Шопена, рассуждала о стихах, которых никогда не читала, вела

романтические беседы и носила не менее романтические шляпы.

Кристоф, наблюдая за ней, посмеивался исподтишка. Он питал к Авроре отцовскую нежность, снисходительную и насмешливую. Но он ощущал к ней также тайную и благоговейную любовь, обращенную к той, кого он любил когда-то и которая снова предстала перед ним в оболочке юности, чтобы стать любовью другого, а не его. Никто не знал глубины его чувства. Только одна Аврора догадывалась об этом. С самого детства она привыкла видеть Кристофа подле себя; она считала его как бы членом семьи. В ту пору, страдая от ревности из-за того, что ее любят меньше, чем брата, она инстинктивно тянулась к Кристофу. Она угадывала его переживания, близкие и понятные ей, а он видел ее огорчения, и, никогда не жалуясь, они молча утешали друг друга. Впоследствии она узнала о любви ее матери и Кристофа; и ей казалось, что она посвящена в тайну, хотя они никогда не делали ее своей поверенной. Она понимала смысл поручения, данного ей умирающей Грацией, и перстня, который Кристоф носил теперь на пальце. Таким образом, между ними существовали тайные узы. Ей не требовалось яснее разобраться в этом, чтобы ощутить их во всей сложности. Она была искренно привязана к своему старому другу, хотя никогда не могла сделать над собой усилие, чтобы сыграть или прочесть какое-нибудь из его произведений. Она была довольно хорошей пианисткой, но даже не полюбостыствовала разрезать страницы посвященной ей Кристофом партитуры. Ей нравилось приходить к нему и запросто беседовать.

Она стала приходить чаще, когда узнала, что может встретить здесь Жоржа Жанена.

И Жорж, со своей стороны, никогда прежде не проявлял такого интереса к обществу Кристофа.

Между тем молодые люди очень долго не подозревали о своих подлинных чувствах. Сначала они насмешливо посматривали друг на друга. Они были такие разные. Один — ртуть, а другая — стоячая вода. Но довольно скоро ртуть стала казаться более спокойной, а стоячая вода начала оживать. Жорж критиковал манеру одеваться Авроры, ее итальянский вкус,



неумение сочетать тона и некоторое пристрастие к ярким цветам. Аврора любила бесить Жоржа, смешно передразнивая его несколько вычурную и торопливую манеру говорить, и так, насмехаясь друг над другом, каждый из них получал удовольствие... то ли от шуток, то ли от бесед. Они даже втягивали в спор Кристофа, который, не противореча им, из лукавства перебрасывал маленькие стрелы от одного к другому. Делая вид, что насмешки ничуть их не задевают, они вскоре обнаружили, что относятся к ним отнюдь не безразлично; и, не будучи в состоянии скрыть свою досаду, они, особенно Жорж, при первой же встрече вступали в оживленную перепалку. Уколы были легкие; они боялись причинить боль, а рука, наносившая их, была так дорога, что им доставляло больше удовольствия получать удары, чем наносить их. Они внимательно наблюдали друг за другом, стремясь обнаружить недостатки, но находили одни только достоинства. Однако ни один не желал в этом сознаться. Каждый из них, наедине с Кристофом, уверял, что не выносит другого. И тем не менее они пользовались любым поводом, чтобы встретиться.

Однажды, когда Аврора, сидя у своего старого друга, пообещала ему, что придет в ближайшее воскресенье утром, Жорж, по своему обыкновению ворвавшийся вихрем, сказал Кристофу, что навестит его в воскресенье днем. В воскресенье утром Кристоф тщетно прождал Аврору. В час, назначенный Жоржем, она явилась, ссылаясь на то, что ей помешали и она не могла прийти раньше. Она даже сочинила по этому поводу маленькую историю. Кристоф, которого забавляла эта наивная ложь, сказал:

— Жаль. Ты застала бы здесь Жоржа; он приходил, мы завтракали вместе. Он занят и не может быть днем.

Аврора, расстроенная, не слушала больше Кристофа. А он, как назло, был в отличном настроении и говорил без умолку. Она рассеянно отвечала и чуть ли не дулась на него. Раздался звонок. Пришел Жорж. Аврора была поражена. Кристоф, улыбаясь, подмигнул. Она поняла, что он подшутил над ней, рассмеялась и покраснела. Он лукаво погрозил ей пальцем. Вдруг она порывисто бросилась к нему и обняла его. Кристоф прошептал ей на ухо:

— Birichina, ladroncella, furbetta<sup>1</sup>.

Она зажала ему рот рукой, чтобы заставить замолчать.

Жорж не понимал, чем вызваны этот смех и объятия. Его изумленный и даже несколько возмущенный вид только усиливал веселье Кристофа и Авроры.

Так Кристоф содействовал сближению детей. А когда это ему удалось, он почти упрекал себя. Любя их обоих одинаково, он судил Жоржа более строго, зная его слабости, и идеализировал Аврору. Кристоф чувствовал большую ответственность за ее счастье, чем за счастье Жоржа, ибо он считал Жоржа в какой-то мере своим сыном, частицей себя самого. Он спрашивал себя, уж не совершает ли он преступление, давая невинной Авроре такого, далеко не невинного, спутника.

Но как-то Кристоф случайно проходил мимо беседки, где сидели молодые люди (это было вскоре после их обручения), и у него сжалось сердце, когда он услышал, что Аврора шутя расспрашивает Жоржа об одном из его любовных приключений, а Жорж охотно рассказывает ей об этом. Из других обрывков разговоров, которые они отнюдь не скрывали, Кристофу стало ясно, что Аврора гораздо снисходительнее относится к моральным воззрениям Жоржа, нежели сам Кристоф. Хотя они были сильно влюблены друг в друга, чувствовалось, что они совсем не считают себя связанными навеки; к вопросам любви и брака они относились свободно; в этом была известная красота, но она резко противоречила устаревшим взглядам на взаимную верность *usque ad mortem*<sup>2</sup>. И Кристоф смотрел на них с некоторой грустью... Как они уже далеко от него! Как быстро плывет лодка, уносящая наших детей! Терпение! Придет день, когда все окажутся в одной гавани.

А пока лодка, несколько не заботясь о курсе, носилась по воле ветров. Было бы совершенно естественно, если бы дух свободы, стремясь изменить нравы того времени, утвердился также и в других областях умственной жизни и практической деятельности. Но ничуть не бы-

---

<sup>1</sup> Плутовка, разбойница, шельма (итал.).

<sup>2</sup> до самой смерти (лат.).

вало; человеческая природа не замечает противоречий. И в то самое время как нравы становились все свободнее, разум все более закрепощался, требуя, чтобы религия надела на него свой хомут. Эта двойственность, это движение в противоположных направлениях проявлялись с поражающим отсутствием логики в одних и тех же людях. Жоржа и Аврору увлекло новое католическое течение, захватившее часть светских людей и интеллигенции. Забавно было смотреть, как Жорж, бунтарь по природе, отъявленный безбожник, никогда не веривший ни в бога, ни в черта, — настоящий молодой галл, издевающийся над всем, — вдруг заявил, что истина в религии. Ему необходима была какая-нибудь истина; а эта совпадала с его потребностью в деятельности, с его атавизмом французского буржуа и с некоторой усталостью от свободы. Молодой жеребенок набегался вволю; ему было приятно самому впрячь себя в плуг своей расы. Несколько друзей подали пример — этого было достаточно. Жорж, весьма чувствительный к малейшему атмосферному давлению окружавших его идей, попался одним из первых. И Аврора последовала за ним, как пошла бы за ним куда угодно. Тотчас же у них появилась уверенность в своей правоте и презрение к тем, кто думает иначе, чем они. О, ирония! Эти легкомысленные дети стали истинно верующими, в то время как Грация и Оливье, при всей их нравственной чистоте, серьезности, пламенном стремлении к идеалу, не могли обрести веру, несмотря на желание.

Кристоф с любопытством наблюдал эту духовную эволюцию. Он не пытался бороться с ней по примеру Эмманюэля, чье свободомыслие было возмущено возвращением старого врага. К чему бороться с мимолетным ветром? Надо подождать, пока он утихнет. Человеческий ум утомлен. Он совершил недавно гигантское усилие. Его клонило ко сну; и, подобно ребенку, уставшему после целого дня беготни, перед сном он произносит молитву. Врата фантазии снова распахнулись; вслед за религией над умственной жизнью Запада пронеслись теософические, мистические, эзотерические, оккультистские влияния. Даже философия не устояла. Боги мысли — Бергсон, Уильям Джемс — пошатнулись. В самой науке обнаружили симптомы умственного переутомления. Пусть это

пройдет. Дадим передохнуть. Завтра ум проснется еще более деятельным, живым и свободным... После того как хорошо поработаешь, полезно поспать. У Кристофа никогда не хватало на это времени, но он был счастлив за своих детей, которые наслаждаются вместо него отдыхом, душевным покоем, твердой верой и непоколебимой уверенностью в осуществлении своей мечты. Он не хотел и не мог бы поменяться с ними. Но про себя он думал, что скорбь Грации и тревоги Оливье нашли умиротворение в их детях, и хорошо, что это так.

«Все, что выстрадал я, мои друзья и множество неведомых мне людей, живших до нас, — все для того, чтобы эти двое детей познали радость... Ту радость, для которой была создана ты, Антуанетта, и в которой тебе было отказано! Если бы несчастные могли заранее вкусить то счастье, что принесет когда-нибудь их самопожертвование!»

Зачем же пытаться оспаривать это счастье? Зачем желать, чтобы другие были счастливы на наш манер, пусть они будут счастливы по-своему. Он только смиренно просил, чтобы Жорж и Аврора не слишком презирали тех, кто, подобно ему, не разделяет их веры.

Но они даже не снисходили до споров с ним. Казалось, они говорили про себя:

«Ему этого не понять».

Кристоф был для них прошлым. И, ничуть не таясь, они не придавали прошлому большого значения. Им случалось иногда наивно обсуждать между собой, что они будут делать потом, когда Кристофа «уже не станет». И все-таки они очень любили его. Эти ужасные дети, которые растут и оплетают нас, как лианы! Сила природы, спешащая прогнать нас.

«Уходи! Убирайся! Уступи место! Настал мой черед!...»

У Кристофа, который понимал их немой язык, возникало желание сказать им:

«Не торопитесь так. Мне хорошо здесь. Помните, что я еще жив».

Его забавляла их наивная дерзость.

Однажды, когда они особенно подавляли его своим высокомерием, он добродушно заявил:

— Скажите прямо, что я старый дурак.

— Да нет, мой друг, — сказала Аврора, смеясь от всего сердца. — Вы лучший из людей, но есть вещи, которых вы не понимаете.

— И которые понимаешь ты, девочка! Подумать только, какая премудрая особа!

— Не насмехайтесь надо мной. Я мало что знаю. Но зато Жорж знает все.

Кристоф улыбнулся:

— Да, ты права, маленькая. Тот, кого любишь, всегда все знает.

Но Кристофу было гораздо легче подчиняться их умственному превосходству, чем слушать их музыку. Они подвергали его тяжкому испытанию. Когда они приходили, рояль не знал ни минуты покоя. Казалось, что у них, как у птиц, любовь возбуждает желание петь. Но они были далеко не так искусны в этом, как птицы. Аврора не тешила себя иллюзиями насчет своего таланта; другое дело, когда речь шла о женихе. Она не видела никакой разницы между игрой Жоржа и Кристофа; возможно, она даже предпочитала исполнительскую манеру Жоржа. А тот, несмотря на свойственную ему иронию, готов был позволить убедить себя в этом в угоду своей возлюбленной. Кристоф не возражал: он не без лукавства поддакивал девушке и лишь изредка, выведенный из терпения, убегал к себе в комнату, громче, чем обычно, хлопнув дверью. С доброй и снисходительной улыбкой он слушал, как Жорж играет на рояле «Тристана». Бедный малый передавал эти бурные страсти с добросовестной старательностью и милой слащавостью молодой девушки, преисполненной лучших намерений. Кристоф смеялся про себя. Он не хотел объяснять молодому человеку причину своего смеха и молча обнимал его. Он очень любил его именно таким. Быть может, за это он даже любил его еще больше. Бедный мальчик! О, тщеславие искусства!

Кристоф часто беседовал о «своих детях» (так он называл их) с Эмманюэлем, который любил Жоржа и шутил, уговаривал Кристофа уступить ему юношу. Ведь у него

есть Аврора. Это несправедливо, он захватил себе все сразу.

В парижском обществе об их дружбе чуть ли не сплетали легенды, хотя они держались особняком. Эмманюэль загорелся страстью к Кристофу. Из гордости он не хотел этого показывать, скрывая свое чувство под внешней резкостью, а зачастую даже грубостью. Но Кристофа нельзя было провести. Он знал, что Эмманюэль предан ему теперь всем сердцем, и очень ценил это. Не проходило и недели, чтобы они не виделись раза два-три. Когда Кристоф или Эмманюэль заболели и сидели дома, они писали друг другу. Казалось, эти письма приходили из далеких краев. Внешние события интересовали их меньше, чем любые достижения ума в области науки и искусства. Они жили в мире своих идей, размышляли об искусстве или выискивали среди хаоса фактов крохотный едва заметный проблеск, намечающийся в истории человеческой мысли.

Чаще всего Кристоф навещал Эмманюэля. Хотя после недавно перенесенной болезни он чувствовал себя ничуть не лучше своего друга, он привык считать, что к здоровью Эмманюэля следует относиться более бережно. Кристоф уже не без труда взбирался на шестой этаж к Эмманюэлю, и на лестнице ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Ни тот, ни другой не заботились о своем здоровье. Несмотря на больные бронхи и припадки удушья, оба были заядлыми курильщиками. Это одна из причин, из-за которой Кристоф предпочитал, чтобы их свидания происходили у Эмманюэля, а не у него, так как Аврора воевала с ним из-за его страсти к курению, а он прятался от нее. Случалось, что у обоих друзей во время беседы начинался приступ кашля; им приходилось прекращать разговор, и они, смеясь, поглядывали друг на друга, как провинившиеся школьники, а иной раз один из них читал наставление тому, кто кашлял; но как только приступ проходил, другой начинал горячо уверять, что дым здесь ни при чем.

На письменном столе Эмманюэля, свернувшись на свободном от рукописей пространстве, лежал серый кот, серьезно и с укоризной глядя на курильщиков. Кристоф говорил, что это их живая совесть, и, чтобы заглушить

ее, надевал на кота свою шляпу. Это был самый простой тщедушный кот, которого Эмманюэль подобрал как-то на улице, едва живого от побоев; он так и не смог вполне оправиться от жестокого обращения, мало ел, почти не резвился, двигался совершенно бесшумно и следил за хозяином кроткими, умными глазами; он тосковал, когда Эмманюэля не было дома, блаженствовал, когда лежал на столе подле него, и отвлекался от своих размышлений лишь для того, чтобы целыми часами восторженно созерцать клетку, где порхали недостижимые для него птицы; он вежливо мурлыкал при малейшем признаке внимания, терпеливо выносил капризные ласки Эмманюэля и несколько грубоватые поглаживания Кристофа, стараясь не царапаться и не кусаться. Он был тощ, один глаз у него слезился; он фыркал, и если бы мог говорить, то, разумеется, у него не хватило бы дерзости утверждать, как это делали оба друга, будто «дым здесь ни при чем»; но от них он сносил все и, казалось, думал:

«Ведь они люди, они не знают, что делают».

Эмманюэль привязался к нему, потому что находил сходство между судьбой этого больного животного и своей. Кристоф утверждал даже, что у них одинаковое выражение глаз.

— Почему бы и нет? — говорил Эмманюэль.

Окружающая среда влияет на животных. Они становятся похожи на своих хозяев. У кота какого-нибудь глупца совсем иной взгляд, чем у кота, принадлежащего умному человеку. Домашнее животное может стать добрым или злым, искренним или скрытным, сообразительным или тупым, не только в зависимости от того, чему его учит хозяин, но и от того, каков сам хозяин. Для этого даже не обязательно влияние людей. Окружающая обстановка накладывает на зверя свой отпечаток. Созерцание разумного делает взгляд животных осмысленным. Серый кот Эмманюэля гармонировал с больным хозяином и душной мансардой, которую озаряло парижское небо.

Эмманюэль стал мягче. Он был уже иным, чем в пору первого знакомства с Кристофом. Семейная трагедия глубоко потрясла его. Его подруга, которой в минуту раздражения он слишком явно дал почувствовать, как тяго-

тится ее любовью, внезапно исчезла. Он проискал ее всю ночь, охваченный мучительным беспокойством. Наконец, он нашел ее в полицейском участке, где ее задержали. Она хотела броситься в Сену; какой-то прохожий схватил ее за платье в ту минуту, когда она уже перешагнула через перила моста. Она отказалась сообщить свой адрес и свою фамилию, она хотела снова повторить свою попытку. Зрелище этой скорби удручало Эмманюэля; его мучила мысль, что, выстрадав так много из-за людей, он в свою очередь причиняет кому-то страдания. Он привел домой отчаявшуюся женщину и старался залечить рану, которую ей нанес, вернуть ревливой и требовательной подруге уверенность в его любви. Он подавлял вспышки возмущения и безропотно покорился этой всепоглощающей страсти, посвятив ей остаток жизни. Вся его духовная энергия устремилась к сердцу. Этот апостол великих деяний пришел к заключению, что существует только одно доброе деяние: не причинять зла. Его роль была сыграна. Казалось, Сила, руководящая великими человеческими приливами и отливами, лишь воспользовалась им как орудием, чтобы разнуздать действие. Выполнив приказ, он превратился в ничто: действие разворачивалось уже без него. Он наблюдал, как оно развивается, почти примирясь с несправедливостями по отношению к нему лично, но не мог покориться, когда речь шла о его вере. Хотя он был свободомыслящим, утверждал, что не признает никакой религии, и шутя называл Кристофа замаскированным клерикалом, у него был свой алтарь, как у всякого выдающегося ума, обожествляющего мечты, во имя которых он жертвует собой. Теперь алтарь опустел; и Эмманюэль жестоко страдал. Разве можно видеть без боли, как новое поколение попирает ногами священные идеи, которые с таким трудом восторжествовали, ради которых лучшие люди в течение целого века перенесли столько страданий! С какой жестокой слепотой нынешняя молодежь уничтожает все славное наследие французского идеализма, веру в Свободу, имевшую своих святых, своих мучеников, своих героев, любовь к человечеству, благородное стремление к братству народов и рас! Какое безумие заставляет их сожалеть о чудовищах, которых мы сразили, снова надевать на шею сброшенное нами ярмо,



призывать громкими криками царство Силы, разжигать ненависть и неистовство войны в сердце моей Франции!

— Не в одной только Франции, во всем мире, — насмешливо улыбаясь, возразил Кристоф. — Во всех странах от Испании до Китая бушует ураган. Нет больше уголка, где можно было бы укрыться от бури. Смотри, это просто забавно: даже моя Швейцария, и та становится шовинистической!

— Тебя утешает это?

— Конечно. Из этого видно, что такого рода бури вызваны не пагубными страстями отдельных людей, а невидимым богом, руководящим вселенной. Перед этим богом я научился склонять голову. Если я его не понимаю, то в этом моя вина, а не его. Постарайся его понять. Но кто из вас задумывается над этим? Вы живете сегодняшним днем, не заглядывая дальше ближайшего дорожного столба, и воображаете, что он отмечает конец пути; вы видите волну, уносящую вас, и не замечаете моря! Нынешняя волна — это вчерашняя волна, поток наших душ проложил ей дорогу. А нынешняя волна продолжит тропу для завтрашней и в свою очередь будет предана забвению, как забыта наша. Я не в восторге от современного национализма, но и не боюсь его: он пройдет со временем, он исчезает, он уже исчез. Это — только одна из ступеней лестницы. Взирайся на вершину! Это лишь передовой отряд наступающей армии. Слышишь, уже доносятся звуки флейт и барабанов!

(Кристоф стал барабанить по столу и разбудил кота; тот вскочил в испуге.)

...Каждый народ чувствует сегодня настоятельную потребность собрать свои силы и подвести итог, ибо наше столетие, благодаря взаимному обмену мыслями, благодаря огромному вкладу умов всего человечества, создающих мораль, науку, новую веру, преобразило народы. Пусть каждый человек произведет смотр своей совести, чтобы знать, кто он и каково его достоинство, прежде чем вместе с другими вступит в новый век. Приближается новая эра. Человечество собирается подписать новый договор с жизнью. Общество возродится на основе новых законов. Завтра воскресенье. Каждый подводит итог неделе, каждый убирает свое жилище и хочет навести в доме

чистоту, прежде чем предстать вместе с другими перед ликом общего божества и заключить с ним новый договор.

Эмманюэль смотрел на Кристофа, и в его глазах отражались мелькавшие перед ним видения. Когда Кристоф кончил, он некоторое время молчал, а затем произнес:

— Ты счастлив, Кристоф! Ты не видишь ночи.

— Я умею видеть в ночи, — сказал Кристоф. — Я достаточно долго прожил во мраке. Я старый филин.

Примерно к этому времени друзья стали замечать перемену в поведении Кристофа. Он часто бывал рассеян, как бы отсутствовал. Он не всегда слышал, когда к нему обращались. У него был сосредоточенный, счастливый вид. Когда шутили над его рассеянностью, он от всего сердца просил извинения. Иногда он говорил о себе в третьем лице:

— Крафт сделает это для вас...

или:

— Кристоф над этим здорово посмеется...

Те, кто плохо его знал, говорили:

— Какая самовлюбленность!

На самом деле было наоборот. Кристоф смотрел на себя как бы со стороны. Он дошел до такого состояния, когда даже перестает интересоваться борьба за прекрасное, ибо каждый, кто выполнил свой долг, полагает, что другие поступят так же и в конце концов, как говорит Роден, «прекрасное все-таки восторжествует». Злоба людская и несправедливость не вызывали в нем больше возмущения. Он говорил себе, смеясь: «Это противостоит природе, это значит, что жизнь во мне угасает».

И действительно, он уже не был так вынослив, как прежде. Малейшее физическое усилие, длинная прогулка или быстрая ходьба утомляли его. У него тотчас же начиналась одышка и боли в сердце. Иногда он вспоминал о своем старом друге Шульце. Он не говорил окружающим о своем нездоровье. К чему, не правда ли? Только причинишь им беспокойство, ведь этим не поможешь. Впрочем, он не придавал серьезного значения своему недомоганию. Гораздо больше, чем болезни, он боялся, что его заставят лечиться.

Под влиянием смутного предчувствия ему захотелось снова повидать родину. Он откладывал это намерение из года в год. Он говорил себе: «Вот в будущем году...» Но на этот раз он не стал откладывать.

Он уехал тайком, никого не предупредив. Путешествие получилось короткое. Кристоф не нашел ничего из того, что искал. Перемены, которые намечались во время его последнего пребывания, теперь уже были осуществлены: маленький городок превратился в большой промышленный центр. Старые дома были снесены. Исчезло кладбище. На месте фермы Сабини стоял завод и поднимались высокие трубы. Река окончательно затопила луга, где играл Кристоф в детстве. Одна улица (что за улица!), застроенная грязными лачугами, называлась его именем. Все прошлое умерло, даже сама смерть. Пусть будет так! Жизнь продолжается; быть может, другие маленькие Кристофы мечтают, страдают, борются в домишках этой улицы, носящей его имя.

На концерте в огромном Tonhalle<sup>1</sup> он услышал, как исполняли одно из его произведений, искажая и коверкая его мысль; он с трудом узнал себя. Пусть будет так! Плохо понятое, оно пробудит, быть может, к жизни новые силы. Мы посадили семя. Делайте, что хотите; насыщайтесь нами! Гуляя в сумерки среди полей, окружающих город, над которыми стелился густой туман, он размышлял о густом тумане, что скоро окутает его жизнь, о любимых существах, исчезнувших с лица земли и нашедших пристанище в его сердце, которых скоро поглотит надвигающаяся тьма, как и его самого... Пусть будет так! Пусть будет так! Я не боюсь тебя, ночь, ибо ты вынашиваешь солнце! Вместо одной угасшей звезды загораются тысячи новых. Подобно чаше кипящего молока, бездонное пространство переполнено светом. Тебе не уничтожить меня. От дыхания смерти снова вспыхнет огонь моей жизни.

На обратном пути из Германии Кристофу захотелось побывать в городе, где он встретился с Анной. С той поры как он покинул ее, он ничего не знал о ней и даже не осмеливался спрашивать. В течение ряда лет одно ее

---

<sup>1</sup> городском концертном зале (нем.).

имя вызывало в нем дрожь. Теперь он был спокоен, он ничего больше не боялся. Но вечером он сидел в номере гостиницы, откуда открывался вид на Рейн, и знакомая мелодия колоколов, оповещавших о завтрашнем празднике, воскресила в нем образы прошлого. От реки струился аромат далекой опасности, смутно доносившийся до него. Всю ночь он припоминал бывшее. Он чувствовал себя освобожденным от власти грозного Владыки, и это вызывало в нем сладостную печаль. Он так и не решил, что сделает завтра. На мгновение ему в голову пришла мысль (прошлое было так далеко!) пойти к Браунам. Но на следующий день у него не хватило мужества; он не рискнул даже спросить в гостинице, живы ли еще доктор и его жена. Он решил уехать.

Перед самым отъездом неудержимая сила толкнула его к храму, где молилась когда-то Анна; он стал за колонну, откуда мог видеть скамью, подле которой она обычно стояла на коленях. Он ждал, убежденный, что если она еще жива, то придет сюда.

И действительно, пришла женщина; он не узнал ее. Она была похожа на других: дородная, с полным лицом — равнодушным и жестким — и с двойным подбородком. На ней было черное платье. Она села на скамью и застыла. Казалось, она не молилась, ничего не слышала; она смотрела прямо перед собой. Ничто в этой женщине не напоминало той, кого ждал Кристоф. Лишь раза два-три она странным жестом как бы принималась разглаживать на коленях складки своего платья. Когда-то это был ее жест... По окончании службы, она медленно, высоко неся голову и скрестив на животе руки с молитвенником, прошла мимо него. На миг ее мрачный и тоскующий взгляд задержался на Кристофе... Они посмотрели друг на друга — и не узнали. Она прошла, прямая, холодная, не поворачивая головы. Только через секунду он узнал вдруг, словно при вспышке молнии, озаирившей его память, под этой ледяной улыбкой, по каким-то едва приметным складкам губ, рот, который он когда-то целовал... У него перехватило дыхание и подкосились колени. Он подумал:

«Господи, неужели в этом теле обитала та, которую я любил? Где же она? Где же она? И где я сам? Где тот,

кто ее любил? Что осталось от нас и от жестокой страсти, нас пожиравшей? Пепел, а где же огонь?»

И господь ответил ему:

«Во мне».

Тогда он поднял глаза и в последний раз увидел ее среди толпы: она выходила из дверей храма на улицу, залитую солнцем.

Вскоре после возвращения в Париж Кристоф помирился со своим старым врагом Леви-Кэром. В течение долгого времени Леви-Кэр преследовал Кристофа своей критикой, изощряясь в язвительности и проявляя недобросовестность. Затем, достигнув славы, преуспевающий, пресыщенный почестями, удовлетворенный, успокоившийся, он оказался достаточно умен, чтобы признать превосходство Кристофа; он стал внимателен к нему. Но Кристоф притворялся, что не замечает его заигрываний, как прежде не замечал его нападок. Леви-Кэр махнул на него рукой. Они жили в одном квартале и часто встречались, но делали вид, что не узнают друг друга. Кристоф, проходя, скользил взглядом мимо Леви-Кэра, словно не замечая его. Эта спокойная манера полного отрицания его особы раздражала Леви-Кэра.

У него была дочь лет восемнадцати — двадцати, красивая, тонкая, эlegantная, с профилем овечки, ореолом белокурых вьющихся волос, мягким, кокетливым взглядом и улыбкой Луини. Они часто гуляли вместе; Кристоф сталкивался с ними в аллеях Люксембургского сада. Казалось, отец и дочь очень дружны; молодая девушка грациозно опиралась на руку отца. При всей своей рассеянности Кристоф замечал красивые лица, и ему нравилась эта девушка. Он подумал о Леви-Кэре:

«Этой скотине повезло!»

Но тут же гордо добавил:

«У меня тоже есть дочь».

И он стал сравнивать их. Это сравнение, где в силу его пристрастия все преимущества оказались на стороне Авроры, привело к тому, что в его сознании возникло нечто вроде воображаемой дружбы между двумя девушками, не знавшими друг друга, и это даже незаметно сблизило его с Леви-Кэром.

Приехав из Германии, он узнал, что «маленькая овечка» умерла. В своем отцовском эгоизме он тотчас же подумал:

«А если бы меня постиг такой удар!»

И он почувствовал безграничную жалость к Леви-Кэру. В первый момент он хотел написать ему, начал одно за другим два письма, но они не удовлетворяли его, и Кристоф из какого-то ложного стыда не отправил их. Несколько дней спустя, когда он снова встретил Леви-Кэра, у которого было измученное, страдальческое лицо, он не смог удержаться: он прямо подошел к несчастному и протянул ему обе руки. Леви-Кэр, не раздумывая, схватил их. Кристоф сказал:

— Вы потеряли ее!..

Глубоко взволнованный голос Кристофа растрогал Леви-Кэра, он испытывал невыразимую признательность к нему... Они смущенно обменялись горестными словами. Когда они распростились, не осталось и следа от того, что прежде их разделяло. Они боролись друг с другом; разумеется, это неизбежно: каждый повинуетя законам своей природы. Но когда трагикомедия подходит к концу, люди сбрасывают с себя страсти, точно театральные маски, и два человека, из которых один не лучше другого, сталкиваются лицом к лицу — теперь, после того как они сыграли свою роль, кто как умел, они вправе протянуть друг другу руку.

Свадьба Жоржа и Авроры должна была состояться в самом начале весны. Здоровье Кристофа резко ухудшилось. Он заметил, что дети с беспокойством наблюдают за ним. Однажды он слышал, как они разговаривали вполголоса. Жорж сказал:

— Он очень плохо выглядит. Как бы он не свалился.

Аврора ответила:

— Хоть бы из-за него не задержалась наша свадьба!

Кристоф принял это к сведению. Бедняжки! Разумеется, уж он-то не омрачит их счастья!

Но накануне свадьбы (он так забавно суетился последние дни, словно сам собирался жениться) он проявил такую неосторожность, такую глупость, что снова под-

хватил свою старую болезнь, рецидив прежней пневмонии, первый приступ которой еще относился к временам Ярмарки на площади. Он был возмущен собой. Называл себя дураком. Поклялся, что не поддастся болезни, что уступит ей только после свадьбы. Он думал при этом об умирающей Грации, которая не хотела сообщать ему о своей болезни накануне концерта, чтобы не отвлечь его от работы и не расстроить. Ему улыбалась мысль сделать теперь для ее дочери — для нее — то, что она сделала тогда для него. Он скрыл свое недомогание, но с трудом выдержал до конца. Все-таки счастье детей делало его таким счастливым, что ему удалось выстоять, не проявляя слабости, в течение всей длительной церковной церемонии. Но едва он вошел в дом Колеты, как силы изменили ему, он успел только забежать в какую-то комнату и лишился чувств. Один из слуг нашел его в обмороке. Кристоф, придя в себя, строго запретил сообщать об этом новобрачным, которые вечером отправлялись в свадебное путешествие. Они были слишком поглощены собой, чтобы замечать кого-либо из окружающих. Они весело попрощались с ним, обещая написать завтра, послезавтра...

Как только они уехали, Кристоф слег. У него началась лихорадка, которая уже не покидала его до конца. Он был один, ибо Эмманюэль тоже болел. Кристоф не вызвал врача. Он считал, что его болезнь не внушает опасений. К тому же слуги у него не было, некого было послать за врачом. Уборщица, приходившая по утрам на два часа, относилась к нему безразлично, и он нашел способ избавиться от ее услуг. Десятки раз Кристоф просил ее, чтобы она не трогала во время уборки комнаты его бумаг. Она была упряма и решила, что теперь, когда Кристоф прикован к постели, пришло время поступать по-своему. Лежа в кровати, он видел в зеркале шкафа, как она переворачивала все вверх дном в соседней комнате. Он пришел в такое бешенство (нет, поистине прежний Кристоф еще не умер в нем), что вскочил с постели, вырвал у нее из рук пачку рукописей и выгнал ее вон. Этот припадок гнева дорого обошелся Кристофу: у него началась сильная лихорадка, а служанка, считая себя обиженной, ушла и больше не являлась, даже не преду-

предив «сумасшедшего старика», как называла его. Итак, больной Кристоф остался один, и некому было ухаживать за ним. По утрам он вставал, брал свой кувшин с молоком, оставленный у порога, и смотрел, не сунула ли привратница под дверь письма, обещанного молодыми. Письмо не приходило, они были так счастливы, что забыли о нем. Кристоф не сердился на них, он говорил себе, что на их месте поступил бы точно так же. Думая об их безмятежном счастье, он радовался, что это он подарил им его.

Он начал понемногу поправляться и вставать с постели, когда пришло, наконец, письмо от Авроры. Жорж ограничился подписью. Аврора почти ни о чем не спрашивала Кристофа, еще меньше сообщала о себе самой; но зато давала ему поручение: просила переслать ей горжетку, забытую у Колетты. Хотя это был пустяк (Аврора вспомнила о ней только в момент, когда стала писать Кристофу, ища, что бы ему еще рассказать), Кристоф, сияя от гордости, что он хоть чем-нибудь может быть полезен, отправился за горжеткой. Погода была прескверная, зима снова вернулась и перешла в наступление. Падал мокрый снег, и дул ледяной ветер. Извозчиков не оказалось. Кристофу пришлось долго ждать в почтовом отделении. Грубость чиновников и их нарочитая медлительность вызвали в нем раздражение, отнюдь не ускорившее отправку посылки. Болезненное состояние отчасти являлось причиной вспышек гнева, с которыми боролся его спокойный ум; приступы гнева сотрясали его тело, оно содрогалось, точно дуб под последними ударами топора, перед тем как рухнуть. Кристоф вернулся домой окоченевший от холода. Привратница, проходя мимо, передала ему вырезку из журнала. Он просмотрел ее. Это была злопыхательская статья, нападение на него. Теперь это случалось редко. Что за удовольствие атаковать человека, не замечающего ваших ударов! Самые ожесточенные из его врагов, не переставая ненавидеть Кристофа, прониклись к нему уважением, которое раздражало их самих.

«Полагают, — как бы с сожалением признавался Бисмарк, — что любовь самое произвольное чувство. Уважение еще более произвольно...»



Но автор статьи был лучше вооружен, чем Бисмарк, он принадлежал к категории тех сильных людей, которые не способны ни на уважение, ни на любовь. Он отзывался о Кристофе в оскорбительных выражениях и заверял, что через две недели в ближайшем номере последует продолжение. Кристоф расхохотался и сказал, ложась в постель: — Я здорово проведу его! Он меня уже не застанет.

Окружающие настаивали, чтобы Кристоф взял сиделку на время болезни, но он отказался наотрез. Он заявил, что достаточно пожил один, чтобы в такой момент лишаться преимущества одиночества.

Он не тосковал. В эти последние годы он был постоянно занят беседами с самим собой; его душа как бы раздвоилась, а за несколько последних месяцев общество, населявшее его внутренний мир, сильно увеличилось: уже не две души обитали в нем, а десять. Они разговаривали между собой, но чаще всего пели. Он принимал участие в беседе или молча слушал их. Всегда у него возле кровати и на столе под рукой лежала нотная бумага, на которой он записывал их слова и свои ответы, радуясь удачным репликам. Он привык машинально сочетать два действия: думать и писать; писать означало для него думать с предельной ясностью. Все, что отвлекало его от общения с душами, обитавшими в нем, утомляло и раздражало Кристофа. Порою даже самые любимые друзья тяготили его. Он делал усилие, стараясь не очень показывать это, но от такого напряжения невероятно уставал. Он бывал счастлив, когда потом снова обретал самого себя, ибо порой терял нить: нельзя слушать внутренние голоса среди людской болтовни. Божественная тишина...

Он разрешил только привратнице или кому-либо из ее детей заходить раза два-три в день, чтобы узнать, не нужно ли ему чего-нибудь. Им он передавал письма, которыми до последнего дня продолжал обмениваться с Эмманюэлем. Оба друга были почти одинаково тяжело больны; они не тешили себя иллюзиями. Разными путями свободный гений верующего Кристофа и свободный гений неверующего Эмманюэля пришли к одной и той же братской ясности духа. Неровным почерком, который с каждым днем становилось все труднее разбирать, они бесе-

довали не о своих болезнях, а о том, что всегда занимало их мысли: об искусстве и о грядущей жизни их идей.

Вплоть до того дня, когда слабеющей рукой Кристоф написал слова шведского короля, умиравшего на поле битвы:

«Ich habe genug, Bruder; rette dich!»<sup>1</sup>

Непрерывный ряд ступеней. Перед глазами Кристофа проходит вся его жизнь: неимоверные усилия юности, чтобы овладеть самим собой, ожесточенная борьба, чтобы отвоевать у других простое право на жизнь и подчинить себе демонов своей расы. Даже одержав победу, приходится неустанно охранять свои завоевания, защищать их от самой победы. Радости и испытания дружбы, которая снова открывает борющемуся в одиночестве сердцу великую человеческую семью. Зенит жизни — расцвет искусства. Он гордо повелевает своим укрощенным духом, он чувствует себя господином своей судьбы. И вдруг на повороте встречает всадников из Апокалипсиса. Скорбь, Страсть, Стыд — авангард Владыки. Он опрокинут, истоптан копытами коней, он тащится, истекая кровью, к вершине, где пылает среди облаков дикий, очищающий огонь. И вот он лицом к лицу с божеством. Он борется с ним, как Иаков с ангелом. Он разбит наголову в этом поединке. Он благословляет свое поражение, осознает предел своих возможностей, стремится выполнить волю Владыки в той области, которую он нам предначертал. Чтобы потом, после пахоты, сева, жатвы, по окончании тяжелого и прекрасного труда обрести заслуженный покой у подножия залитых солнцем гор и сказать им:

«Будьте благословенны вы! Мне не дано наслаждаться вашим светом. Но тень ваша сладостна мне...»

Тогда ему явилась его возлюбленная; она взяла его за руку, и смерть, разрушая преграды его тела, влила в его душу чистую душу подруги. Вместе они вышли из земного мрака и достигли вершин блаженства, где, подобно трем грациям, держась за руки, ведут хоровод настоящее, прошедшее и будущее. Там успокоенное сердце

---

<sup>1</sup> С меня довольно, брат, спасайся! — Р. Р.

видит, как рождаются, расцветают и угасают скорби и радости, там все — Гармония...

Он слишком торопился, он считал, что уже пришел к цели. Но тиски, сжимавшие его задыхающиеся легкие, и беспорядочные образы, толпившиеся в пылающей голове, напомнили ему, что еще остается последний, самый трудный переход. Ну, вперед!..

Он лежал неподвижно, прикованный к постели. Над ним, этажом выше, какая-то глупенькая дамочка часами брэнчала на рояле. Она разучила только одну вещь и неустанно повторяла одни и те же музыкальные фразы. Она получала такое удовольствие! Они доставляли ей радость, эмоции всех оттенков и видов. И Кристоф понимал ее, но одновременно это раздражало его до слез. Хоть бы по крайней мере она барабанила не так громко! Кристоф ненавидел шум как отвратительный порок... В конце концов он покорился. Тяжело было приучать себя не слышать. Однако это оказалось менее трудным, чем он полагал. Он отдалялся от своего тела, этого больного и неуклюжего тела. Какой позор обитать в нем на протяжении стольких лет! Он смотрел, как оно разрушалось и думал:

«Его уже ненадолго хватит».

Чтобы испытать силу человеческого эгоизма, он спросил себя:

«Как бы ты предпочел: чтобы воспоминание о Кристофе, о его личности, его имени сохранилось на веки вечные, а творение его исчезло бесследно, или, чтобы творение его жило, а от его личности, от его имени не осталось никакого следа?»

Не колеблясь, он ответил:

«Пусть я исчезну, а творчество мое живет! Я выиграю от этого вдвойне, так как от меня останется только самое лучшее, единственно истинное. Да сгинет Кристоф!..»

Но вскоре он почувствовал, что творения его становятся ему такими же чуждыми, как и он сам. Ребяческое заблуждение верить в долгую жизнь своего искусства! Он прекрасно сознавал не только ничтожность всего созданного им самим, но и предвидел полнейшее уничтожение, грозящее всей современной музыке. Язык музыки

отмирает быстрее, чем какой бы то ни было. Век или два спустя его уже понимают лишь немногие посвященные. Для кого существуют еще Монтеверди и Люлли? Уже обрастают мхом дубы классического леса. Звуковые сооружения, где поют наши страсти, превратятся в опустевшие храмы и рухнут, преданные забвению... Кристоф удивлялся, что, созерцая эти развалины, он не испытывает ни малейшего волнения.

«Неужели я стал меньше любить жизнь?» — изумленно спрашивал он себя.

Но тотчас же понял, что любит ее гораздо больше. Стоит ли оплакивать руины искусства? Искусство — тень, которую человек отбрасывает на природу. Пусть она исчезнет! Пусть ее поглотит солнце! Тень мешает нам видеть его сияние. Неисчислимы сокровища природы проходят у нас между пальцев. Ум человеческий пытается черпать воду решетом. Наша музыка — иллюзия. Наша шкала тонов, наши гаммы — выдумка. Они не соответствуют ни одному живому звуку в природе. Это — компромисс ума и воображения по отношению к реальным звукам, применение метрической системы к движущейся бесконечности. Уму необходима была эта ложь, чтобы понять непостижимое; и так как он хотел этому верить, то и поверил. Но во всем этом нет правды, нет жизни. И наслаждение, которое доставляет разуму этот созданный им порядок, — только результат извращения непосредственного восприятия сущего. Время от времени гений, соприкасаясь на миг с землей, замечает, вдруг поток реальной жизни, перехлестывающий за рамки искусства. Трещат плотины. Стихия устремляется в щель... Но люди тотчас же затыкают пробойну. Так нужно для защиты человеческого разума. Он погибнет, если встретится взглядом с глазами Иеговы. И вот он начинает замуровывать цементом свою келью, куда проникают лишь те лучи, что он сам изобрел. Быть может, это и прекрасно для тех, кто не желает видеть. Но я хочу видеть твой лик, Иегова. Я хочу слышать твой грозный голос, даже если он меня уничтожит. Шум искусства докучает мне. Пусть умолкнет ум! Молчи, человек!..

Но тут же после этих убедительных речей Кристоф стал искать ошупью листки бумаги, разбросанные по

одеялу, и попытался нацарапать еще несколько нот. Заметив, что противоречит себе, он, улыбаясь, сказал:

— О музыка, мой старый друг, ты лучше меня. Я не благодарный, я гоню тебя прочь. Но ты, ты не покидаешь меня, тебя не отталкивают мои капризы. Прости, ведь ты прекрасно знаешь: это только блажь. Я никогда не изменял тебе, ты никогда не изменяла мне, мы уверены друг в друге. Мы уйдем вместе, подруга моя. Останвайся со мной до конца.



Он очнулся от долгого и тяжелого забытья, полного лихорадочных видений. Станных видений, во власти которых он еще находился. Теперь он осматривал себя, ощупывал, искал себя и не находил. Ему казалось, что это кто-то «другой». Другой, более дорогой, чем он. Но кто же?.. Ему казалось, что, покуда он спал, кто-то другой воплотился в него. Оливье? Грация? В сердце, в голове он чувствовал такую слабость! Он уже не различает больше своих друзей. Да и к чему? Он любит их всех одинаково.

Он лежал, словно скованный, в состоянии какого-то гнетущего блаженства. Не хотелось двигаться. Он знал: боль притаилась и подстерегает его, как кошка — мышь. Он притворился мертвым. Уже... Рядом никого. Рояль над головой умолк. Одиночество. Тишина. Кристоф вздохнул.

«Как приятно сказать себе под конец жизни, что ты никогда не был одинок, даже когда считал себя всеми

---

<sup>1</sup> Останься с нами (нем.).

покинутым. Люди, которых я встречал на своем пути, братья, на мгновение протянувшие мне руку, таинственные духи, порожденные моим сознанием, мертвые и живые, — все живы, — о, все те, кого я любил, все те, кого я создал! Вы держите меня в своих горячих объятиях, вы здесь подле меня, я слышу музыку ваших голосов. Благословляю судьбу, подарившую мне вас! Я богат, я богат... Мое сердце переполнено!..»

Он посмотрел в окно: стоял один из тех прекрасных пасмурных дней, которые, как говорил старина Бальзак, напоминают слепую красавицу. Кристоф отдался страстному созерцанию ветки дерева, прильнувшей к стеклу. Ветка набухла, влажные почки блестели, распускались маленькие белые цветы; и в этих цветах, в этих листьях, во всем этом возрождающемся существе была такая иступленная покорность обновляющей силе, что Кристоф не чувствовал больше своей усталости, своей подавленности, своего немоющего тела, которое умирало, чтобы возродиться в ветке дерева. Мягкое сияние этой жизни окутывало его. Это походило на поцелуй. Его сердце, переполненное до краев любовью, отдавалось прекрасному дереву, которое улыбалось ему в последние мгновения. Он думал, что в эту минуту другие люди любят и живут, что час его агонии — это час экстаза для других, и так бывает всегда, — ни на миг не оскудевает могучая радость жизни. И, задыхаясь, голосом, который уже не повиновался его сознанию (быть может, он даже не издавал ни одного звука, но не замечал этого), он запел гимн жизни.

Невидимый оркестр подхватил мелодию. Кристоф подумал:

«Откуда же они знают? Ведь мы не репетировали. Хоть бы доиграли до конца не сбываясь!»

Он пытался принять сидячее положение, чтобы его было хорошо видно всему оркестру, и стал отбивать такт своими большими руками. Но оркестр не сбивался; музыканты были уверены в себе. Какая чудесная музыка! Теперь они начали импровизировать ответы. Кристоф забавлялся:

«Погоди-ка, дружок! Я тебя сейчас поймаю».

И, повернув руль, он стал капризно швырять судно вправо, влево, в опасные фарватеры.

«Ну, как ты справишься с этим? А с этим? Лови! На! Вот еще!»

Они со всем отлично справлялись; они отвечали на отвагу Кристофа еще большей отвагой и дерзновением.

«Ну, что они там еще придумают? Вот дьяволы! Чертовы пройдохи!..»

Кристоф кричал «браво» и громко смеялся.

«Черт побори! Как трудно стало следовать за ними! Неужели я дам себя побить? Ну нет, этому не бывать! Сегодня я совсем без сил... Неважно! Последнее слово останется за мной...»

Но оркестр проявлял такую изобретательность, это было такое богатство и такая свежесть, что оставалось только слушать, разинув рот. Даже дыхание перехватывало... Кристоф пожалел себя.

«Скотина, — сказал он себе, — ты выдохся. Молчи! Инструмент дал все, что мог. Довольно с меня этого старого тела! Мне нужно другое».

Но тело мстило. Сильные приступы кашля мешали слушать.

«Замолчишь ли ты?»

Он схватил себя за горло, он бил себя кулаками в грудь, как врага, которого нужно одолеть. Он снова увидел себя в гуще уличной схватки. Толпа вопила. Какой-то человек душил его, сдавив в объятиях. Они катались вместе по земле. Тот наседал. Кристоф задыхался.

«Пусти меня, я хочу слушать!.. Я хочу слушать! Пусти, не то я убью тебя!»

Он стал колотить его головой об стену. Но тот не отпускал Кристофа...

«Кто же это? С кем я схватился, с кем борюсь? Чье пылающее тело я охватил руками?»

Галлюцинации, образы налетают один на другой. Хаос страстей. Ярость, сладострастие, жажда убийства, боль от плотских объятий, вся тина, поднимающаяся в последний раз со дна омута...

«Боже мой! Разве еще не скоро конец? Неужели я не оторву вас, пиявки, присосавшиеся к моему телу? Пусть погибнет и оно вместе с ними!..»

Плечами, бедрами, коленями отталкивал Кристоф невидимого врага... Наконец, он освободился! Попрежнему играла музыка, затихая вдали. Кристоф, обливаясь потом, протягивал к ней руки:

«Подожди меня! Подожди меня!»

Он бежал, чтобы догнать ее. Спотыкался... Опрокидывал все на своем пути... Он бежал так быстро, что стал задыхаться. Сердце колотилось, кровь стучала в висках. Он мчался, как поезд в туннеле...

«Господи, как это глупо!»

Он делал оркестру угрожающие знаки, чтобы они подождали его... Наконец, он выбрался из туннеля! Снова настала тишина. Он снова слышал.

«Как это прекрасно! Как это прекрасно! Еще! Смелей, ребята! Но чья же это музыка?.. Что? Вы говорите, это музыка Жан-Кристофа Крафта? Да будет вам! Что за вздор! Ведь я знал его! Он не сумел бы написать и десяти тактов... Кто это там кашляет? Не шумите! Что это за аккорд? А тот? Не так быстро! Погодите!..»

Кристоф издавал нечленораздельные звуки; его рука пыталась писать что-то на одеяле, в которое он вцепился; а угасающий мозг машинально продолжал искать, из каких элементов состоят эти аккорды и что они выражают. Ему это не удавалось; от волнения путались мысли. Он снова начинал. Довольно! Это уж слишком...

«Остановитесь, остановитесь, я больше не могу...»

Его воля совсем ослабела. Умиротворенный, Кристоф закрыл глаза. Слезы счастья струились из-под его опущенных век. Маленькая девочка, которая ухаживала за ним, хотя он ее не замечал, бережно вытерла их. Он уже не сознавал ничего, что происходило вокруг. Оркестр умолк, оставив его под впечатлением головокружительной гармонии, загадка которой не была разрешена. Мозг упрямо повторял:

«Но что это за аккорд? Как разгадать это? Все-таки я хотел бы найти его, прежде чем наступит конец...»

Теперь он услышал голоса. Один, полный страсти. Возникли трагические глаза Анны. Но через мгновение это уже была не Анна. Глаза, преисполненные доброты...

«Грация, ты ли это?.. Которая же из двоих? Я уже плохо вижу. Почему так долго нет солнца?»



Прозвучали три мерных удара колокола. Воробьи на окне чирикали, напоминая Кристофу, что пришел час, когда он бросал им крошки, остатки своего завтрака. Кристофу приснилась его маленькая детская комната... Колокола звонят, скоро рассвет. Чудесные волны звуков струятся в прозрачном воздухе. Они доносятся издалека, вон из тех деревень... Позади дома глухо рокочет река. Кристоф видит себя: он стоит, облокотившись, у окна на лестнице. Вся жизнь, подобно полноводному Рейну, проносится перед его глазами. Вся его жизнь, все его жизни, Луиза, Готфрид, Оливье, Сабина...

«Мать, возлюбленные, друзья... Как их зовут?.. Любков, где ты? Где вы, мои души? Я знаю, что вы здесь, но не могу вас поймать».

«Мы с тобой. Успокойся, любимый!»

«Я не хочу вас больше терять. Я так долго искал вас!»

«Не тревожься! Мы больше не покинем тебя».

«Увы! Течение меня уносит».

«Река, которая уносит тебя, несет и нас вместе с тобой».

«Куда мы направляемся?»

«В гавань, где мы соединимся».

«Это будет скоро?»

«Смотри».

И Кристоф, собрав последние силы, поднял голову (боже, какая она тяжелая!) и увидел выходящую из берегов реку, затоплявшую поля; она разливалась ровной гладью, величественно и плавно катила свои воды. А на краю горизонта стальной светящейся полосой словно устремлялась к ней навстречу гряда серебряных волн, трепещущих под солнцем. Доносился гул океана... И замирающее сердце Кристофа спросило:

«Это он?»

Голоса любимых ответили:

«Это он».

А в утасающем мозгу проносилось:

«Врата открываются... Вот аккорд, который я искал!.. Но разве это конец? Какие просторы впереди... Мы продолжим завтра...»

О, радость, радость, — он растворяется в высшем покое божества, которому старался служить всю свою жизнь.

«Господь, ты не гневаешься на своего слугу? Я совершил так мало! Я не мог сделать больше... Я боролся, страдал, заблуждался, творил. Дай мне передохнуть в твоих отцовских объятиях. Когда-нибудь я оживу для новых битв».

И рокочущая река и бурлящее море пели вместе с ним:  
«Ты возродишься. Отдохни! Теперь уже все слилось в одном сердце. Сплелись, улыбаясь, ночь и день. Гармония — царственная чета любви и ненависти. Я воспою бога, парящего на двух могучих крыльях. Осанна жизни! Осанна смерти!»

Christofori faciem diē quacumque tueris,  
Illa nempe diē non morte mala morieris<sup>1</sup>.

Святой Христофор переходит реку. Всю ночь он шел против течения. Его громадное тело с богатырскими плечами, подобно утесу, возвышается над водой. На левом плече он несет хрупкого и тяжелого младенца. Святой Христофор опирается на вырванную сосну, которая сгибается под ним. Его спина тоже сгибается. Те, кто видел, как он отправлялся в путь, говорили, что он никогда не дойдет; и долго вслед ему неслись издевательства и насмешки. Спустилась ночь, и люди устали. Теперь Христофор уже далеко, до него не доносятся крики оставшихся на берегу. Среди шума потока он слышит только спокойный голос младенца, который держит в своем кулачке курчавую прядь волос гиганта и повторяет: «Вперед!» Он идет вперед, спина его сгорблена, глаза устремлены на темный берег, крутые очертания которого начинают проступать вдали.

Вдруг раздался благовест, призывающий к заутрене, и стада колоколов, словно проснувшись, понеслись вскачь. Вот новая заря! Из-за черного высокого утеса поднимается золотой ореол невидимого солнца. Христофор, почти падая, достигает, наконец, берега. И он говорит младенцу:

— Вот мы и пришли! Как тяжело было нести тебя! Скажи, младенец, кто ты?

И младенец ответил:

— Я — грядущий день.

---

<sup>1</sup> В тот день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью (лат.).

**ПОСЛЕСЛОВИЕ  
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 1931 г.**

---

Перевод  
*С. Я. ПАРНОК*

К воплощению замысла «Жан-Кристофа» я готовился свыше двадцати лет. Первоначальная идея зародилась у меня весной 1890 года, в Риме. Последние слова написаны мною в июне 1912 года. Однако период написания романа выходит за эти рамки. Я нашел наброски 1888 года, той поры, когда еще был воспитанником Высшей Нормальной школы в Париже.

Первые десять лет (1890—1900) были заполнены медленным вынашиванием, какой-то внутренней грезой, которой я предавался с открытыми глазами, осуществляя в то же время другие замыслы: первые четыре «Драмы Революции» («Четырнадцатое июля», «Дантон», «Волки», «Торжество разума»), «Трагедии веры» («Св. Людовик», «Аэрт»), «Народный театр» и т. д. Кристоф был для меня второй жизнью, скрытой от внешних взоров, — жизнью, в которой я снова приходил в соприкосновение с моим сокровеннейшим «я». До конца 1900 года я связан был социальными узами с Ярмаркой на площади Парижа, где, как и Кристоф, чувствовал себя чужим. «Жан-Кристоф», которого я вынашивал в себе, как женщина — плод, был для меня моим несокрушимым *Burg*’ом<sup>1</sup>, моим «Островом Тишины», куда, среди враждебного моря, причаливал только я один; и там в безмолвии накапливал силы для будущих битв.

После 1900 года, свободный и наедине с собой, со своими грезами, своими демонами, своими духовными полчищами, я смело ринулся в волны.

---

<sup>1</sup> твердыней, крепостью (нем.).

Первый призыв был брошен в грозовую августовскую ночь 1901 года, с высот Швицских Альп. До сегодняшнего дня я никогда не опубликовывал его; тем не менее тысячи незнакомых мне читателей уловили его эхо, прокатившееся вдоль ограды моего произведения. Ибо самое глубокое в мысли — совсем не то, что высказывается вслух: одного взгляда Жан-Кристофа достаточно было для того, чтобы заставить невидимых, рассеянных по свету друзей почувствовать трагическое братство, которое породило это произведение, и плодотворное отчаяние, из которого хлынул этот поток героической энергии.

«В грозовую ночь, в горах, под огненным сводом молний, среди дикого грохота грома и ветра, я думаю о тех, кто умер, и о тех, кто умрет, обо всей этой окруженной пустотою земле, которая катится в недра смерти и скоро умрет. Всему, что смертно, я отдаю эту смертную книгу, чей голос пытается сказать: «Братья, приблизимся друг к другу, забудем то, что нас разделяет, будем думать только об общей, соединяющей нас всех нужде! Нет врагов, нет злодеев, есть только несчастные; и единственно прочное счастье — это понять друг друга, чтобы полюбить; понимание, любовь — единственный проблеск света, озаряющий ночь между двумя безднами, до и после жизни».

Всему, что смертно, — самой Смерти, уравнивающей и примиряющей всех, — неведомому Морю, в котором сливаются неисчислимые ручьи жизни, — отдаю я мое творение и самого себя».

Моршак  
Август 1901

\* \* \*

Задолго до того, как я приступил к окончательной обработке моего произведения, мною был сделан ряд набросков различных эпизодов и главных действующих лиц: Кристоф — в 1890 году; Грация — в 1897 году; образ Анны из «Неопалимой купины» сделан целиком в 1902 году; Оливье и Антуанетта — в 1901—1902 годах; смерть Кристофа — в 1903 году (за месяц до того, как

я начал писать первые страницы «Зари»). Мне оставалось только отобрать и покрепче стянуть колосья, чтобы связать в один сноп все произведение, — это произошло в тот момент, когда я отметил у себя:

*«Сегодня, 20 марта 1903 года, я окончательно начинаю писать «Жан-Кристофа».*

Из этого видно, как нелепо утверждение тех недалеких критиков, которые воображают, что я начал «Жан-Кристофа» наудачу, без всякого плана. С ранних лет я развил в себе, благодаря французскому классическому воспитанию в Нормальной школе, — да это было и у меня в крови, — потребность и любовь к прочной постройке. Я принадлежу к старой породе бургундских строителей. Никогда я не начал бы произведения, не упрочив заранее его фундамента и не определив всех его основных очертаний. Никогда еще сочинение не было в такой мере организовано в мыслях, прежде чем первая его фраза появилась на бумаге, как «Жан-Кристоф». Тогда же, 20 марта 1903 года, я наметил в моих набросках<sup>1</sup> все разделы поэмы. Я определенно предвидел десять частей — десять томов — и установил их очертания, их массивы и пропорцию почти в том виде, в каком они были мною осуществлены.

Работа по окончательному оформлению этих десяти томов<sup>2</sup> заняла около десяти лет. Начатая 7 июля в Фробурге-на-Ольтене, в Швейцарской Юре, — в тех самых местах, куда впоследствии должен был укрыться

---

<sup>1</sup> Все подлинные наброски и черновики «Жан-Кристофа» были в 1920 году переданы мною в двух папках в архив Нобеля при Шведской академии в Стокгольме, за исключением рукописей «Антуанетты», сохраненных мною для моей родины — маленькой моей неверской отчины. Я передал их в 1928 году в архив департамента Ньевры, в Невере. — Р. Р.

<sup>2</sup> «Жан-Кристоф» впервые был опубликован в семнадцати выпусках «Двухнедельных тетрадей» Шарля Пегги, с февраля 1904 г. по октябрь 1912 г.; затем в десяти томах издательством Оллендорф. Издание «Двухнедельных тетрадей» содержит несколько глав, которые впоследствии были мною опущены (например, в «Бунте» — краткий очерк немецкой поэзии периода юности Кристофа). — Р. Р.



раненый Жан-Кристоф «Неопалимой купины», неподда-  
леку от трагического поединка сосен и буков, — она была  
закончена 2 июня 1912 года в Бавене, на берегу Лаго  
Маджоре<sup>1</sup>. Наибольшая часть этого произведения была  
написана в Париже, в маленьком ветхом домике над Ка-  
такомбами, № 162 по бульвару Монпарнас, — в домике,  
одна сторона которого сотрясалась от проезжавших мимо  
тяжелых ломовых телег и непрерывного грохота города,  
а другая, залитая солнцем, тонула в уединении монастыр-  
ских садов с двухвековыми деревьями, покрытыми болт-  
ливыми воробьями, певчими дроздами и воркующими  
горлицами. В ту пору я жил одиноко и в стесненных об-  
стоятельствах, без друзей и без всяких радостей, кроме  
тех, которые я создавал себе сам; я был обременен тя-  
гостными обязанностями: преподаванием,писанием ста-  
тей, исторических исследований. Мне едва удавалось  
урывать от работы ради куска хлеба по часу в день для  
«Кристофа», а иногда и меньше. Но за эти десять лет  
не прошло ни одного дня, когда бы его не было со мною.  
Ему даже незачем было говорить. Он был тут: автор  
разговаривал со своей тенью<sup>2</sup>. И лик св. Христофора  
смотрел на него. А он не сводил с него глаз.

*Christofori faciem die quacumque tueris,  
Illa nempe die non morte mala morieris*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Вот даты написания отдельных томов: «Заря» и «Утро» — от  
июля до октября 1903 г., «Отрочество» — июль — октябрь 1904 г.;  
«Бунт» — июль 1905 г. — весна 1906 г.; «Антуанетта» — август —  
конец октября 1906 г.; «Ярмарка на площади» — июнь — конец  
августа 1907 г.; «В доме» — конец августа 1907 г. — сентябрь  
1908 г.; «Подруги» — июнь — начало сентября 1909 г.; «Неопали-  
мая купина» — конец июля 1910 г. — июль 1911 г. (прерван тяже-  
лым событием и работой над книгой «Жизнь Толстого»); «Гряду-  
щий день» — конец июля 1911 г. — июнь 1912 г. — Р. Р.

<sup>2</sup> Одному из томов — «Ярмарке на площади» — предпослан  
«Диалог автора с его тенью» — Ромена Роллана с Жан-Кристофом.  
Но читатель умышленно оставляется в сомнении, кто из двух собе-  
седников «тень». — Р. Р.

<sup>3</sup> «В тот день, когда ты будешь взирать на изображение Хри-  
стофора, ты не умрешь дурной смертью». Эта надпись, высеченная на  
цоколе статуи св. Христофора у входа в средневековые храмы (на-  
пример, в Соборе Парижской богородицы), была использована авто-  
ром, разумеется, в символическом смысле и приводилась в конце  
каждого тома первого издания, в «Двухнедельных тетрадах». — Р. Р.

Я хочу изложить здесь некоторые мысли, побудившие меня начать и довести до конца среди окружавшего меня в Париже равнодушного или иронического молчания эту обширную поэму в прозе, ради которой, не считаясь ни с какими материальными препятствиями, я решительно порывал со всеми условностями, утвердившимися во французской литературе. Успех мало меня интересовал. Дело было не в успехе. Дело было в том, чтобы повиноваться внутреннему велению.

На половине моей длинной дороги, в заметках для «Жан-Кристофа», я нахожу следующие, относящиеся к декабрю 1908 года, строки:

«Я пишу не литературное произведение. Я пишу символ веры».

Когда веришь, то действуешь, не заботясь о результатах. Победа или поражение — не все ли равно? «Делай, что должен делать!..»<sup>1</sup>

Обязательство, которое я взял на себя в «Жан-Кристофе», состояло в том, чтобы в период морального и социального разложения Франции пробудить дремлющий под пеплом духовный огонь. А для этого прежде всего надо было вымести накопившиеся пепел и мусор. Противопоставить Ярмаркам на площади, лишаящим нас воздуха и света, маленький легион отважных душ, готовых на все жертвы и свободных от каких бы то ни было компромиссов. Мне хотелось собрать их на клич какого-нибудь героя, который стал бы их вождем. И для того, чтобы этот герой существовал, мне надо было его создать.

К такому вождю я предъявлял два следующих основных требования:

1. Он должен смотреть на все глазами свободными, ясными и искренними, как у тех детей природы, — у тех «деревенщин», которых Вольтер и энциклопедисты переносили в Париж, чтобы высмеивать через их наивное восприятие все смешное и преступное в современном об-

---

<sup>1</sup> Старая французская пословица, если привести ее полностью, гласит: «Делай, что должен делать, а там будь, что будет!» — Р. Р.

шестве. Мне нужна была такая обсерватория: два открытых глаза, чтобы видеть и судить Европу наших дней.

2. Но видеть и судить — только первый шаг. Нужно дерзать и быть самим собой — дерзать высказывать то, что думаешь, и претворять это в действие. Высмеять может и «простака» XVIII века. Но его мало для нынешней суровой битвы. Мне был нужен герой.

Я дал свое определение «героя» в предисловии к моей книге «Жизнь Бетховена», современнице первых шагов «Жан-Кристофа». Я называю героями «не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем». Расширим это понятие! «Сердце» — не толькоместилище чувств; я разумею под ним великое царство внутренней жизни. Герой, владеющий им и опирающийся на эти стихийные силы, способен противостоять целому миру врагов.

Когда я стал представлять себе героя, передо мной вполне естественно возник образ Бетховена. Ибо в современном мире и у народов Запада Бетховен является одним из исключительных художников, соединяющим в себе, вместе с творческим гением — властелином огромного духовного царства — гений сердца, родственного всему человеческому.

Но пусть остерегутся видеть в Жан-Кристофе портрет Бетховена! Кристоф — не Бетховен. Он некий новый Бетховен, герой бетховенского типа, но самобытный и брошенный в другой мир, в мир, в котором мы живем. Исторические аналогии с боннским музыкантом сводятся к некоторым чертам семейной обстановки Кристофа в первом томе — «Заря». Если я стремился к этим аналогиям в начале произведения, то лишь для того, чтобы показать бетховенскую родословную моего героя и увести его корни в прошлое прирейнского Запада; я окутал дни раннего его детства атмосферой старой Германии — старой Европы. Но едва побег вышел из-под земли, его окружает уже сегодняшний день, и сам он, весь целиком, один из нас — героический представитель нового поколения, переходящего от одной войны к другой: от 1870 года к 1914 году.

Если мир, в котором он вырос, растерзан и разгромлен разыгравшимися с тех пор грозными событиями, я имею все основания думать, что дуб Жан-Кристофа устоял; буря могла сорвать с дерева несколько веток, но ствол не пошатнулся. Об этом говорят каждый день птицы, которые, ища на нем прибежища, слетаются к нему со всех концов света. Особенно поразителен тот факт, — превзошедший все мои надежды в пору создания моего произведения, — что ни в одной стране земного шара Жан-Кристоф теперь уже не чужеземец. Из самых отдаленных стран, от самых различных народов — из Китая, Японии, Индии, обеих Америк, от всех европейских народностей стекались ко мне люди, говорившие: «Жан-Кристоф — наш. Он — мой. Он — мой брат. Он — я сам...»

И это доказывает мне, что вера моя правильна и цель моих усилий достигнута. Ибо в начале моей работы (в октябре 1893 года) я набросал такие строки:

«Всегда показывать Единство человечества, в каких бы разнообразных формах оно ни проявлялось. Это должно быть первой задачей искусства, равно как и науки. Это — задача «Жан-Кристофа».

\* \* \*

Впоследствии в моих папках с заметками найдут богатые документальные данные, объясняющие закулисную сторону «Жан-Кристофа». В частности, они касаются современного общества, выведенного в книгах «Ярмарка на площади» и «В доме». Пока еще рано говорить об этом<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Должен по этому поводу предупредить читателя, чтобы он не старался отождествлять действующих лиц книги с существующими в жизни людьми. «Жан-Кристоф» — не роман с шифром. Если зачастую в нем и изображены реальные события или люди, то он не содержит в себе ни одного портрета — ни из прошлого, ни из настоящего (за исключением, пожалуй, милой Коринны, которая уже не рискует быть узнаваемой). Но все выведенные мною лица, вполне понятно, вскормлены целым рядом жизненных встреч и воспоминаний, растворенных и преобразованных в процессе творческой работы. Тем не менее многие из широко известных современников узнали себя в моих сатирах и прониклись ко мне непримиримой ненавистью,

Но, пожалуй, интересно будет указать на одну часть романа, намеченную в первоначальном плане и оставшуюся неосуществленной. Это целый том, который должен был занять место между «Подругами» и «Неопалимой купиной» и сюжетом которого была революция.

Не нынешняя победоносная революция в СССР. В ту пору (между 1900 и 1914 годами) революция была побеждена. Как Кристоф. Но ведь вчерашние побежденные и создали победителей наших дней.

В моих черновиках есть в достаточной степени разработанный эскиз этого изъятых мною тома. В нем введен Кристоф, высланный из Франции и Германии, нашедший себе прибежище в Лондоне, примкнувший к кружкам сосланных и изгнанников всех стран. Он связан тесными узами дружбы с одним из их вождей, человеком большой моральной силы, сродни Мадзини или Ленину<sup>1</sup>. Этот мощный агитатор благодаря своему уму, убеждениям и свойствам характера стал руководящим центром всех революционных движений Европы. Кристоф принимал активное участие в одном из таких движений, внезапно вспыхнувшем в Германии и Польше. Повесть об этих событиях, об этих восстаниях, боях и расколе среди революционеров занимала большую часть книги, в конце которой революция оказывалась раздавленной, а Кристофу удавалось, наконец, преодолев тысячу опасностей, бежать в Швейцарию, — там ждала его страсть и «Неопалимая купина».

Я предполагал также написать в виде эпилога к этой длинной трагедии человеческого поколения своего рода Симфонию Природы — не «Meeresstille» («Морскую тишь»)<sup>2</sup>, а «Erdesstille» («Тишь земли»), куда безмятежно возвращается великий боец жизни.

---

результаты которой сказались в 1914 году, во время войны, по поводу или под предлогом моей книги «Над схваткой». — Р. Р.

<sup>1</sup> Я подготавливал тогда книгу «Жизнь Мадзини», которую предполагал включить в серию «Жизни великих людей». Несколькими годами позже я посвятил изучению источников. Разные причины, излагать которые было бы здесь неуместно, заставили меня отказаться от этого замысла. — Р. Р.

<sup>2</sup> Название знаменитой гётевской поэмы, положенной на музыку Бетховеном. — Р. Р.

«Снова и снова, — писал я, — я ощущаю потребность дать этим человеческим эпопеям развязку, сходную с той, которую я задумал для моих драм о Революции: <sup>1</sup> страсти и ненависть растворяются в покое природы. Безмолвие бесконечных пространств, объемлющее человеческие волнения, в котором они затериваются, как камень, брошенный в воду».

Все та же мысль об Единстве: Единство людей между собою и с Космосом...

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt! <sup>2</sup>

Я предпочел для конца «Жан-Кристофа» «Гармонию — царственную чету любви и ненависти» <sup>3</sup> — могучее равновесие в самом разгаре действия. Ибо конец «Жан-Кристофа» — не конец: это этап; Жан-Кристофу нет конца. Даже смерть его — лишь ритмический момент, лишь выдох великого вечного дыхания...

«Настанет день — я оживу для новых битв...»

И потому-то Жан-Кристоф оказывается товарищем новых поколений. Пусть он умрет сто раз, он снова возродится, он снова будет сражаться, он снова будет братом свободных мужчин и женщин всех наций, «которые страдают, борются и побеждают».

*Ромен Роллан*

*Вильнёв на Женевском озере  
Пасха 1930*

---

<sup>1</sup> Такая развязка к «Драмам Революции» впоследствии была написана: это — «Леониды». — *Р. Р.*

<sup>2</sup> «Обнимитесь, миллионы существ! Этот поцелуй — всему миру!» (слова Шиллера, положенные на музыку Бетховеном для «Оды к Радости» из Девятой симфонии). — *Р. Р.*

<sup>3</sup> См. заключительную сцену «Жан-Кристофа». — *Р. Р.*



## ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Третий — шестой томы данного собрания сочинений Ромена Роллана посвящены одному из самых известных и значительных его произведений — роману «Жан-Кристоф». «Свободным душам всех наций, которые страдают, борются и побеждают», посвятил автор это грандиозное произведение.

Обширная эпопея, в состав которой входят десять книг, в течение девяти лет (1904—1912) печаталась в издававшемся Шарлем Пеги журнале «Двухнедельные тетради». Первые книги — «Заря» и «Утро» — были напечатаны в феврале 1904 года («Двухнедельные тетради», серия V, №№ 9 и 10).

В июле — октябре 1904 года Роллан работал над «Отрочеством», третьей книгой романа; она была напечатана в январе 1905 года в восьмой тетради того же журнала (серия VI). Четвертая книга романа «Бунт» появилась в №№ 4, 6 и 9 «Двухнедельных тетрадей» (серия VIII) в ноябре 1906 — январе 1907 года. «Бунтом» заканчивалась первая часть романа-эпопеи.

Вторая часть («Жан-Кристоф в Париже») открывалась «Ярмаркой на площади», пятой книгой романа, которая была опубликована в марте 1908 года в №№ 13 и 14 «Двухнедельных тетрадей» (серия IX). В пятнадцатой тетради этой же серии Роллан опубликовал «Антуанетту», шестую книгу романа. В феврале 1909 года Роллан публикует в №№ 9 и 10 «Двухнедельных тетрадей» (серия X) седьмую книгу романа — «В доме».

Со следующей книги — «Подруги» — начинается третья часть романа — «Конец пути». «Подруги» были напечатаны в XI серии



«Двухнедельных тетрадей», в январе — феврале 1910 года (№№ 7 и 8). В июле 1910 — июле 1911 года Роллан создает «Неопалимую купину», девятую книгу романа. Она появляется в печати в октябре — ноябре 1911 года в пятой и шестой тетрадях XIII серии. Последняя книга «Жан-Кристофа» — «Грядущий день» — была напечатана в октябрьских выпусках журнала за 1912 год (вторая и третья тетради XIV серии).

Таким образом, роман «Жан-Кристоф» занял семнадцать выпусков «Двухнедельных тетрадей». Тираж выпусков был незначительный (две-три тысячи экземпляров). Он расходился очень быстро, и издательство Оллендорф приступило к выпуску романа отдельным изданием в десяти томах. В 1905 году были выпущены первые книги романа — «Заря», «Утро» и «Отрочество». В 1907 году вышел отдельным изданием «Бунт», в 1908 году — «Ярмарка на площади» и «Антуанетта», в 1909 году — «В доме», в 1910 году — «Подруги», в 1911 году — «Неопалимая купина» и в 1912 году — «Грядущий день».

Журнальный вариант «Жан-Кристофа» имеет отличия от текста отдельных изданий и текста собрания сочинений. Ряд отрывков (в том числе целый раздел из «Бунта», где Роллан дает очерк немецкой поэзии времен юности Кристофа) не перешел из журнального текста в последующие издания. Кроме того, Роллан проводил редакторскую работу при переизданиях «Жан-Кристофа».

«Жан-Кристоф» принес автору мировую известность. Выход в свет первых трех книг не привлек особого внимания критики, но когда в декабре 1905 года Роллану была присуждена за них премия журнала «Счастливая жизнь», то положение изменилось. Появляются многочисленные отзывы в газетах и журналах, и, пока роман печатается, создается целая литература об этом произведении, которое вызывало к себе самое различное отношение, но всех поражало своей глубиной и оригинальностью.

Вскоре после окончания романа, летом 1913 года, Ромен Роллан получил за него литературную премию Французской академии. В докладе неперменного секретаря Академии Этьена Лами было подчеркнуто, что «Жан-Кристоф представляет собою современное поколение». Наряду с этим Лами сделал попытку представить роман как чисто психологическое произведение, как «поэму чувств», оставив в стороне острую и смелую социальную критику, являющуюся душой романа.

«Жан-Кристоф» множество раз переиздавался во Франции: каждая из книг этого романа выдержала около ста изданий, а не-

которые около двухсот. Роман переведен на многие языки земного шара, его читают на всех континентах, во всех странах.

На русский язык перевод «Жан-Кристофа» был осуществлен в 1911—1916 годах.

В советские годы «Жан-Кристоф» издавался много раз на русском языке и языках народов СССР. Первое советское издание романа, вышедшее вскоре после Октябрьской революции, наряду с «Огнем» Барбюса стало одною из популярнейших в советской стране книг.

Публикуемый в настоящем издании перевод романа сделан по изданию Альбен Мишель, которое считается окончательным. Порядок расположения десяти книг по томам соответствует этому собранию сочинений Роллана.

Авторское послесловие к «Жан-Кристофу», публикуемое в этом томе, было написано Ролланом для собрания сочинений на русском языке, издававшегося в конце двадцатых — в тридцатых годах.



## СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ДЕВЯТАЯ. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА. Перевод  
*С. Парнок.*

Часть первая . . . . .	9
Часть вторая . . . . .	87

КНИГА ДЕСЯТАЯ. ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ. Перевод *М. Ро-*  
*жицкиной*

Предисловие к последней книге . . . . .	193
Часть первая . . . . .	197
Часть вторая . . . . .	234
Часть третья . . . . .	296
Часть четвертая . . . . .	330
Послесловие к русскому изданию 1931 г. Перевод <i>С. Парнок</i> . . . . .	369
Историко-литературная справка . . . . .	379

*Ромен Роллан,*  
Собрание сочинений, том 6

Редактор *Т. Кудрявцева*

Оформление художника *Н. Ильина*

Художеств. редактор *А. Ермаков*

Технический редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *А. Кашин*

Сдано в набор 5/VIII 1955 г. Подписано  
к печати 26/X 1955 г. А-06121. Бумага  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 24 печ. л. = 19,68 усл.  
печ. л. 18,53 уч.-изд. л. Тираж 240 000.  
Заказ № 301. Цена 9 р.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР  
Главное управление полиграфической  
промышленности  
2-я типография «Печатный Двор»  
им. А. М. Горького  
Ленинград, Гатчинская, 20



Д р

ПОСЛЕДНЕЕ  
1956